

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> приятного чтения!

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ

В Новый год, разумеется, пришел ко мне племянник. Молодой человек лет двадцати четырех, но преспособный. У меня только в Новый год да на пасху и бывает.

– С Новым годом, дяденька.

– С новым счастьем тебя. Вареньица не приказать ли подать?

– Помилуйте, дядя, я в это время водку пью (был третий час на исходе).

– Водку? а ежели маменька узнает?

– Она уж пять лет это знает.

– Ну, водки так водки. А ежели водку пьешь, так, стало быть, и куришь. Вот тебе сигара. Рассказывай, что хорошего? с визитами кончил?

– С нужными – да; еще два-три не особенно важных осталось – те перед обедом доделать успею. А что ж вы, mon oncle, [1] не поздравляете меня?

– Не знаю с чем, оттого и не поздравляю.

– Conseiller de college [2] – сегодня и в приказах уж есть.

– Вот как это прекрасно! Поздравляю, поздравляю, мой друг! Маменьку-то уведомил ли?

– Сегодня в девять часов утра в Ниццу телеграфировал и сейчас заезжал домой – уж ответ получен. Вот и телеграмма.

Он подал листок, на котором я прочитал:

«Petersb. Znamenskaïa, 11.

Néougodoff.

Suis toute fière bénis conseiller college Vendez Russie vendez vite argent
envoyez Suis à sec

Nathalie». [3]

– Однако как же это: «Vendez Russie, vendez vite» и «argent envoyez» [4] – что это значит? Неужто уж так деньги зандобились? – в недоумении остановился я.

– Очень просто: есть у нас пустошь Рускина – вот ее и надлежит продать. А на телеграфе переврали: Russie.

– Гм... какая, однако ж, можно сказать, провиденциальная ошибка! Так вы Рускину-то продаете?

– Мы, дяденька, уж третью пустошь продаем с тех пор, как татап в Ниццу уехала. Она пишет, что пустоши – лишнее, только фигуру имения портят.

– То есть как тебе сказать?.. Конечно, пустоши – это вроде бородавки... Бывают, однако, и бородавки... А, впрочем, и то сказать: много денег в Ницце надо, особливо, ежели кто в Монте-Карло ездит! Только как бы после Рускиной-то и до Монрепо Nathalie не добралась!

– Никогда не допущу! Там прах моего отца! Вы забываете это, mon oncle!

– То-то уж попридержитесь. Стало быть, Nathalie тобой довольна! «Suis toute fière» [5] – вот они, материнские-то чувства! Цени их, друг мой! Vendez Russie, vendez vite... фу! Да, впрочем, какая бы мать и не загордилась на месте Nathalie:

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
в твои лета – и уж почти фельдмаршал!

– Ну, до фельдмаршалов-то далеко!

– Нет, не очень. Посчитай-ка. Через год, положим, статский советник...

– Через год... impossible, mon oncle![6]

Феденька скромничал, но я очень хорошо видел, что внутренне он вполне одобряет мои предположения, и потому продолжал:

– Через два года – действительный, потом тайный, потом трещина вдоль черепа... фу, что это, однако ж, какой я вздор говорю! Нет, право, совсем не так далеко, как кажется с первого взгляда! Ну, да будущее в руке божией... Теперь-то ты как? доволен?

– Еще бы! сам генерал давеча на общем представлении объявил. Подошел, поздравил и сказал: если и на будущее время будете так продолжать, то...

Феденька остановился.

– Ну?

– И только – что ж больше! затем перешел к следующему – и ему тоже...

– Ну, вот видишь! Стало быть, статский-то советник уж и теперь подразумевается. Продолжай, душа моя, старайся!

И маменьке утешение, да и я, дядя-старик, на тебя глядячи, порадуюсь!

И, как истинный старик, я не утерпел и воскликнул:

– Господи! давно ли! Давно ли, кажется, я от купели тебя воспринимал!

– Ровно двадцать четыре года тому назад.

– Как время-то бежит! словно вот сейчас слышу голос Nathalie из-за двери: ради бога, Michel, не урони его! ты такой неловкий!

– Не уронили, однако?

– Бог спас! а знаешь ли, впрочем, что ведь иногда вашего брата, из нынешних, право, недурно было бы в младенческих летах с умеренной высоты уронить!

– Это за что?

– Да бойки вы очень. мечетесь, скачете, куски ловите – сколько вы народу передадите! Ну, да что говорить об этом! Дай-ко лучше я полюбуюсь на тебя.

Я приподнял его с кресла за руки, поставил перед собой и повернул кругом.

– Без отметин! ноги крепкие, без подседов, грудь широкая, круп, как печь, и при этом – селезенка играет!.. молодец! Дамочки-то, я полагаю, видеть равнодушно не могут! Особливо, как теперь узнают, что такой милушка – и почти фельдмаршал! Ведь ты, разумеется, и в благотворительных обществах служишь?

– Без этого, дядя, нельзя. В двух обществах секретарем, в трех – членом-соревнователем.

– Знаешь, значит, где раки зимуют?

– Не без того. Да ведь и вы, дядя, я полагаю, в свое время по части «дамочек» спуску не давали?

– Где нам, друг мой! В наше время ведь и «дамочек»-то не было. Бывали, да всё Юноны; сидит она, бывало, в опере, в бельэтаже, словно царевна в окладе, да пастильки жует – ну, и любуйся на нее снизу. А теперь пошли маленькие, юрконькие... интересны они? – Масло!

– Ну, и слава богу. Только вот говорят они много... всё говорят! всё говорят! Этого тоже в наше время не было. Вообще в наше время для тех, кто не состоял по кавалерии или не обладал громким титулом, плохо по женской части было. Только два ресурса и существовало: Кессених да Марцынкевич. Там, действительно, встречались «дамочки», но те не разговаривали. Оно, с одной стороны, конечно, недостаток словесности... но с другой стороны... Ну, дай тебе бог! дай бог!

Я обнял его и поцеловал. Но потом опять не выдержал и удивился.

– Да ведь ты едва школьную скамью оставил! Ах!

– Пять лет уж, дяденька.

– Неужто уж пять лет!

– Даже немного больше. Нет, вы вот кому подивитесь – Самогитскому! Всего на один курс старше меня, а на днях уж в Погорелов послан!

– Вот, я думаю, чья маменька-то не нарадуется!

– У него, mon oncle, нет настоящей маменьки. То есть, коли хотите, она есть, но... vous concevez?[7] Он – сирота, но сирота, так сказать... государственный!

– Гм... понимаю! Эти сироты всегда... Это, дружок, и в мое время случалось. Служишь, бывало, служишь, только что местечко для себя облюбуйешь – и вдруг тебе на голову... «сирота»!

– Так, и вы, значит, знакомы с этими разочарованиями?

– Я, голубчик, все знаю. Я и славы видел, и срамоты видел – все у меня на глазах прошло! Ты спроси, чего я только не видал!

– Да, говорят, интересные у вас воспоминания есть.

– Есть-таки. Бывали интересные вещи и в наше время, но, полагаю, что теперь их вдвое больше, и если б ты, например, наблюдал, то, наверное, всякого из нас, стариков, за пояс бы заткнул.

– Почему же вы так думаете?

– Да просто потому, что в наше время жизнь как-то ровнее шла, стало быть, и интересного в ней сравнительно меньше было. Подкладкой-то ей, положим, служили те же самые непредвиденность и неприкрытость, что и теперь, но люди, которые пользовались этой подкладкой, были солиднее. Они понимали, что известные жизненные условия для них выгодны, и пользовались ими, как могли; но они не дразнились, не утверждали во всеулышание, что это те самые условия, лучше которых нет и не будет. Они знали, что такого тезиса нельзя приличным образом поддержать и что болтливость и хвастовство могут только компрометировать, но никак не защитить. Поэтому в наше время была строгость, но не было ненависти; бывали действия, суровые, неумолимые, но не было вывертов, презрения и наглости. Мрачно было, мой друг, в наше время, но хоть тем хорошо, что «питореску»[8] подлого не так много было. Живешь-живешь, бывало, в «объятых сладкой тишины» – и ничего-то бьющего в глаза! И только когда-когда что-то шевельнется. Герой вдруг появится, который одну целую армию полицейских разобьет, или такой уж мерзавец, что даже прочие мерзавцы – и те удивляются, как его земля носит. Ну, разумеется, интересно: возьмешь и запишешь.

– Так, значит, по-вашему, нынче интересных вещей больше?

– Больше, мой друг.

– Представьте, я этого никогда не замечал!

– И не заметишь, потому что ты сам среди этой суматохи живешь. А вот, если, по обстоятельствам, придется тебе от фельдмаршальства-то отказаться да к сторонке отойти, – вот тогда все эти интересности сами собой и всплывут. Будет об чем и детям и внукам порассказать.

– Не знаю. Это для меня совсем ново. Во всяком случае, я думал и продолжаю думать, что никогда мы не пользовались такой свободой, как теперь, и что в этом отношении, по крайней мере, шаг вперед, сделанный нами...

– Свободно-то, даже очень свободно – помилуй, разве я не знаю! Но непредвиденность... ах, эта непредвиденность! Представь себе, вот я стар-стар, а все-таки меня ежечасно какая-то оторопь берет. Ходишь иногда один и думаешь: вольно мне теперь, на что вольнее! Что хочу, то и делаю! И в десятую долю никогда так свободно не дышала моя грудь, как дышит нынче! И вдруг какая-то неприятная дрожь. А что, дескать, коли, по обстоятельствам, придется вверх ногами ходить?

– Но ведь это пустяки, топ опс!е! вы очень хорошо понимаете, что пустяки!

– Понимаю-то понимаю, а все-таки...

– Все-таки боитесь... пустяков!

– Клянусь, боюсь. Никогда этого со мной не бывало, даже при Бироне не было – вот, брат, как я давно живу! – а нынче, как спать ложиться иду, непременно обе двери, и на парадную лестницу, и на черную, осмотрю: крепко ли заперты? И ночью не раз встанешь – послушаешь.

– Что ж, привидений вы, что ли, боитесь?

– Нет, не привидений, а вообще... «Интересного» боюсь. Думаешь иногда: что уж во мне! кажется, только и корысти, что заборы мной подпирать – а все-таки боишься!

– Ну, нет, не скромничайте! не говорите, что вами только заборы подпирать! Слыхали мы тоже про вас, слыхали-таки!

Феденька сказал это, очевидно, шутя, однако ж я все-таки обеспокоился.

– Вот видишь, и ты слышал – а я ничего не знаю. Почти ни с кем я не вижусь, а если и вижусь, то с такими же калеками, как я сам; даже водку совсем перестал пить, а все-таки чувства опасения не утратил!

– А я и вижусь со всеми, и вино и водку пью – и ничего не боюсь.

– Во-первых, ты кандидат в фельдмаршалы – не тебе, а тебя бояться приличествует. Во-вторых, ты бесстрашный. Вы все, нынешние, бесстрашные. В вас совсем нет чувства ответственности, а мы, старики, были снабжены им в излишестве.

– Но какое же тут чувство ответственности, коли вы даже водки не пьете?

– Все-таки. Вспомни, что я вскормлен непредвиденностью и, следовательно, ни на минуту не имею права позабыть об ней. Придет она, спросит, – я должен виниться. В чем виниться – я, положим, не знаю, но обстановку виноватости все-таки представить обязан.

– Однако напуганы-таки вы!

– Не напуган, а смолоду привык понимать, что в сем месте не пахнет розами. Вот эту-то самую остроту обоняния я и называю чувством ответственности. Без хвастовства и не в укор тебе, но я все-таки должен сказать: мы, старики, умнее вас держали себя.

– Ого!

– Да, умнее, – право, это так. Не все срамоты наружу вываливали, а кое-что и для внутренних апартаментов приберегали. И не стыд руководил нами в этом случае, а именно чувство ответственности, опасение компрометировать и себя, и присных своих. Уж это разве оглашенные какие хвастались: я, мол, такого-то объегорил, а такого-то и совсем по миру пустил; мудрый же, бывало, сядет потихоньку в уголок, да и прикладывает рублик к рублику. А на старости лет, глядишь, он либо в мasons поступил, либо псалмы в стихи перекладывает. Так-то, мой друг. И гадость свою выполнил, да и окрестностей вонюю не отравил, – вот наша мудрость была какова!

– К счастью, что в наше время ни «оглашенных», ни «мудрых» – одинаково нет.

– «Мудрых» нет – это правда; но «оглашенных» – хоть пруд пруди. И при том живущих со дня на день, непредусмотрительных, без надобности тщеславных и без надобности же пресмыкающихся, не понимающих, что всякий поступок должен иметь свою причину и свой результат...

– Дядя! ведь это, наконец, обидно!

– Да, это обидно. До такой степени обидно, что даже самая беседа об этом раздражает. Но представь себе: есть вещи, до такой степени неразрывные с человеческим существованием, что как ни отмахивайся от них, они так и наступают, так и наступают на тебя. Вот я совсем уж, кажется, отгородился от жизни, да, к несчастью, к газетам привычки не могу побороть. Получаю, братец, читаю. Иной раз прямо тебя по затылку ударит, а другой раз, хоть и ничего нет в газете, – опять обида: почему ничего нет? Не может быть, чтоб ничего не было! Обида, обида, обида! Может быть, на деле и нет этой обиды, да внутри у тебя непроглядная масса обид сидит. Тревожат, дразнят, досаждают. Перечти-ка ты эти обиды, посчитай-ка их в тиши уединения – вот и поймешь, почему иногда скучно на свете жить.

– Вольно же вам!

– Обиды-то глотать? Нет, иногда даже полезно приучаться к этому глотанью, потому что обида, рано или поздно, все-таки придет. И ежели ты к этому не привык, а умеешь глотать только устрицы, то обида у тебя поперек горла встанет, задушит. А меня не задушит, потому что я привык. Впрочем, будет об этом, обратимся лучше к тебе. Ну, фельдмаршал, сказывай: планы у тебя в головке, чай, так кишмя и кишат?

– Какие же планы, топ опс!е? и что может мне предстоять?

– Нет, тебе предстоит... я это чувствую, что тебе «предстоит»! Может быть, один «сирота» мимо проскочит, другой проскочит, а все-таки ты там будешь, где тебе природой указано. Вот почему я тебе, как дядя и друг, говорю: не зарывай в землю своих талантов, но культивируй их!

– Но ведь ежели вспомнить то, что мы сейчас говорили об этих талантах, так, пожалуй, не культивировать, а именно зарыть их скорее придется.

– Гм... пожалуй, что и так. В таком случае, зарой эти таланты и очисти место для других. Надо тебе сказать, что талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении. Какого рода положительные применения ты можешь дать своим талантам – это, к сожалению, объяснить трудно. Но от какого рода применений полезно было бы тебе воздержаться – это я, пожалуй, могу сказать.

Феденька с чуть заметной усмешкой взглянул на меня и процедил сквозь зубы:

– Например?

– Вижу я, вижу, мой друг, что болтливость моя забавляет тебя. И знаю, что тебе нужно только «провести время» с старым дядей, в ожидании тех визитов, которых ты еще не успел доделать...

– Что за мысль, топ опс!е!

– Ничего; позабавься – мне и самому приятно, ежели тебе весело. Начну с воспоминаний прошлого. Был во времена оны у нас государственный человек – не из остзейских, а из настоящих немцев, – человек замечательного ума и, сверх того, пользовавшийся репутацией несомненного бескорыстия. Тем не менее даже в то время нигде так не было распространено взяточничество, как в том обширном ведомстве, которым он управлял. Так вот он, когда случилось ему отправлять кого-нибудь на место в губернию, всегда следующим образом напутствовал отъезжающего: «Удивляюсь, говорил он, как вы, русские, так мало любите свое отечество! как только получаете возможность, так сейчас же начинаете грабить! Воздержитесь, мой друг! пожалейте свое отечество и не столь уж быстро обогащайтесь, как это делают некоторые из ваших товарищей!»

– Надеюсь, однако, топ опс!е, что ваша притча до меня не относится?

– Конечно, душа моя, в буквальном смысле она ни до тебя и даже ни до кого из «нынешних» карьеристов относиться не может. Но транспортировать ее все-таки можно. Например, сказать так: удивляюсь я, как вы, нынешние, так мало любите свое отечество! как только почувствуете силу, так тотчас же начинаете дразниться. Воздержитесь, друзья! пожалейте свое отечество и не столь уже беззаветно поддавайтесь внушениям бойкости, кои вам пользы ни на грош не принесут, а на общий ход дел между тем могут оказать влияние несомненно вредное!

Я остановился и взглянул на Феденьку: он очень внимательно чистил ножичком ногти.

– Гм... а как вы полагаете, дядя, – сказал он после минутного молчания, – ваш ископаемый государственный человек... достиг он своими наставлениями каких-нибудь результатов?

– О, разумеется, нет! всеконечно, нет! всеконечно, всеконечно, нет!

– Ну, а вы... вашими... как вы полагаете? достигнете?

Он сказал это так мило и при этом смотрел так ясно, улыбался так ласково, что я невольно взял его двумя перстами за подбородок и минуты с две молча любовался им.

Затем мы поцеловались, вновь пожелали друг другу счастливого года, и Феденька отправился доделывать визиты.

ПЕРВОЕ ФЕВРАЛЯ

Хотя беседа между мною и Феденькой происходила в шуточном тоне, но небрежность, с которой он отнесся к моим советам, не могла не огорчить меня. Основательно или неосновательно, но я не изъят некоторых опасений. Боюсь я этих бойких молодых людей, которые, ради карьеры, готовы отречься от отца и матери, которые, так сказать, едва вышедши из пеленок, уже потрясают указательным перстом, как бы угрожая невидимому врагу: вот я тебя! Что вызывает эти угрозы? какое чувство руководит этими юношами, этими неоперившимися птенцами в то время, когда они направо и налево сверкают зрачками глаз? Ненавидят ли они свое отечество (ведь, собственно говоря, они ему-то и грозят) или просто-напросто не понимают, что это за штука, которая называется отечеством?

Предположения о ненависти я не допускаю. Во-первых, это чувство слишком тяжеловесное для этих легких сердец; во-вторых, можно ненавидеть лишь то, что гнетет, сковывает, отравляет существование; но какого же рода отравы может испытывать, например, Феденька? Помилуйте! он, не размышляючи, живет себе на всем на готовом, в прошлое заглянуть не любопытствует, в настоящее не вникает, а в будущем – видит только отрады...

Скорее всего, это люди неразвитые, выучившие в школе свои тощие тетрадки, не обращающие внимания на их смысл, и потому даже не понимающие, по чьему адресу они посылают свои угрозы. Слово «отечество» не смущает их, потому что они не имеют ни малейшего представления о той бесконечно разнообразной массе интересов и отношений, которые оно собою захватывает. Они думают, что это слово потому только небесполезное, что оно похвально звучит в парадных случаях в ушах начальства. Сверх того, они знают из хрестоматий: «à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère»...[9] и только.

Наиболее дальновидные из них (те, которые рассчитывают на солидные карьеры, где упоминание об отечестве придает человеку известную серьезность) позволяют себе иногда щегольнуть этим словом даже запросто, между своими, но щегольство это, с первого же взгляда, поражает своею внезапностью, искусственностью и скоротечностью. Сидит, например, Феденька за тонким обедом у Бореля, сквернословит насчет предстоящих ему карьер и, дабы дать собравшимся собутыльникам понятие о своей солидности (он на днях ждет места, где без солидности обойтись нельзя), вдруг ни с того ни с сего прерывает сквернословие восклицанием:

– Causons un peu de la patrie, messieurs! Ah! la patrie... c'est sacré![10]

Все на мгновение умолкают; многие завидуют: гм... должно быть, ему и в самом деле

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru обещано! Но именно только на мгновение, потому что среди этого минутного смятения вдруг раздается голос какого-нибудь приبلудного Жорженьки:

– Rien n'est sacrrrré pour un sapeurrrrrre...[11]

И все опять повеселели, словно от кошмара освободились. Сам Феденька не в силах дольше держаться на высоте своей серьезности и ласково цедит сквозь зубы: шут! «Отечество» исчезает, словно сквозь землю проваливается, и веселое сквернословие вновь вступает в свои права. Не ясно ли, что это слово даже в облагороженной форме «la patrie» слишком громоздко для этих людей?

Да, это совсем не жестокий, а именно только легкий и до невменяемости неразвитый народ!

Тем не менее, не понимая, что следует разуметь под словом «отечество» и какие обязанности последнее налагает на детей своих, молодые карьеристы в то же время отлично понимают, во-первых, что доходы и оклады, с помощью которых они прожигают жизнь, получают ими в отечестве, и, во-вторых, что нигде, кроме отечества, им не суждено удовлетворить той потребности молодечества, которая, за отсутствием знаний и привычки размышлять, преследует их на всяком месте. В этом смысле и им, разумеется, не чужда идея «отечества», но какого отечества? – того, которое все стерпит, да вдобавок еще и денег даст. Сильные этим соображением и зная, что практика не особенно-таки противоречит ему, эти люди видят в отечестве нечто фаталистически им подчиненное, обязанное повиноваться и быть твердым в бедствиях. Поэтому они относятся к нему без церемоний, а иногда и с тем капризным нетерпением, с которым при крепостном праве некоторые не совсем умные помещики относились к мужику. Выжавши из него весь сок и замечая, что он уж не выделяет из себя нового сока, они усматривали в этом не произволение природы, положившей предел выделению соков, даже мужицких, но мужицкую интригу, факт злонамеренной утайки принадлежащих им, помещикам, даней. И, разумеется, сердились, секли и ссылали в Сибирь.

Отечество-пирог – вот идеал, дальше которого не идут эти незрелые, но нахальные умы. Мальчики, без году неделю вылезшие из курточек и об том только думающие, как бы урвать, укусить... ужели этого зрелища недостаточно, чтобы взволновать чувствительные сердца?

В последнее время это одностороннее отношение к задачам и формам подлежащей жизненной деятельности, к сожалению, еще более обострилось. В массе людей «посторонних», не «провиденциальных», уже начинают выделяться личности, которые слову «отечество» придают очень серьезный смысл, которые прямо говорят, что отечеству надлежит служить, а не жрать его. Сверх того, тем же сознанием серьезности проникается, в значительной степени, и современная русская литература. По-настоящему этот факт должен был бы пробуждать доверие, а он, напротив того, бесит. Бесит, потому что «провиденциальные» мальчики никак не могут понять, как это вдруг пришло. Откуда взялось мнение, что отечество – не пирог, а культ, дающий очень мало прав и налагающий очень много обязанностей? Кто это говорит? подумайте... КТО это говорит? Это говорят люди «посторонние», которым, по-настоящему, до этого и дела-то нет! И кому они говорят это? – тем, которые и днем и ночью, и в ресторанах и в кафешантанах, всегда готовы продекламировать: «à tous les coeurs bien nès que la patrie est chère!» Очевидно, что это не просто, а нарочно; что тут есть какая-то пертурбация, подрыв, потрясение! И вот провиденциальные мальчики чувствуют себя оскорбленными и начинают сердиться. Угрозы, имевшие дотоле оттенок простой (хотя и халдоватой) неряшливости, приобретают с каждым днем характер более и более острый. Глаза горят, ноздри раздуваются, из уст бьет пена... Это у мальчиков-то!

Как хотите, а это страшно. Целые массы провиденциальных мальчиков ежегодно выбрасываются из всевозможных заведений на арену жизни... целые массы с слюной на устах! И это – надежда, это – запас, из которого будущему предстоит черпать! И каждый член этой массы бестрепетно грозит перстом: вот я вас! Каждый мнит, что все, что ни охватит его жадный взгляд, – все это не что иное, как арена, уготованная для подвигов его молодечества, арена, на которой он может дразниться, подтягивать, «учить», утверждать в вере и т. д. Размыслите, сколько путаниц, смут и недоумений осуществляют в своем лице эти нового рода саперы, для которых... rien n'est sacrrrré pour un sapeurrrrrre!

И при том не простые саперы, а осложненные предвидением каких-то препятствий,

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru саперы, убедившиеся, что пирог, осуществляемый отечеством, нужно не просто есть, а сколь можно ожесточеннее рвать зубами, потому что внутри его, вместо начинки, засело скопище неблагоприятных элементов, которые имеют дерзость утверждать, что отечество есть культ. Культ!.. sapristi! à qui le dites vous?[12]

Забудем, однако, о «посторонних» людях, допустим, что Россия, действительно, пирог, и только пирог. Ну, и ешьте его. Но ешьте же втихомолку, без гвалта, не надругаясь над божьим даром, не разбрасывая добра по сторонам, ешьте, как при крепостном праве едали умные едоки, которые отлично понимали, что мужика невыгодно обглаживать до костей. Поешьте и сделайте роздых, займитесь пищеварением. Размыслите: чем спокойнее и расчетливей вы будете есть, тем больше у вас останется еды напередки, тем продолжительнее будет ваше пиршество. При помощи сноровки, благоразумия и скромности, вы даже можете достигнуть совсем неожиданных результатов: покончивши с одним пирогом, вы получите на смену другой, третий и т. д. Ужели эта перспектива недостаточно соблазнительна, чтобы, ради нее, не расстаться с бесплодными угрозами?

Зачем похваляться какими-то прерогативами? зачем говорить: вот мы будем пирог есть, а вы, любезные соотечественники, обязываетесь в это время смотреть в оба и не пикнуть? зачем угрожать, пугать, дразниться? Какая выгода, какое удовольствие вам от того, что, покуда вы гремите тарелками, соотечественники ваши будут в паническом молчании тарашить на вас глаза? Не приятнее ли, не в сто раз веселее ли было бы для вас самих, если б эти же самые соотечественники, во время вашей трапезы, потрясали воздух кликами ликования, предавались обычным невинным занятиям, суетились, ходили взад и вперед и даже... немножко шумели? Сообразите сами: ведь это ликование, этот шум – ведь это своего рода музыка; это движение, эта суета, этот вольный аллюр – своего рода приятнейший *tableau de genre*. [13] Недаром помещики добрые (они же и умные) в числе прочих удовольствий, приятных барскому сердцу, допускали хороводы, игры и вообще всякое невинное, хотя бы и шумное, излияние мужицкого веселонравия. Даже скотина – и та в стаде ест веселее, нежели в одиночку. А при том же поймайте еще и то, что без говору, без суеты ничего путного нельзя произвести. Вы съедите один пирог, но вам же понадобится и другой – каким образом состряпают его эти люди, которые до того вами напуганы, что ничего другого не могут, кроме как в оцепенении ожидать, с которой стороны их хлопнет: по затылку или в лоб?

Я знаю, вы убеждены, что все это необходимо для того, чтобы утвердить в «посторонних людях» уважение к авторитету. Но понимаете ли вы сами всю непосильность взятой вами на себя задачи? Во-первых, вы, очевидно, смешиваете уважение к авторитету с испугом, потому что хотите утверждать первое механически, а механически утверждается только испуг. Во-вторых, как ни законно желание, чтобы авторитет был окружен уважением, но насколько же может содействовать этому дурная привычка дразниться? Ах, это именно дурная и вредная привычка! Дразнясь, вы искажаете собственные лица, которые, вследствие этого, делаются не только не внушительными, но просто-напросто смешными. Дразнясь, вы обращаете вашу мысль преимущественно к мелочам и упускаете из вида существенное. Дразнясь, вы больше оскорбляете, пробуждаете в сердцах несравненно большую массу горечи, нежели даже допуская прямые жестокости. Увы! вы слишком еще юны, чтобы понимать, как бесконечно подло положение человека, который понимает, что его можно бестрепетно дразнить! И как в миллион крат еще подлее положение того человека, который, пользуясь этою подлостью, все-таки продолжает дразниться. Размыслите же об этом, молодые люди, размыслите для вашей собственной пользы! Я знаю, что вы не любите думать (считаете «думанье» источником всякого зла), но на этот раз сделайте над собою усилие, подумайте! И я уверен, что вы без труда убедитесь, что вашими похвальбами, угрозами и подтягиванием вы не только не утверждаете, но даже прямо компрометируете, попираете ногами дорогой для вас принцип авторитета.

Не могу не рассказать по этому случаю одного происшествия, которому я сам был когда-то свидетелем. Был у меня, во времена крепостного права, знакомый помещик, человек не жадный, не жестокий, но, на свое горе, идейный. Всякие идеи приходили ему в голову в часы досуга, и между прочим идея об утверждении помещичьего авторитета в родном селе Загибалове. С чего он вдруг взял, что авторитет его недостаточно прочен, – этого я, за давнопрошедшим временем, не упомяну; помню только, что он беспрерывно твердил: «надо, mon cher, [14] непременно надо это устроить! распушены они! черт знает до чего распушены!» И еще помню, что распушенность, как видно было из его слов, преимущественно заключалась в том, что мужики не особенно сторожко относились к нему, когда он проходил по селу. А

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru он таки любил пройтись гоголем по сельской улице, а в особенности любил, чтобы мужик издали увидел его и, издали же сняв шапку, приветствовал его приближение поясным поклоном.

– Понимаете! – говорил он мне, – не поклон их мне нужен, а нужно убеждение, что они сознают свои обязанности относительно меня, что мой авторитет, *en un mot... vous comprenez?*[15]

И вот он принялся утверждать свой авторитет между загибаловскими мужиками или, сказать проще, начал дразнить мужиков. Заметит мужика, который делом занят, и начнет около него гоголем похаживать. Пройдет раз мимо; почует мужик боярский дух, отвесит поясной поклон – хорошо; не спохватится – сейчас краткое нравоучение с иллюстрациями из избранных сочинений по части митирогнозии. Через минуту, только что мужик вновь углубился в занятие, – хватать, ан помещик опять тут как тут! Опять утверждение авторитета, опять раздающееся на все село: го-го-го! И до тех пор так действовал, покуда облюбованный мужик не убеждался, что нужно выкинуть из головы всякую заботу о деле и, вместо того, стоять выпучивши глаза и выглядывать, не появится ли где-нибудь барин, чтоб своевременно отвесить ему требуемый поклон.

Таким образом, он перепробовал всех мужиков своего имени и, действительно, добился-таки, что все они выпучили глаза. Много было тут и комических сцен, но, право, больше было трагедии. Авторитет был насажден, но мужицкие хозяйства запустели, а вслед за тем, естественно, последовала задержка и в барских obroках. Однако ж, как человек идейный, мой знакомец и с этим мирился, лишь бы цель его жизни была достигнута. Но вот пробил грозный час, час уплаты процентов опекуному совету. Ни денег, ни ценностей не было, – все обращено было в авторитет. Разумеется, село Загибалово было в непродолжительном времени продано с аукционного торга.

Вы можете, о молодые карьеристы, вывести из этой критики такое поучение, какое сами заблагорассудите; я же, с своей стороны, обязываюсь прибавить одно: что сравнение с сейчас названным помещиком не только не унижительно, но даже чересчур лестно для вас. Знакомец мой был человек хотя и не умный, но идейный, и в пользу раз облюбованной идеи жертвовал даже пирогом. Вы же, оставаясь неумными, хотите в одно и то же время и дразниться, и пирог за собой сохранить!.. Разве это естественно?

И заметьте, что вы не платонически только дразнитесь, а прямо являетесь в жизнь с твердым намерением «делать нарочно». Вы вполне серьезно убеждены, что воспрославиться можно, только поступая наперекор, делая нарочно. Откуда пришло к вам это убеждение, кто внедрил его в вас – этого я решительно не понимаю. Не думаю, чтоб это внушили вам почтеннейшие ваши родители, не предполагаю также, чтоб вы почерпали этот принцип в стенах «заведений», которые охраняют вашу юность, и еще меньше могу допустить, чтоб вы могли наслышаться об нем от татар Борелева ресторана, где вы, по воскресным и праздничным дням, исподволь приучаетесь прожигать жизнь. И родители, и воспитатели, и борелевские татары виноваты разве в одном: что они чересчур уж любят вас, чересчур желают вам успехов, одних успехов! Они убеждены заранее, что вы явились в мир затем единственно, чтобы преуспевать и делать карьеры. Вы – провиденциальные мальчики, и в согласность этому и воспитание вам дают провиденциальное же, то есть без участия наук, которые, впоследствии, могли бы заставить вас остановиться, задуматься или вообще как-нибудь вас огорчить. Отсюда общая уверенность, что вы «достигнете» – непременно. Но средств, к которым вы прибегнете, чтоб воспрославиться, угадать нельзя, потому что они меняются сообразно с условиями времени. Эти средства вы создаете сами. Вы отгадываете, откуда и каким ветром дует, вы видите примеры ваших ближайших сверстников, вы чутко следите за их быстрыми шагами на пути карьер и молодечества и согласно с этими наблюдениями совершенно точно определяете, какая в данном случае потребуется доза проворства, бойкости, а, пожалуй, даже и нахальства. Таким образом, уже в стенах школы устанавливается в ваших понятиях целая традиция, и на основании ее образуется известный товарищеский «дух». Вот этот-то именно «дух» я и не могу назвать доброкачественным.

«Делать нарочно», то есть действовать наперекор общему мнению и здравому смыслу, – вещь далеко не новая. И тут можно найти очень поучительные прецеденты в крепостной практике. Помещики неумные всегда так поступали; они заставляли людей делать именно такое дело, к которому последние совсем неспособны, и, по

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru какому-то совершенно безумному капризу, отрывали их от работы в такое время, когда работа всего больше необходима. В особенности же держались этой системы при распределении сельских и хозяйственных должностей, стараясь угадать, кто именно, в качестве старосты или прикащика, может быть всего неприятнее мужикам. Предполагалось... но что именно тут предполагалось – этого даже приблизительно понять нельзя. Вероятно, что-нибудь тоже вроде «утверждения авторитетов». Но выходила неслыханная бессмыслица и неслыханное страдание. Безумные люди как бы мстили хлебу за то, что он насыщает их. И мстили систематически, с серьезным тупоумием, ни на минуту не задумываясь над тем, что могильная тишина, которой они достигали, переполнена проклятиями.

Но мало того, что это вещь не новая – она, сверх того, и положительно вредная. Продолжительное практикование подобной системы убивает не только тех, на которых она практикуется, но и тех, которые практикуют ее. Оно делает практикующего злым. О молодые люди! вы не знаете, какая это трудная задача быть злым! Это тягчайшая из всех казней, в которой соединяется: и отказ от человеческого образа, и отрешение от радостей и благ жизни, и добровольное самоустранение от общения с живыми людьми. Кто из вас решится этой ценой купить себе славу человека, сгибающего в бараний рог? Взгляните на портреты наиболее прославившихся «сгибателей» – что вы увидите на этих угрюмых и озбоченных лицах, кроме безрассветного мрака тоски! Пронеслись они бесплодным, иссушающим ветром по лицу земли; разоряли, преследовали по пятам, душили и, наконец, сами задохлись в судорогах снедавшей их угрюмости! И даже могилы их стоят забытыми, потому что всякий спешит скорее пройти мимо, чтобы не вспомнить кошмара, который неразлучен с памятью об них...

Увы! все это еще при жизни было написано на их лицах! все, даже предчувствие забвения, которое окружит их могилы!

Тоска, отчаянье, одиночество, почти одичалость – вот старость, которую вы готовите себе. Конечно, эта метаморфоза может, на первый взгляд, показаться вам рискованною и даже смешною. Покуда вы еще такие радостные, проворные, общезительные – трудно даже представить себе, чтобы для вас когда-нибудь наступил период тоски и одичалости. К сожалению, это не только возможно, но и неизбежно. Прикосновение к известной жизненной практике производит в человеке изменения, поистине волшебные. Оно сушит жизненные соки, оно разом порывает те невидимые нити, которые связывают человека с человеком, оно отчуждает человека, кладет на него печать выморочности. Стало быть, в сущности, вас ждет не перспектива молодечества, а перспектива уныния и медленного одинокого разложения. Подумайте об этом теперь, когда еще не ушло время, потому что после, когда в вас окончательно притупится способность воспринимать впечатления, когда вы привыкнете, – будет уже поздно. Освоившись с атмосферой, которая сама собой образуется вокруг вас, вы уже не найдете в себе ни силы, ни даже потребности жить вне ее.

О молодые люди! когда вы с таким неизреченным легкомыслием начинаете грозить отечеству: вот я тебя! – вы не поверите, как тяжело бывает смотреть на вас! И жалость берет, и отвращение, и страх. Жалость – к вам, отвращение – к вашей неблагоприятности, страх – за все испуганное, валяющееся в прахе, не имеющее ни силы прийти в себя, ни смелости взглянуть вам в глаза. Но что ужаснее всего: вы до такой степени презираете все, что не вы, что ничего не хотите ни слышать, ни видеть, ни понимать. Все кругом предостерегает вас, а вы все-таки идете напролом, грудью вперед... куда?

Перед вами лежит громадная загадочная масса, и вы полагаете, что ее можно сразу разгадать и определить одною фразой: в бараний рог согну! Право, такое определение слишком просто и коротко, чтоб быть верным. Хотя это замечание и чисто внешнего свойства, но, поверьте, оно имеет свою цену. Сложная масса и определений требует сложных – это аксиома, которую вам придется признать при первом несколько серьезном столкновении с жизнью. А ведь от этих столкновений и вы не обеспечены, как ни беззаветно одушевляющее вас легкомыслие...

. . . .

Я знаю, что в числе моих читателей очень многие упрекнули меня за выбор предмета, которому я посвятил эти беглые очерки. Что такое эти провиденциальные младенцы? скажут они, – это не больше, как бессильная каста сорванцов-недоумков, которая, конечно, вызывает досаду своим откровенным бесстыдством, но которая, вследствие

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru самой своей бессодержательности, никак уж не может влиять на будущее; это кучка изолированных, не помнящих родства призраков, которые, несомненно, исчезнут при первом появлении солнечного луча. Масса, у которой и своего дела по горло, у которой нет времени смотреть на представления бог весть откуда явившихся клоунов, не только не чувствует их присутствия, но даже не знает об их существовании. Если б они воистину имели решающий голос в исторических судьбах, то мы давно бы видели повсеместное запустение. Но ведь этого нет, но жизнь еще не сложила оружия – стало быть, нет основания и для опасений. Пускай безумцы посылают в пространство свои угрозы, пускай пробуют свои молодые силы на подвигах бесцельного молодечества – угрозы их разнесет ветер, подвиги не перейдут за черту заколдованного круга, в котором они зародились. Стоит ли обращать внимание на эти преходящие сновидения, в которых нечего осязать и которые, вдобавок, до того бессвязны, что невозможно проследить в них ни начала, ни середины, ни конца. Призраки всегда были и всегда будут. Всегда существовал этот досадный фантастический мир, который надоедливо жужжал в уши и присаживался как можно ближе к пирогу. И никогда он не изменял себе, хотя внешние формы его в разное время были различны. Всегда он хвастался, лгал и пустословил, но пустословие это не оставляло следов. И кто эти люди? – какие-то едва вышедшие из курточек младенцы... брысь!

К сожалению, в этом возражении я вижу только одну подробность, с которой могу безусловно согласиться. А именно: что исследуемый мною мир есть воистину мир призраков. Но я утверждаю, что эти призраки не только не бессильны, но самым решительным образом влияют на жизнь. Это ужасно унижительно, но это так. Я понимаю очень хорошо, что, с появлением солнечного луча, призраки должны исчезнуть, но, увы! я не знаю, когда этот солнечный луч появится. Вот это-то именно и гнетет меня, это-то и заставляет ощущать страх за будущее. Мы ждем, что луч осветит нашу жизнь не дальше, как завтра, но ведь и предшественники наши этого ждали, и их предшественники – тоже. От начала веков этого ждут, тысячи поколений сгорели в этом ожидании, а мир все еще кишит призраками. И наша действительность до того переполнена, заполнена ими, что мы, из-за массы призраков, не видим очертаний жизни. Мало того: мы сами отчасти делаемся призраками, принимаем их складку. Возможна ли обида горше этой? Увы! они сильнее силы, живучее жизни, эти призраки! И я, который пишу эти строки, я пишу их под игом призраков, и вы, читающие эти строки, – вы тоже читаете их под игом призраков...

Правда, что призраки, о которых я повел речь, чересчур мизерны и юны, и потому их призрачность кажется как бы сугубою. Тем не менее я продолжаю утверждать: это те самые призраки, которые стерегут наше ближайшее будущее! Что же касается до солнечного луча, то и я жду его вместе с прочими, но ожидание это нимало не разрезает тяжелых потемков, которые царствуют окрест.

.

Как бы то ни было, но изложенные сейчас размышления не на шутку встревожили меня. Я считаю себя добрым родственником, люблю кузину Nathalie («она такая слабенькая, совсем, совсем куколка») и охотно переношу эту любовь на ее сына. Мне было бы очень больно, если б Феденька играл деятельную роль в этой мальчишеской комедии потрясения перстом. Я знаю, конечно, что начальство довольно снисходительно смотрит на шалости молодых людей, но ведь не ровён час, вдруг оно спросит: а позвольте, господа, узнать, кто уполномочил вас дразнить ваших сограждан и глумиться над любезным отечеством? Что ответит на этот вопрос Феденька? Боюсь я, сильно боюсь, как бы мне не пришлось сгореть за него со стыда.

Хоть он и не носит моей фамилии, но все-таки он... Неугодов!! Неугодов... где бишь «сидел» какой-то Неугодов? кому бишь другой такой же Неугодов целовал крест? Вот они... Неугодовы!! Уж ради одного этого можно было бы побеспокоиться, чтобы последний отпрыск этих достославных «сидельцев» и «целовальников» не осрамился вконец.

Под влиянием этих тревог я решился как можно скорее узнать, как полагает Феденька поступить с Россией в том недалеком будущем, когда чин действительного статского советника украсит его формуляр.

ПЕРВОЕ МАРТА

На мое приглашение повидаться Феденька ответил кратко: «Не могу. Дела по горло.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Утром – читаю и запасаясь фактами; вечером – председательствую в комиссии.
Когда-нибудь расскажу подробно». Разумеется, это известие еще больше взволновало
меня. «В комиссии!», «председательствует!» – так и звенело у меня в ушах.

К сожалению, я – литератор. Было время, когда я не мог себе представить ничего
завиднее этого положения. Теперь я это представление значительно видоизменил и
выражаюсь уж так!: хорошо быть литератором, но не действующим, а бывшим. Да,
именно так: не настоящим литератором, не тем, который мучительно мечтает, как бы
объехать на кривой загадочного незнакомца, а тем, который, совершив все земное,
ясными и примиренными глазами смотрит на жизненную суету, твердо уверенный, что
суета эта пройдет мимо, не коснувшись до него ни единым запросом, ни единым
унижением, ни единой тревогой...

Он послужил на свой пай литературе, и послужил достаточно; он принес и ей и
обществу посильную дань пользы; он уврачевал множество скорбей и на бесчисленные
раны пролил бальзам исцеления; он испытал в свое время и тревоги борьбы, и
сладолюбия одоления (разумеется, относительного); он предал забвению первые и с
благодарным сердцем вспоминает о вторых; он вынес из своего литературного
прошлого целый запас анекдотов, которыми многие годы может продовольствовать
массу своих почитателей; он добился общего признания своих заслуг, и, наконец, –
о, заслуга превыше всех заслуг! – он умел вовремя сознать, что из сего лимона
более ничего не выжмешь, а затем смириться и воскликнуть: довольно! Какое
положение может быть почтеннее этого?

Он уж не литератор, но не считать его литератором – нет никакой возможности.
Во-первых, это значило бы обидеть человека ни в чем не повинного, кроме
маститости; во-вторых, это было бы жестоко, ибо исключение из литературного
сонмища лишило бы его утешения рассказывать, каким путем он был приведен к
необходимости написать свой первый триолет; и в-третьих, это было бы неправильно
и потому, что, несмотря на «отставку», от всей фигуры этого счастливого человека
все еще так и прыщут триолетами и акростихами. Правда, что все это триолеты
прошлого; но кто же поручится, что он вот-вот и сейчас не разразится
каким-нибудь рондо?

Человеку, которого, в течение 30–40 лет, насквозь пронизывала литературная
«проходимость» и сопряженные с нею учреждения, перестать сознавать себя
литератором столь же нелепо, как рыбной ватаге, насквозь пропитанной
тузлуком, перестать быть ватагой. Сверх того, правильно или неправильно, но с
званием литератора, в общественном мнении, соединяется представление об «умном
человеке». Княгиня Долгоухова, приглашая к себе на чашку чая графиню Корноухову,
говорит: у меня будет литератор такой-то, и это означает, в переводе на
обыкновенный язык: будет человек интересный, умный, *pous pous amuserons*. [16]
Стало быть, отказ от звания литератора был бы равносителен сопричислению себя к
лику не умных людей, что совершенно противостоит. Вот почему никто из
вкусивших от «литературной проходимости» уже не отказывается от нее.
Сгорбленный, с палочкой в руках, бредет отставной литератор по солнечной стороне
Невского проспекта и все-таки сознает себя литератором. Он уже утратил
«словесность» и даже в крайних случаях только разезает рот, но в те немногие
минуты, когда кашель, одышка, цензурные сердцебиения (особливая, свойственная
только литератору, болезнь) и прочие недуги оставляют его свободным, он
пользуется этими сладкими мгновениями, чтобы коснеющим языком провозгласить: да,
я – еще литератор!

Итак, не считать его литератором – невозможно. Но в то же время нельзя и считать
его литератором, ибо он уже не ядоносец и торговлю «заблуждениями» прикрыл
навсегда...

Положение несколько двойственное, но вполне завидное. С одной стороны, публика
не перестает благоговеть перед маститым человеком и втайне даже как бы вопрошает
его: ужели же ты не подаришь нас новым триолетом? С другой стороны, начальство
уже простило ему все бывшие заблуждения. И таким образом, всем он равно
достолубезен, всем равно мил. От одних – почтен, от других – прощен. Вчера еще
он был разбойником печати, подрывателем основ и краеугольных камней; сегодня –
он только приятнейший собеседник, увлекательнейший рассказчик и несравненный
дамский кавалер. При виде его сердца дам мгновенно зажигаются восторгом
(впрочем, невинным), бюстители же благоустройства и благочиния весело потирают
руки, восклицая: от этого человека, как от козла – ни шерсти, ни молока!
Повторяю: какой удел может быть слаще?

Совсем в другом виде представляется удел, уготованный судьбою писателю действующему. Публика видит в нем человека подневольного и потому обращается с ним без малейшего благоговения. Она не вопрошает его со страхом: ужели тот триолет, который мы недавно прочитали, – твой последний триолет? но говорит прямо: вот каторжный, который напишет нам столько триолетов, сколько мы сами того пожелаем! Иногда публика охотно читает его, но никогда с таким удовольствием, с каким не читает писателя бывшего. А что касается до женского пола, то об этом и говорить нечего. В глазах дамочек действующий литератор уже по тому одному не интересен, что ему вечно некогда. Ни тонкого разговора о женской правоспособности повести, ни пощекотать замысловатым женским парадоксом, ни поисповедовать насчет каких-нибудь *réchés mignons*, [17] ни растревожить воображение, – ничего он не может. Сидит этот «писачка», запершись, у себя в кабинете и всё строчит. Тогда как бывший литератор – все у него к услугам дам. И душа покладистая, и тело досужее, и язык без костей...

С своей стороны, и начальство смотрит на действующего литератора с некоторою осмотрительностью. Оно знает, что литература, вследствие векового недоразумения, считается украшением, но в то же время не игнорирует и того, что излишество украшений производит неприятную для глаз пестроту. Вот кабы все действующие литераторы каким-нибудь сладким волшебством вдруг превратились в литераторов бывших – вот было бы хорошо! Например, Державин... ода «Бог», «Фелица»... Или даже это:

Вечор красавицы-девицы
Мешок пшеницы принесли:
Ведь расклюют же даром птицы –
Возьми, старинушка, смели!
Вот это хорошо! Или вот Пушкин... хотя все-таки лучше было бы, если бы он был Державиным, а не Пушкиным – ну, да уж бог ему, покойнику, простит! А эти действующие литераторы... ах, эти литераторы!

Словом сказать, действующий литератор представляется чем-то закоренелым, нераскаянным и до такой степени заблуждающимся, что он, подобно анекдотическому пошехонцу, способен «в трех соснах заблудиться».

Разница в положениях, как видит читатель, громадная...

К глубокому моему огорчению, я и до сих пор принадлежу к числу литераторов действующих. Я знаю и понимаю, что давно бы мне следовало оставить заблуждения, давно пора бы предать забвению письменные принадлежности и вообще «забыться и заснуть», но – увы! – обстоятельства сильнее меня. Здесь не место объяснять, какого рода эти обстоятельства, но я должен сознаться, что «возвышенное» и «прекрасное» играют в них, сравнительно, довольно второстепенную роль. Я работник, труженик, и ежели «заблуждаюсь», то преимущественно потому, что человеку, однажды взявшему в руки перо, невозможно не заблуждаться. Заблуждения как-то сами собой вырастают из-под пера, и чем быстрее бежит перо по бумаге, тем больше и больше оно плодит заблуждений. Разговаривая я, в большинстве случаев, не только здраво, но и благонамеренно, но едва прикасаюсь пером к бумаге – сейчас же начинаю заблуждаться. Даже корреспонденты «Московских ведомостей» – и те, мне кажется, кружат в трех соснах, именно благодаря тому, что помело, которое они употребляют, и помои, в которые макают это помело, все-таки прообразуют собой перо и чернила.

Ввиду всех этих соображений, делается понятным, что я положительно теряюсь всякий раз, как только прослышу, что где-нибудь затевается какая-нибудь комиссия. О чем будет трактовать эта комиссия, какие новые выдумки начнет разработывать – это для меня безразлично. Я знаю вперед, что рано или поздно, так или иначе, она все-таки кончит тем, что займется литературой. Сначала заденет ее косвенно, потом больше и больше, а наконец, совсем забудет о предстоящих ей специальных выдумках и займется исключительно литературой и одушевляющим ее «вредным направлением»...

Очень возможно, что я и заблуждаюсь, – на то я и литератор, чтоб заблуждаться, – но почему-то мне думается, что иначе оно не может и быть. И даже не «почему-то» так думается, а просто-напросто я имею твердые и достоверные основания так думать. Скучно ведь сидеть в этих комиссиях, господа, адски скучно! Именно только адская скука и сопряженное с ней прекраснейшее содержание могут заставить

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru людей издать сто один том «Трудов», имея при том в перспективе издать и еще столько же, без всякой надежды на результат! Представьте себе, например, положение такого шустрого и правоспособного малого, как мой Феденька. Приходит он в помещение заседания комиссии и сразу же чувствует одно непреодолимое желание: как можно скорее удрать! Да и как не иметь ему этого желания! В комнате царит казенная нагота; посередине стоит форменный стол, обставленный форменными же креслами; на столе в изобилии расставлены зажженные свечи, но и за всем тем, и стены и потолок кажутся погруженными в сумерки. Темно, голо, даже холодно, несмотря на то, что дрова отпускаются казенные. Дамочек нет и в помине; вместо них там и сям мелькают испитые лица каких-то крохоборцев, и у каждого из них в руке громадный картонный лист с наклеенными на нем бумажками. Это «материалы». Как тут поступить? неужто и в самом деле начать дебатировать? об чем? Нет, проще всего, не вдаваясь в рассмотрение вопроса по существу, прямо предать «материалы» тиснению. Решили. А потом? Увы! времени впереди еще много, а удрать невозможно – какая же это будет комиссия! – чем заняться, как провести время, чтобы отбыть урочные часы? Вот тут-то именно и является на выручку литература.

Во-первых, литература, в качестве «украшения», всякому сама по себе бросается в глаза. Во-вторых, она имеет слабость интересоваться комиссиями и следить за их трудами. Это последнее свойство, в особенности, служит для нее источником бесчисленных и мучительнейших огорчений.

Чуть только пройдет по городу слух, что нарождается новая комиссия, как литература уже начинает ликовать: ну, слава богу! теперь скоро! Но проходит полгода, проходит год, десять лет, наконец, сто лет, а об комиссии ни слуху ни духу – словно в воду канула! Известно только, что члены ее неупустительно собираются, неупустительно получают присвоенное содержание и упорно наклеивают бумажки на громадные картонные листы. Естественно, литература начинает роптать. Сколько было возбуждено светлых надежд, и как беспощадно они тускнеют одна за другой! Учтиво, но твердо напоминает она, что такого-то числа исполнится столько-то лет со времени учреждения комиссии и что по этому случаю предполагается даже устроить коммеморативный семейный обед в одной из зал *hôtel Demuth*. [18] Что сделала комиссия в течение столь продолжительного периода времени? вопрошает литература и тут же отвечает, – об этом мы поговорим в следующий раз...

Угроза не особенно страшная, но она вносит переполох в сердца членов комиссии. Ожидание, что вот-вот об них «в следующий раз» что-то поговорят, приводит их в негодование. Не то чтобы они чувствовали страх, но – помилуйте! – ведь этак всякий... Всякий будет угрожать, всякий будет обсуждать, всякий будет выкладывать, что ему бог на сердце положит! Всякий! И вот картоны с наклеенными бумажками откладываются в сторону, и на сцену выступает литература. Сначала произносится слово «распущенность», потом «неуважение авторитетов», потом «вредное направление вообще» и, наконец... «потрясение основ»!.. И все это по поводу лишь того, что Феденьке показалось обидным, что об нем кто-то собирается поговорить «в следующий раз»...

Меня всегда удивляло одно: зачем литература доводит себя до таких катастроф ради комиссий, занимающихся изданием сто одного тома «Трудов»? Какое ей дело до комиссий? какое дело комиссиям до нее? Ужели нельзя существовать рядом без взаимных раздражений? Истинно, истинно говорю: можно существовать. И ежели объясняю себе это изумительное *quî pro quo*, [19] то именно тем, что таково уже свойство всякого действующего (воинствующего) литератора, что, раз взявшись за перо, он уже не может не заблуждаться. Независимо от его воли, это перо наплодит такую массу заблуждений, что для искупления ее недостаточно будет всей совокупности кар, поименованных в «Уложении о наказаниях».

Но ежели литературе свойственно заблуждаться, то комиссиям еще свойственнее негодовать. Каждый в этом конфликте находится в своей роли, каждый исполняет свое провиденциальное назначение. Поймите, в самом деле, как же это так: всякий будет понуждать, всякий будет угрожать, всякий будет говорить: ведь комиссия-то спит! Каким образом сохранить, при подобном порядке вещей, душевное равновесие, потребное для получения присвоенного содержания?

И эта способность приходить в негодование по поводу «сований носа», по поводу «непрощеных разглаговльствий» и «хождений с своим уставом в чужой монастырь» свойственна не только, так сказать, природным членам комиссий, но и всякому русскому культурному человеку, которому судьба бросит на разжевание хоть

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru какой-нибудь, хоть даже просто-напросто бросовый вопрос. Лично каждый культурный человек готов во всякое время и купить и продать, но раз он очутился около каких-нибудь крох и имеет возможность производить сортировку их – он будет защищать и эти крохи, и эту сортировку до исступления. И будет негодовать на всякого, кто затеет сунуть свой нос в его домашнее дело.

Пусть каждый из читающих эти строки обдумает их и пускай затем добросовестно ответит: как бы он стал поступать, если бы случай сделал его членом, например, комиссии об отыскании «корней и нитей» и если бы, по случаю столетнего ее юбилея, какой-нибудь всякий осмелился намекнуть, что учреждение это (бесспорно, полезное), издав триста три тома «Трудов», все-таки ни корней, ни нитей не отыскало? По крайней мере, что касается до меня, то я публично каюсь: покуда я не нахожусь в составе комиссии (какой бы то ни было – это безразлично) – я заблуждаюсь, то есть изыскиваю средства сунуть свой нос; но едва лишь меня поместили в оную – я закусываю удила и делаюсь способным только «негодовать», то есть на всех перекрестках вопиять: помилуйте! есть ли возможность спокойно работать, ежели всякий будет «совать свой нос»!

И еще характеристичная особенность. Хотя мы, культурные люди, имеем замечательную охоту к разработке «вопросов», но предметом этой разработки почти всегда делаем вопросы чисто отрицательного свойства. Нет, чтобы что-нибудь оплодотворить или открыть на пять копеек втуне лежащих богатств, а непременно искоренить, истребить, последние пять копеек растратить. Как будто провиденциальная наша задача именно в том и состоит, чтобы все без остатка в три дня разрушить и во сто лет ничего не воздвигнуть.

Помню, несколько лет тому назад судьба заперла меня на целых полгода в Ницце. Русских в этом городе – масса (что в значительной степени обуславливается близостью Монте-Карло с его рулеткою), и в этом множестве набралось человек с десяток знакомых, для которых поездки в Монте-Карло представлялись не с руки. В том числе были: два земских деятеля, один предводитель дворянства, один не помнящий родства экономист, один задыхающийся прокурор, один малокровный штабс-ротмистр, один «старый дипломат» (с совершенно голою, точно детской головой), два государственных младенца (последние шестеро с сохранением содержания) и я. Все мы без отдыха кашляли, пили микстуры, ели пилюли и претерпевали адскую скуку. Кругом – блеск и прозрачность; солнце так и горит; на темно-синем небе ни облачка; Средиземное море плещет; померанцы благоухают; пальмы, олеандры, лавровые деревья чаруют взоры... а мы сидим, кашляем и тоскуем. Нет у нас ни собственного дела, ни собственной жизни. Министерство Бюффе-Брольи падает, уступая министерству Бюффе-Дюфора, а нам все равно. Гамбетта произносит речь за речью, а у нас скулы болят от зевоты. Префект, мосье Декре, бал дает – нас не приглашает, и мы не печалимся этим, хотя понимаем, что, в качестве «знатных иностранцев», имеем право предъявить к мосье Декре претензию. Ни нам ни до кого дела нет, ни до нас никому дела нет. Живем, как жили бы у себя в Замоскворечье, и не понимаем, что тут такого, в этой «загранице», привлекательного. Разве вот услышим, что г. фон Дервиз столько-то десятков тысяч пожертвовал в пользу бедных города Ниццы и был по этому случаю почтен от мосье Декре визитом – ну, на минутку как будто оживимся, молвим: вот истинно русский патриот, который высоко держит знамя России! И затем – опять ничего. Даже родная Русь – и та представляется воображению, словно окутанная туманом, и ничем не напоминает о себе, кроме замоскворецкой скуки. Думали мы, думали, как тут поступить, и, наконец, один из государственных младенцев подал отличный совет.

– Придумал я, господа, прекраснейшее развлечение, – сказал он однажды, – именно: выберем какой-нибудь вопрос, образуем из себя комиссию для разработки его и будем поступать так точно, как бы мы поступали, заседа в заправской комиссии. Во-первых, это напомнит нам об интересах родной земли, а во-вторых, поможет скоротать время вполне на родной манер!

Мысль эта была всеми встречена с увлечением. «Чудесно! – думалось всем, – и старая скука от нас не уйдет, и новой скуки отведем, – все же, между двух сук, скорее время пройдет!» Оставалось, следовательно, найти «вопрос», который мог бы достойным образом занять наши досуги. Стали отыскивать. Экономист, разумеется, высказался, что всего приличнее было бы заняться обсуждением вопроса о лежащих втуне богатствах, но предложение это было встречено не только с недоверием, но даже почти с нетерпением.

– А ну их! – единогласно отозвались все.

Затем некоторое время, для приличия, поцеремонились, но наконец сознали ясно, что в среде русских культурных людей, даже под темно-синим небом Ниццы, даже ради «игры», не может быть никакой иной комиссии, кроме комиссии об искоренении.

– Об искоренении – чего? – как будто изумился экономист.

Но этот вопрос уже никого не застал врасплох.

– Там увидим! начнем дебатировать – оно само собой определится! – отвечали одни.

– Как – «об искоренении чего»? – просто-напросто удивились другие.

Вообще вопрос экономиста всем показался настолько беспочвенным, что даже сам формулировавший его сейчас же убедился в его неуместности и поспешил взять назад свое предложение, яко нарушающее общее душевное равновесие.

И вот, избрав своим председателем «старого дипломата», помощником его – предводителя дворянства, а секретарями – двух государственных младенцев, мы начали ежедневно собираться и дебатировать. Что, собственно, мы дебатировали – этого я теперь определить не могу. Может быть, позабыл, но может быть, и никогда не помнил. Помню только, что из наших дебатов что-то выходило, или, по крайней мере, выходило настолько, что, в течение четырех месяцев существования нашей комиссии, накопилось до десяти томов «Трудов».

Помаленьку да понемножку мы всё искоренили: и то, что служит начальству огорчением, и то, что приносит ему утешение. Искоренять так искоренять, особливо в Ницце, где никто, даже мосье Декре, не шепнет, что вот, дескать, явились какие-то одержимые, которые и то, что подрывает основы, истребляют, да и тому, что поддерживает оные, поблажки не дают. Но, обсудив внимательнее подлежащие искоренению предметы, мы все-таки пришли к заключению, что ничто не будет надлежащим образом искоренено, покуда не будет искоренена... литература. Каким образом мы пришли к этому заключению – я опять-таки объяснить не могу, но полагаю, что идея об искоренении литературы есть идея врожденная, от природы свойственная русскому культурному человеку. Какой вред наносила литература нам, «шлющимся» людям, собравшимся вкупе для «игры в комиссию», – это теперь для меня совсем непонятно. Но помню, что, когда я находился в самом сердце «дела», было и понятно и убедительно.

Однако ж в начале «игры», ощущая себя литератором, я затесался «налево» (левее меня сидел только прокурор, но тот уж был чистейшей воды монтаньяр) и довольно бодро и высоко держал знамя оппозиции. Помню даже, что однажды, когда малокровный штабс-ротмистр, споспешествуемый прокурором, предложил одну часть произведений литературы сжечь рукою палача, а другую потопить в реке, литераторов же водворить в уездный город Мезень (прокурор, вместо Мезени, допускал Варнавин – одною степенью меньше), то я не выдержал и произнес очень горячую и прочувствованную речь.

– Господа! – сказал я, – я понимаю, что вопрос об искоренении литературы не мог избежать предназначенной ему участи, но решительно не могу понять того ожесточения, с которым вы приступаете к его обсуждению. Что сделала наша литература столь преступного, что вы находите недостаточным простое ее искоренение, но предлагаете таковое с употреблением огня и меча? Чем заслужила она участие палача в имеющем постигнуть ее искоренении? Или оскудели городские? Или стрелы небесные и земные утратили свою силу и меткость? Нет, все идет своим чередом, городские стоят на своих местах, а небо, как и древле, сыплет на нас своими молниями!.. А мы, простые гуляющие русские люди, в платоническом исступлении раздираем на себе ризы! Почему?

Я знаю, вас возмутило то, что в полученном нами вчера номере газеты «Чего изволите?», вместе с сообщением о заседаниях нашей комиссии, нам дается благожелательный совет не проводить время в бесплодном наклеивании бумажек на картонные листы, но действительно искоренить всё, что искоренению подлежит («А что же не подлежит?» – с грустью спрашивает себя газета)... Я охотно допускаю вместе с вами: лучше бы, если б совета этого не было. Но, относясь к делу беспристрастно, все-таки нахожу, что тут еще нет большого худа. Во-первых, благодаря этому сообщению, на нас обращены взоры целой России, что даже весьма лестно; во-вторых, предметов, подлежащих искоренению, накопилось такое

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru множество, что поторопиться с этим делом – действительно не лишнее; в-третьих, ежели и допустить, что неприятно видеть, как какая-нибудь газета «сует свой нос», так ведь это неприятность не особенно важная и притом скоропреходящая. Раз «сунет нос», в другой «сунет нос», а в третий... яко исчезает дым... Да, именно так. Разве, кроме нас, не найдется благожелательных лиц, которые с последнею ясностью докажут газете, что «совать нос» не полагается? Разве сама газета, с врожденною ей готовностью, не поспешит усвоить себе эту точку зрения? Я сам литератор, господа...

При этом напоминании прокурор быстро взвился с своего кресла и, обращаясь к председателю, задышающим голосом прошипел:

– Прошу господина председателя напомнить защитнику, что здесь он должен забыть о своей прикосновенности к литературе...

Произнеся это, он закашлялся и проглотил пару дегтярных пилюль; председатель же с детским любопытством взглянул на меня, как бы выжидая, не извинюсь ли я. Разумеется, я поспешил исполнить его желание.

– Я уж давно забыл, – продолжал я, – и если это горькое воспоминание сорвалось с моего языка, то совсем не для того, чтобы оскорбить почтенных моих товарищей по комиссии, а для того единственно, чтобы собственным примером подкрепить сейчас высказанную мною мысль. Я по опыту знаю, господа, с какою готовностью наша литература усваивает точки зрения, указываемые ей благожелательными лицами. Я не всегда кашлял, не всегда страдал одышкой, милостивые государи! не всегда был калекой! Было время, когда и я был тем... ну, тем, об чем теперь позабыл! И, как сейчас помню, я даже любил, когда мне сообщали «точки зрения». «Так я, стало быть, заблуждался? – обыкновенно говорил я в этих случаях, – извольте, я это заблуждение в следующем же номере искуплю!» И искупал. Вот как легко и приятно это делается, а совсем не так, как представляют это дело люди радикальной партии, которые желают внушить, будто в это время в груди у литераторов...

На этом месте речь моя была снова прервана, потому что прокурор потребовал, чтоб меня призвали к порядку. Председатель несколько мгновений растерянно осматривался по сторонам, но наконец решился.

– Призываю вас к порядку, cher collègue! [20] – сказал он, – я делаю это с стесненным сердцем, но вы понимаете, что ежели господин прокурор сделает обо мне недостаточную аттестацию, то я...

– Понимаю, – отвечал я, – и с покорностью принимаю ваш призыв. Но позволю себе сказать несколько слов в свое оправдание. Упомянув о людях радикальной партии, я отнюдь не хотел этим названием оскорбить кого бы то ни было. Если б я употребил это выражение в смысле, например, Ледрю-Роллена – я понимаю, что этим мною была бы нанесена серьезная обида. Но я русский человек, господа, и очень хорошо знаю, об чем говорю. У нас радикалы своеобразные; у нас радикалами называются преимущественно те, которые особливую пользу приносят по части пресечения и предупреждения. Я лично знал одного подчаска, который говорил мне: ах, если б эти долгогривые знали, как я им тайне сочувствую! И действительно, он «сочувствовал», хотя это не мешало ему блюсти за своевременною сколкой льда в вверенном ему районе! Так вот об каких радикалах я упоминал. Затем возвращаюсь к предмету моей речи. Вы говорите, господа, что литературу следует предать огню и мечу, но прежде, нежели вы решитесь сделать зависящее по сему предмету распоряжение, позвольте вам напомнить, что литература, по общему сознанию, есть «украшение». Это не я говорю, это говорят все; это скажет даже каждый из вас, как только оставит стены этого помещения и очутится на Promenade des Anglais. [21]

Там, встретившись с мосье Карром [22] или с мосье Нерво, [23] вы непременно заведете речь о литературе, удивитесь богатству французской литературы и, вздохнув, присовокупите: «Счастлива та страна, в коей процветает литература». Почему вы скажете все это? – а потому, что каждый из вас с малых лет слышал и привык верить, что литература есть «украшение»! Каким же образом вы приступите к этому «украшению» с огнем и мечом! Не обольются ли кровью ваши сердца? не помутится ли в вас рассудок?

Я знаю, вы скажете мне, что это недоразумение, которое комиссия не имеет ни малейшей обязанности принимать в расчет. Соглашаюсь и с этим. Но недоразумение

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru это создано веками, господа, и, следовательно, если ныне и ощущается потребность разрушить его, то пускай же это разрушение произойдет постепенно, при помощи мер решительных, но не бросающихся в глаза, одним словом, пускай процесс искоренения совершится сам собою, так сказать, естественным путем. Забудьте об огне и шпигуйте потихоньку – и вы увидите, что газета «Чего изволите?», на которую вы так негодуете, сама поймет, что ей ничего другого не остается, как умереть...

Но этого мало. Я не могу скрыть от вас, что в том вековом недоразумении, которое утвердило за литературой название «украшения», очень сильное участие принимает и общий просветительный уровень страны. Чем просвещеннее страна, тем упорнее держится в ней мнение о том, что составляет истинное ее «украшение». Поэтому, даже при усвоении рекомендуемого мною метода постепенности, вам придется прибегнуть не к одному непосредственному шпигованию, но и заглянуть несколько вглубь. Я знаю, что вы очень высокого мнения о просвещении и, конечно, не захотите искоренить его (хотя, сколько мне помнится, потребные для сего материалы уже собраны и составляют пятый том «Трудов»), но урегулировать его все-таки не откажетесь. Подумайте, однако, какая это гигантская работа! и сколько пройдет времени, покуда вы не урегулируете просвещение до той степени, что даже самое представление о литературе изгладится из народного сознания! Затем мне остается сказать лишь немного слов в заключение. Но слова эти очень вески, и я чувствую всю тяжесть ответственности, которая падет на меня за них. Милостивые государи! вам, конечно, неизвестно выражение: *scripta manent*. [24] Я же, под личную за сие ответственность, присовокупляю: *semper manent, in saecula saeculorum!* [25] Да, господа, литература не умрет! не умрет во веки веков! А посему, как бы нам с нашей комиссией не осрамиться. Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз, одна литература вечно останется целою и непоколебленною. Одна литература изъята от законов тления, она одна не признает смерти. Несмотря ни на что, она вечно будет жить и в памятниках прошлого, и в памятниках настоящего, и в памятниках будущего. Не найдется такого момента в истории человечества, про который можно было бы с уверенностью сказать: вот момент, когда литература была упразднена. Не было таких моментов, нет и не будет. Ибо ничто так не соприкасается с идеей о вечности, ничто так не поясняет ее, как представление о литературе. Мы испытываем вечность, мы стараемся понять ее – и большею частью изнемогаем в наших попытках; но вспомним о литературе – и мы, хотя отчасти, откроем тайну вечности! Ах, господа, господа! Я очень хорошо понимаю, как все это прискорбно для нас, членов комиссии «об искоренении», и сердце мое сжимается болью, когда я произношу эти слова, но скрыть от вас эти соображения – выше сил моих! Будемте же мудры, милостивые государи! оставим мысль о мече и огне и удовольствуемся применением к литературе тех мер простого искоренения, которые вы находите достаточными, в видах устранения кражи земских и иных общественных сумм. *Dixi et animam Tevavi!* [26]

Я кончил, но ни одно рукоплескание не поощрило меня. Напротив, члены смотрели мрачно, и, как только умолк мой голос, все единогласно немедленно потребовали голосования без прений. Моего мнения, как ни на чем не основанного, даже не голосовали, а прямо занялись мнением штабс-ротмистра и прокурора. Мнение это было принято единогласно. Все десять шаров были положены направо, а, стало быть, в том числе и мой. И я помню, что я не только не удивился этому, но даже нашел весьма естественным.

Только спустя час, гуляя по *Promenade des Anglais*, я опомнился. Встретил легкомысленного фельетониста Нерво и рассказал ему, какое у нас убийство произошло и как я геройски при этом себя вел.

– Чем же решили? – спросил он меня.

– Ну, разумеется, предать огню и мечу!

– *Saperlotte!* [27] а вы?

– Ну, разумеется, и я вместе с другими...

– *Est-ce possible!* [28]

– *Mais que voulez vous que je fasse!* [29]

. . . .

После этого я, разумеется, никогда не играл в комиссии, но достаточно было одного сейчас описанного случая, чтоб оставить во мне неизгладимое впечатление. Зная по опыту, как естественно русский человек приходит к мысли о необходимости искоренения литературы, и зная в то же время, что ничто так близко не соприкасается с идеей о вечности, как представление о литературе, я не только сам лично стараюсь держаться в стороне от всяких комиссий, но и за родственников своих боюсь, если вижу, что они начинают задумываться о том, как бы подойти поближе к пирогу. Непременно он что-нибудь насчет литературы выдумывает! думается мне, – и выдумает! непременно выдумает!

Сознаюсь откровенно, что в эти опасения входит в значительной доле и личное чувство. Повторяю: я литератор действующий, я труженик, обязанный держать в руке перо ежеминутно, – и обремизить меня очень легко.

Поэтому тревога моя, по получении известия об участии Феденьки в трудах какой-то комиссии, очень понятна. Ужели он, ради фельдмаршальского жезла, и дядю родного не пощадит? с тоскою твердил я себе, предпослав этому восклицанию целое рассуждение об ослаблении родственных уз в наше непостоянное время.

Наконец я не вытерпел и самолично отправился к Феденьке. Но тут меня ждал новый удар: меня просто-напросто не допустили до него. Лакей без церемонии загородил мне вход в эдем и на все мои домогательства с твердостью отвечал, что его превосходительство (должно быть, по классу занимаемой должности) занят с Иваном Михайлычем...

Кто этот Иван Михайлыч? может быть, это какой-нибудь новый Бертрам...

Да, это Бертрам! Не будь Ивана Михайлыча, очень возможно, что дело и обошлось бы, но Иван Михайлыч...

Я возвращался от Феденьки домой и грустно напевал дуэт Бертрама и Рембо...

А что, если бы подыскать Алису?.. Фуй!..

Во всяком случае, я утратил надежду видаться с Феденькой... до первого апреля. Первого апреля, в праздник пасхи, он, наверное, заедет похристосоваться с своим старым дядей...

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ

Предчувствие не обмануло меня: в день пасхи Феденька явился-таки ко мне. Он уже покончил с визитами и приехал отдохнуть, но был, как и следует в такой великий праздник, во фраке. Разумеется, мы похристосовались.

– Хочешь, яйцо велю подать?

– Спасибо, дядя; вы вот на что лучше посмотрите, – ответил он, указывая на аннинский крест, висевший у него на шее. Крест был новый, большой и удивительно как изящно покоился (именно покоился!) на богатырской груди юноши.

Я приятно изумился. Отступил два шага назад, прищурился и развел руками в знак родственного умиления.

– Помимо святого Станислава! – продолжал между тем Феденька и прибавил: – Юлі?[30]

Час от часу не легче. От изумления пришлось перейти к гордости и вновь похристосоваться.

– Послушай, Théodore, – сказал я, – до сих пор я понимал, что можно утешаться родственниками, но теперь начинаю понимать, что можно и гордиться ими. Да!

– Спасибо, mon oncle!

– Да, я уверен, что ты пойдешь... далеко пойдешь, мой друг. Разумеется, однако ж, ежели бог спасет тебя от похищения казенных или общественных денег...

Но Феденька с таким неподдельным негодованием протестовал против самой мысли о

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
возможности подобного случая, что я вынужден был объясниться.

– Друг мой! – сказал я, – ежели я позволил себе формулировать опасение насчет растраты денег, то совсем не потому, чтобы надеялся, что ты непременно его выполнишь, а для того, чтобы предостережением моим еще более утвердить тебя на стезе добродетели. Мужайся, голубчик! ибо, по нынешнему слабому времени, надо обладать несомненным геройством, чтобы не стянуть плохо лежащего куша, особливо, ежели он большой. Но ежели ты, будучи аннинским кавалером, сверх того сознаешь себя и героем, то, разумеется, тем лучше для тебя! Поздравляю... герой!

По-видимому, это объяснение его тронуло, так что и он, в свою очередь, возгордился мной.

– Mon oncle! – сказал он, крепко сжимая мои руки, – я тоже... да, я горжусь вами... горжусь тем, что вы мой дядя! Ах, если бы вы...

Он остановился, не досказав своей мысли, и молча потупил голову. Однако ж я понял его.

– Если б я не был литератором, хотел ты сказать? – спросил я его.

– Да... нет... нет, не то! – оправдывался он. – И Державин был литератором, и Дмитриев... Ода «Бог» – *c'est sublime, il n'y a rien à dire!*[31] Ах, если бы вы...

– Оду «Бог» написал?... ну, ну... хорошо... успокойся! постараюсь!

Словом сказать, мы обнялись и опять похристосовались.

– А маменька знает об этом? – спросил я, указывая на крест.

– Знает. Сейчас получил от нее телеграмму из Парижа. Вот.

«Petersbourg. Znamenskaïa, 11.

Néougodoff.

Félicite chevalier. O Pâques, o sainte journée! Envoyez 4000 francs demain échéance; si non – Clichy. Nathalie».[32]

Сердце у меня так и екнуло. «Вот сейчас попросит денег!» – думалось мне. И вдруг:

– Дядя! нет ли у вас? – обратился он ко мне.

Вопрос этот ужасно меня смутил. Деньги у меня на ту пору были, но почему-то мне казалось, что они мне самому нужны. Нынче всем вообще деньги надобны, и вот почему столь многие крадут. Но и краденые деньги не бросают зря всякому просящему, а тоже говорят: самим нужны. Что же сказать о деньгах собственных, кровных? А сверх того, и еще: в кои-то веки сколотишь изрядный куш и думаешь: вот теперь-то я распоряжусь... И только что начнешь подносить ко рту кусок, как приходит некто и выхватывает его. Ужасно неприятно.

– Дядя! ведь Clichy! – как-то тоскливо пискнул Феденька, видя мое раздумье.

– Да ведь за долги, кажется, уж не сажают?

– Там – сажают, mon oncle.

– Ах, боже, какое варварство! Про русских говорят, что они – варвары, а между тем у нас... Да, мой друг, мы должны гордиться, что живем в стране благоустроенной, а не в какой-нибудь Макмагонии, которая не нынче – завтра превратится в Гамбеттию! Конечно, у нас нет многого, что у них есть, но зато и у них нет многого, что есть у нас. Христос воскрес! поцелуемся!

– Так вы дадите, дядя?

– А у тебя разве нет?

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Ни драхмы!

Неприятно в высшей степени. Я только что рассчитывал побаловаться летом. Вот, говорят, Егарев французенок каких-то необыкновенных законтраковал... И еще говорят: в Зоологическом саду женщину-великана показывать будут, которая у себя на груди целое блюдо с двадцатифунтовым ростбифом ставит, да так, шельма, и ест! Хорошо бы со всем этим подробнее ознакомиться, не в качестве зрителя, а, так сказать, не в пример другим... Но, с другой стороны, как же оставить и Nathalie? Что такое Nathalie? Nathalie – это сорокапятiletняя сахарная куколка, которая... И даже не «которая», а просто куколка – и все тут. Может ли «куколка» не тратить денег? – Нет, не может. Она тратит их не нарочно, тратит, потому что это в ее природе, как в природе у птицы – петь. Она тратит все время, куда находится в бодрственном состоянии, то есть начиная с той минуты, когда она совершила свой утренний туалет, и до той, когда облачится в свой ночной туалет. И все, что она ни видит перед собой, – все считает подлежащим завладению. Ежели глиняную свистульку увидит, и той овладеет; не попадайся на глаза! И ежели у нее нет денег, чтобы купить, она возьмет в долг. И нет той хитрости, которую бы она не пустила в ход, чтоб приобрести деньги или кредит. То назовет себя княгиней, то солжет, что у нее золотые прииски или рыбная ловля *là-bas, dans les steppes*. [33] Даже наклеветает на себя, не постыдится намекнуть, что у нее есть богатый любовник. А ежели и за всем тем не добудет ни наличных, ни кредита, то будет проводить время в желании тратить деньги, в желании делать долги. Хорошо, что природа устроила так, что и «куколкам» нужен сон, отдых, пища, а мода, в свою очередь, возложила на них обязанность одеваться и *causer avec les messieurs*. [34] Если бы этого не было, они и то время, которое нужно для сна и для одеванья, тоже употребляли бы на то, чтобы тратить. И еще хорошо, что природа лишь до известной степени одарила их глаза способностью разбегаться, потому что, в противном случае, они, наверное, потребовали бы разом весь *Magasin du Louvre*. [35] И если б им сказали, что это нельзя, таких, дескать, денег нет, то они с четверть часа были бы неутешны и затем отправились бы в магазин «*Au bon marché*». [36]

И такую-то «куколку» – в Клиши! за что? За то ли, что она выполняет свое провиденциальное назначение? За то ли, что у нее и *matan* [37] была куколка и воспитательницы – куколки, и подружки юности – куколки? За то ли, что и у покойного ее мужа штабс-ротмистра Неугодова, селезенка играла при одной мысли, что у него в доме будет... «куколка»?

Конечно, серьезно быть спутником жизни такой «куколки» должно быть несколько глуповато; но смотреть и млеть со стороны, или быть штабс-ротмистром и видеть, как она порхает, как все ее радует и все огорчает и как она при этом, сквозь слезки, лепечет: ах, я ведь совсем-совсем глупенькая! – воля ваша, это высокое эстетическое наслаждение! Нет, надо непременно послать Nathalie деньги, и даже как можно скорее, потому что она, пожалуй, ненарочно и фальшивых документов наделает. Разве она знает? разве она может что-нибудь взвесить, предвидеть, различить? Nathalie... *un coeur d'or*. [38]

– Деньги у меня готовы, – произнес я твердо.

– *Mon oncle! vous êtes un coeur d'or!* [39]

– Но с двумя условиями, – продолжал я, – во-первых, мы сегодня обедаем вместе...

– Ах, *mon oncle!* не только обедаем, но и весь вечер, весь день... сколько угодно!

– Во-вторых, мы сейчас же редактируем вместе телеграмму Наташе, разумеется, от твоего имени. Это необходимо выполнить как можно скорее. Nathalie – милая; но именно поэтому-то она и способна наделать глупостей.

Мы присели к столу и соединенными силами редактировали следующее:

««*Paris. Grand hôtel.*

Nathalie Néougodoff.

Pâques deux jours banques fermées. Après-demain aurez somme voulue. Venez Pétersbourg prison pour dettes abolie. Pouvez tout acheter sans payer.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Néougodoff»[40]

– Ты понимаешь, – сказал я, когда депеша была готова, – если ей не пообещать, что она может здесь покупать без денег, то она скажет себе: зачем же я туда поеду? Тогда как на этих условиях ей будет, наверное, лестно воротиться на родину.

Но Феденьку вся эта процедура, по-видимому, повергла в печальное настроение.

– Ах, тапан, тапан! – произнес он, грустно вздыхая.

– Что такое: тапан? Тапан как тапан! Не у одного тебя, и у других. Вон у твоего школьного товарища Самогитского, которого быстрой карьере ты, помнишь, как-то раз позавидовал, так у него тапан прямо на содержании живет, а он не только не грустит, но даже пользуется этим!

– Ах, дядя-голубчик! ведь вы не знаете... Монрепо-то наше уж продано!

– Как! Монрепо!

– Да, Монрепо... *Te sable*, то бишь, *les cendres de mon père!*[41] Продано, дядя, продано!

– Однако... вы шибко!

– Все продано, больше и продавать нечего, а она – то в Ницце, то в Париже!.. Поверите ли, однажды даже вдруг в Систове очутилась... зачем? И отовсюду шлет телеграммы: *argent envoyez!*[42] А где я возьму!! Вот и теперь: если б не ваша помощь – где бы мне эти четыре тысячи франков добыть!

Сердце мое вновь екнуло: плакали, стало быть, мои денежки! Однако ж я кое-как скрепился и произнес:

– Ничего, бог милостив! как-нибудь устроитесь!

– Нет, не устроимся... никогда мы не устроимся, *mon oncle!* Пробовал я ее урезонить и однажды даже совершенно искренно изложил всю неприглядность нашего матерьяльного положения – и вот какой ответ получил. Прочтите.

Феденька вынул из кармана бумажник, порылся в нем и подал мне сложенную вчетверо бумажку, развернув которую, я прочитал:

«Неблагодарный сын Феодор!

Оскорбительное твое письмо получила и заключающимися в оном неуместными наставлениями была глубоко возмущена. Но я – мать и знаю, что есть закон, который меня защитит. Закон сей велит детям почитать родителей и покоить оных, последним же дает право непочтительных детей заключать в смирительные и иные заведения. До сих пор я сим предоставленным правом не пользовалась, но ежели обстоятельства к оному меня вынудят, то поверь, что я сумею доказать, что и у меня нет недостатка в твердости души...

A toi de coeur Nathalie.[43]

P. S. Au nom du ciel envoyez au plus vite l'argent que je vous ai demandé.[44]

Письмо было писано посторонней рукой, но подпись и *postscriptum* несомненно принадлежали Наташе. И что всего замечательнее: подле ее имени виднелось размазанное пятно; очевидно, сюда капнула слезка. Стало быть, *Nathalie* в одно и то же время и скорбела, и понимала, что исполняет долг. Сердце ее сжималось, слезки капали, но она все-таки подписалась под письмом... потому что это был ее долг!

– Слушай! – воскликнул я в изумлении, – да откуда же она узнала о существовании смирительного дома?

– Стало быть, узнала.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– А что ты думаешь! ведь это у них, должно быть, врожденное, то есть у русских культурных маменек вообще. Я помню, покойница матушка – уж на что, кажется, любила меня, – а рассердится, бывало, – сейчас: я тебя в Суздаль-монастырь упеку! Тогда, друг мой, Суздаль-монастырь родителей утешал, а теперь, с смягчением нравов, смиренный дом явился. Как ты думаешь, что лучше?

– Ах, mon oncle!

– Я, с своей стороны, полагаю, что Суздаль-монастырь лучше, потому что, в сущности, это было нечто мифическое, скорее анекдот, нежели быль. Смиренный же дом, особенно при существовании суда милостивого и скорого, есть нечто конкретное, от чего уж не отвертишься, коли на то дело пошло! Гм... да... Но с которых же пор она сим и оным выучилась – так и сыплет!

– Не знаю... Вероятно, это письмо для нее Дроздов написал... Помните, у меня воспитатель был?

Феденька сказал это и вдруг весь заалелся.

– Длинный такой, точно пожарная кишка... помню, помню! Сколько раз он, бывало, пугал меня... Взойдешь невзначай в комнату, а он вдруг в углу взвывается, в знак приветствия, и сейчас же, совсем неожиданно, пополам переломится... Неужели же он...

– Он, mon oncle. Она его где-то под Телишем встретила – он туда с корпией от дамского кружка командирован был – и с тех пор по Европе возит. И всем рекомендует: «L'amî de feu mon mari...»[45] это Дроздов-то! Помните, как раз его покойный папенька нагайками отодрал... Он, mon oncle, он! Он, вероятно, и деньги у нее выманивает. Voici la vérité... triste vérité, mon oncle![46]

Феденька замолчал и отвернулся к окну.

– Ах, бедный мой! бедный! – невольно воскликнул я.

– Сколько вреда эти истории мне делают, если б вы знали! – продолжал он, не оборачиваясь ко мне, – наше милое, бедное Монрепо...

– Ну, как-нибудь... что тут! у тебя родных бездетных много – не тот, так другой; я, например, первый...

– Благодарю вас. Но теперь... Во-первых, теперь я ничего не имею... Les cendres de mon père![47] А во-вторых, разве вы думаете, что в наших «сферах» не знают обо всех этих скандалах?

– Ну, этого-то, положим, ты опасаться напрасно. Ведь ты вел себя во всех отношениях безукоризненно; ты и Рускину, и Ковалиху, и Большую Ель, и даже Монрепо – все продал полностью и все деньги к татап отослал. Что же касается до Дроздова, то это, мой друг, своего рода крест. И ты несешь свой крест, и не только не протестуешь, но даже деньги занимаешь. В сферах, о которых ты говоришь, это называется piété filiale.[48]

– Но она? ведь и об ней говорят!

– Она... что ж такое она! Она – куколка, а ты примерный сын! Вот и все. Куколка – это даже мило!

Наконец мне кое-как удалось-таки утешить его, особенно, когда я ему растолковал, что земли у бога много и что ежели он будет и впредь оправдывать доверие начальства, то, несомненно, со временем ухватит что-нибудь впусте лежащее, но совершенно достаточное для основания нового Монрепо.

– А что вы думаете, дядя! – воскликнул он весело, – вот Ворожбецкий-Петух, одного выпуска со мной, а уж успел ухватить полторы тысячи черноземцу!

– Ну, вот видишь ли! даже пример есть!

Обед прошел очень приятно. Не было ни ветчины, ни телятины, ничего такого, что напоминало бы о разогретости, о том, что обитатели дома сего, благодаря пасхе, осуждены целую неделю питаться ветчиной и телятиной. Я заметил, что Феденьку это

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru очень приятно поразило и самым благотворным образом повлияло на его душевное расположение. Благодаря этому я узнал от него два-три чрезвычайных анекдота, местом действия которых был салон некоторой девицы Домны Феклистовны Отбойниковой, которая год тому назад вышла замуж и ныне писалась на визитных карточках так: графиня Поликсена Кирилловна Dos Amigos, маркиза Flor di tobacco, Pour la Noblesse.

– А ты бываешь-таки в этом салоне?

– Разумеется, бываю.

– Ах, ах, мой друг!

– Mon oncle! Что-нибудь одно: или достигать и, стало быть, ездить к маркизе Pour la Noblesse, или не ездить к ней и оставаться всю жизнь столоначальником.

– Что правильно, то правильно. Это так.

– У нее – салон, в котором все бывают, tout Pétersbourg.[49] Она нынче все о событиях последней войны рассуждает. Говорит, например, что берлинский трактат ее не удовлетворил.

– Ах, пакостница!

– Генералами тоже не всеми довольна: зачем не взяли Константинополя? И по вопросу о проливах, говорит, настоящего решения не добились.

– И ты все это выслушиваешь?

– Ее нельзя не слушать, mon oncle. Через нее мой товарищ Крушинцев чуть места не потерял.

– Как так?

– Да вот как. Как начались эти толки о проливах, слушает она: все Дарданелл да Дарданелл. Вот она отозвала Крушинцева в сторонку и спрашивает: скажите, кто этот Дарданелл? А он и пошутит: преступник, говорит, государственный; Россия выдачи его требует, а Турция, по наущению Англии, не выдает. На следующем же рауте она, разумеется, и щегольнула: да скоро ли же, говорит, нам этого господина Дарданелла выдадут? Ну, картина... Так Крушинцев после того две недели сряду у нее ручки целовал!

– Простила?

– Простила, потому что в это время он с ней всю географию прошел.

– Ах, пакостница!

– Не говорите так, mon oncle; она теперь как есть «дама». Одно только: вместо «шоколада», по старой привычке, «щикалат» говорит. И все находят, что это очень оригинально.

– Помнишь, у Лермонтова:

Ем мармалад,

Пью щиколат...

– Вот именно. И около нее чуть не целый штаб. И архистратиг отставной есть, и «старый дипломат», и даже публицист. Этот едва ли даже не главный. Бельом, во всю щеку румянец, штаны по последней моде сшиты, а сам отчасти телом, отчасти консервативными убеждениями промышляет. А она сидит между ними и вдохновляет.

– Ну, а самого графа Dos Amigos ты когда-нибудь на этих раутах видал?

– Нет, он в командировке постоянно. Во время войны в Плоештах ресторан содержал (она туда с каким-то жидом-подрядчиком приехала, там его и обрела), а теперь, слышно, в Египет к хедиву отправился. Одни говорят, в качестве chef de

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru cuisine, [50] другие – министром финансов. И даже будто бы при поддержке Англии.

– Однако, брат, это вроде феерии что-то.

– Нынче и всё феерии, *mon opcle*. У нас в курсе некто Харченков был, никак не мог именованных чисел понять, а теперь, где плохо лежит – он уж и тут. Так раскидывает умом, что чудо!

– Неужто тебя эти иллюстрации не тревожат?

– А что ж мне? Я и с ним... Пообедаю, выпью – ничего! Он вино прямо от Шато-Лафита выписывает; так и говорит: у меня, брат, с самим Шато-Лафитом условие... Он, как прослышит, что у Егарева в Демидрошке примёры появились – сейчас туда: мадам, вуле-ву сто рублей?... ну, двести?... айда! А кроме того, у него и круг знакомства обширный, всех там встретишь. Ешь, пьешь, а между прочим и связи завязываешь.

– Слушай! да ты не врешь ли?

– Не верите? не хотите ли, я вас свезу к нему? Не с визитом, а прямо обедать. Он будет рад, скажет: аншанте. [51] А когда вы будете уходить, он и напередки пригласит: вене, [52] когда вздумается; запросто, ан сюрту. [53] Право, хотите свезу?

– Нет, что уж! стар я, да и скучно ведь шататься по постоялым дворам.

– Право, не скучно. А впрочем, мне вообще нигде не скучно; даже в заседаниях благотворительных обществ, и там я интересное нахожу.

– Это где дамочки-то?

– Разумеется; кто же бы меня без дамочек туда заманил!

– А не бывает там Дарданеллов?

– Буквально – нет, но вроде того. Впрочем, откровенно вам скажу, я в этом отношении реалист; на Дарданеллы не обращаю внимания, а больше принимаю в расчет телеса. Руководствуюсь этим, и дамочек разделяю на два разряда: на хорошеньких и не-хорошеньких. С «хорошенькими», если даже они и не вполне чисто географию знают, мне весело; а с «не-хорошенькими» – скучно, хотя бы они самого Ксенофонта в подлиннике прочитали. И нынче все мы таковы, вся порядочная молодежь. Конечно, и между нами найдутся такие, которые будут утверждать, что им умные разговоры нужны, да это больше для шику. У дамочек личико, грудка, ножки, ручки – вот главное! Без разговоров!

– погоди! женишься, так и разговора запросишь!

– Я, дядя, не женюсь. Я знаю, что вместе жить без разговора нельзя, но знаю также, что разговор выйдет непременно неудачный. Стало быть, не для чего и пробовать. При том же я умные-то разговоры эти знаю.

– Случалось?

– Знаю. Однажды меня *madame* Голумбецкая (вот, дядя, дамочка-то – пальчики оближете!) пригласила: приезжайте, говорит, в четверг вечером, у нас один знаменитый серб об турецких неистовствах рассказывать будет. Приехал. В гостиной серьезно, тихо, чинно; сидит братушка на диване и рассказывает; слышится: на кол, на кол, на кол; *les messieurs* [54] слушают и зевают в руку; дамочки стараются смотреть на чтеца и думают: да когда же наконец «кувырком» будет? и вот в эти-то торжественные, но унылые минуты я и покорию сердце *madame*... ну, все равно, чье бы там ни было.

– Bravo, Федя! Но возвратимся к вопросу о женитьбе. Если б, например, с капиталцем барышня нашлась... ну, полмиллиона, миллион?..

– Как вам сказать? кажется, что и на такой не женюсь. Потому что ведь с этими капиталистками одно что-нибудь: либо через несколько месяцев от миллиона ни пера не останется, либо к миллиону начнут другой прикапывать, и тогда пойдут дразги, учеты, подозрения, утаивание денег у самих себя... фуй! Мне, *mon opcle*, нужно

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru карьеру сделать, и разве уж тогда, когда все как следует обозначится... ну, тогда – быть может...

– Федя! знаешь ли ты, что чем больше я тебя слушаю, тем больше удивляюсь: откуда у тебя такая ума палата?

– Да, *mon oncle*, несмотря на мои двадцать четыре года, я знаю женщин и могу сказать это с уверенностью. Женщина – это изумительное создание! Она неоцененна – как пирожное, но как *pièce de résistance*[55] – совсем не годится. Чувствовать себя навсегда связанным с женщиной – это одно из величайших жизненных неудобств. Ежели она зла – то злостью убьет, ежели добра – добротой убьет. Ежели она невежественна – отравит жизнь наивностями; ежели начитанна и нечто знает – доймет умными разговорами. Поэтому жениться следует только в такие лета, когда ни злость, ни доброта, ни невежественность, ни начитанность – ничто уж не действует.

– Феденька! друг мой! сейчас я сказал, что ты умен, а теперь прибавлю, что ты даже больше, нежели умен: ты, так сказать, вредоносно умен! Вдомек ли тебе, что ты просто-напросто всякое общежитие упраздняешь? Да. Ведь, по-твоему, счастливо можно прожить только так: с одним пообедать, с другим выпить, с третьим об имеющемся в виду местечке побеседовать, а с дамочками – сквернословить и срывать цветы наслаждения. И нигде нет приюта, и везде приют есть – вот, по-твоему, как! Удобнее этого, право, никакая интернационалка не выдумает! Исполать тебе, друг мой! Это именно самая современная, самая подходящая жизненная программа, и с нею ты наверно преуспеешь. Нынче ищут таких опричников, которые освободили себя от всех обязательств общежития; ими дорожат, им одним веру дают. И ежели ты применишь свою программу к более обширным сферам деятельности, то успеху твоему конца-краю не будет. Дерзай, голубчик, дерзай! Феденька взглянул на меня и, по-видимому, изумился.

– Кажется, я вас огорчил, *mon oncle*? – спросил он не то сконфуженно, не то иронически.

– Нимало, голубчик! Конечно, твоя программа не симпатична мне. Я не понимаю трактирной жизни и не люблю случайных знакомств, но ведь это во мне застарелое, непригодное, так сказать – дворянско-ипохондрическое. Я знаю, что я человек отсталый и что мои симпатии или антипатии для тебя не могут быть обязательными. Ты – *homo novus*, [56] и кодекс у тебя новый. А так как это кодекс действующий и без него можно только прятаться от жизни – вот как я, – а не преуспевать в ней, то ты, разумеется, поступаешь вполне целесообразно, посещая рауты маркизы *Paula Noblesse* и пользуясь гостеприимством господина Харченкова. Кстати: ты давеча об хедиве египетском говорил – тебе никогда не приходило на мысль предложить ему свои услуги?

– Какой странный вопрос, *mon oncle*?

– Вопрос самый интернациональный и, следовательно, самый подходящий. Переходя из трактира в трактир, почему же не зайти и к хедиву перехватить? Впрочем, я очень рад, что ты нашел мой вопрос странным. Не езди туда, Федя! У нас свой пирог обширный – всем место найдется. *La patrie – avant tout.* [57] И еще: *à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!*.. [58] помнишь? Орудуй дома, не езди ни к хедиву, ни к Дон-Карлосу, ни к Наполеоновой вдове. Христос воскрес! поцелуемся!

Обед кончился, мы поцеловались и, обнявшись, направились в кабинет.

Я помнил, однако ж, что желал видеть у себя Феденьку совсем не для того, чтоб пожертвовать в пользу господина Дроздова четыремя тысячами франков и чтобы выслушать два-три сомнительного свойства анекдота. Во-первых, я хотел знать, как Феденька полагает поступить с Россией в случае производства его в генеральский чин, и буде намерения его окажутся слишком жестокими, то по-родственному предостеречь; во-вторых, меня ужасно интриговало: что такое за комиссия, в которой он до того зарылся с каким-то загадочным Иваном Михайлычем, что даже для меня, своего дяди, дверь запер?

Повторяю: я литератор, и потому боюсь. Мысль, что всякая комиссия имеет в предмете непременно литературу и что все остальное, значащееся в заголовке, служит лишь для украшения этого заголовка, но, в сущности, представляет лишь

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru повод для литературной критики, – эта мысль совсем не произвольная, но именно каждому литератору свойственная. Мне скажут, что каждая комиссия производит свой плод, осуществляемый в «Трудах» – вот, мол, и переплетенные томы «Трудов» налицо! полюбуйте! – но и это не разуверит меня. Мне кажется, что эти «Труды» суть не более, как результат усердного наклеивания газетных и других вырезок на картоны, а что настоящую, живую работу комиссии следует искать совсем не тут, а в тех дружеских и, по-видимому, побочных беседах, которые одни и приносят практический плод. Это – беседы случайные, бессистемные, но литература наша так болезненно чутка, что, как только запахнет в воздухе подобными беседами, она как-то сама собой сожмется и вдруг из просто-езоповского тона переходит в сугубо-езоповский. И ежели вы при этом замечаете, что московские кликуши начинают выкликать всем голосом, а петербургские трудолюбцы выступают на сцену с иносказаниями и оправданиями, то это, наверное, означает, что где-нибудь кто-нибудь как-нибудь выразился...

– В какой это ты комиссии целых три месяца так усердно работал, что и доступу к тебе не было? – спросил я.

– Я занимался в последнее время в трех комиссиях, – ответил Федя, – но одна из них бездействует, за невозможностью изъяснить, в чем заключается предмет, подлежащий ее разработке; другая тоже бездействует, за недоставлением от одного из корреспондентов сведений, что разумел он, говоря, что «со времени крестьянской эмансипации отечественное земледелие вступило в знак Рака»; и, наконец, в третьей – идет теперь усиленная работа.

– А в чем же задача этой третьей комиссии?

– По первоначальному плану она должна была разрешить вопрос о мерах, которые необходимо принять на случай могущего быть светопрествления; но, с развитием работ комиссии, последовали такие неожиданные осложнения, что в настоящее время трудно даже определить, к каким разветвлениям мы можем прийти и которое из них окажется более существенным, чтобы сообщить нашим трудам окончательное направление.

– Но ведь в таком случае возможно, что и эту комиссию постигнет та же участь, как и первую?

– Нет, *mon opcle*, этого не будет. Мы слишком проникнуты важностью предстоящих нам задач, чтобы допустить малейшую остановку в наших изысканиях.

– А ну-ка, признавайся: наверное, и об литературе идет речь?

– В настоящую минуту могу сказать вам только одно: решено предложить господину Майкову написать, на случай светопрествления, гимн.

– Нет, я не об этом. Я об литературе... как с ней предполагается поступить?

Однако ж Феденька, очевидно, почувствовал себя неловко при этом вопросе. Он слегка заалелся, замялся и, наконец, ответил:

– Извините меня, дядя, но при настоящем положении работ комиссии я не могу ответить на ваш вопрос.

– Стало быть, что-нибудь да есть?

– И на это ничего не могу вам сообщить.

– Знаешь ли, однако, что твоя таинственность просто непристойна. Стряпаешь ты там втихомолку что-то с каким-то Иваном Михайлычем... Меня-то помилуешь ли?

– *Mon opcle!*

– Да ты хоть обиняком намекни, что такое ты стряпаешь! Ну, лишить, мол... Я и пойму!

– Вот видите ли, действительно... Но нет, клянусь вам, голубчик дядя, не могу!

– Следовательно, я так и не узнаю?

– Вот что, mon opcle. Через две недели будет доклад, и тогда наши члены, наверное, разболтают... В то время я явлюсь к вам и охотно сообщу все, что вы пожелаете.

На этом разговор пресекся. Я в несколько приемов пытался изложить мои мысли насчет значения литературы в жизненном процессе страны, а равно и о том, какие вредные последствия может оказать жестокое обращение с нею, но Феденька каждый раз останавливал меня восклицанием:

– После, mon opcle, после! Две-три недели – право, это недолго! – Очевидно, он опасался, чтоб я не развратил его.

.

И, таким образом, день кончился для меня неудачею.

ПЕРВОЕ МАЯ

Апрель был ужасен. Это был месяц какой-то неизобразимой паники. Все вдруг замутилось, заметалось, не верило ни ушам, ни глазам. И сквозь всю эту смуту явственно проходила одна-струя: homo homini lupus.[59] Говорилось, выкрикивалось и даже печаталось нечто невероятное, неслыханное. Мало было оцепенения, в которое погрузилось общество; нашлись охочие люди, которые припомнили свои личные счета и спешили дисконтировать их в форме извещений и угроз. Почва колебалась под ногами; завтрашний день представлялся загадкой; исчезало всякое мерило как для оценки собственных поступков, так и для оценки поступков других лиц; становилось невозможным или, по крайней мере, рискованным презирать заведомо зазорных людей. Казалось, нет уголка, в котором назойливо, не переставая, на все тоны, не звучала одна – везде одна и та же – мысль: что будет дальше? Эта бесплодная, без содержания, мысль задерживала всякую деятельность, забивала ум, чувство, волю и вызывала наружу худшие инстинкты человека, от малодушия до вероломства включительно. Люди слабодушные отыскивали на дне совести что-нибудь постыдное и держались за это постыдное, как за якорь спасения. И, в довершение всего, московские кликуши, от внутреннего ликования, словно сбесились.

В последние двадцать, двадцать пять лет чувство человечности сделало несомненные успехи в обществе – это факт, который оспорить нельзя. Может быть, оно не имеет крупных и высокоталантливых выразителей, как в сороковых годах, но оно разлилось в массу общества, обмирщилось, сделалось как бы естественной подкладкой общественных порываний и отношений. Забылось или почти забылось крепостное право (внешние его формы даже восстановить делается с каждым годом труднее и труднее), стали забываться келейный суд и патриархально-кулачная полицейская расправа, начали проявляться попытки самодеятельности; одним словом, период одичания казался близким к концу. И вдруг это самое чувство человечности, о котором думалось, что оно сделалось уже лозунгом жизни, является преступлением. Не человечность нужна, а ненависть! оскаливая зубы, печатно вопиют доктринеры бараньего рога и ежовых рукавиц... Какое время!

Само собой разумеется, что среди этой суматохи я всего менее мог рассчитывать на свидание с Феденькой. Правда, что я не раз видел, как он мелькал в наемной коляске по Невскому, но лицо его смотрело так озабоченно, что, конечно, я и претендовать не мог, чтоб он заметил меня. Однако ж однажды как-то случайно он остановил на мне свой взор, и в то же время, как я посылал ему навстречу воздушный поцелуй, он поднял правую руку и показал мне все пять перстов. Тогда я не выдержал и махнул ему, чтоб остановился.

– Кроме прежних трех, еще в пяти! – воскликнул он с торжеством, когда я подошел к экипажу.

Конечно, я недоумевал.

– В пяти... комиссиях! – пояснил он и при этом указал рукой на горло – вот, дескать, где оно у меня сидит!

– А когда же ко мне?

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Не могу и даже не предвижу. И дома почти не бываю. Одним словом – вот!

Он опять указал на горло и вдруг совсем неожиданно выпалил:

– А литература–то ваша... какова! а?

И с этими словами исчез, словно провалился сквозь землю.

Целых две недели после этой встречи я мучился. Сам по себе Феденька, конечно, не бог знает какая птица, но он – эхо, он – *rique assiette*[60] внутренней политики; это несомненно. Что такое он сказал? кажется, про литературу упомянул... да! Что такое случилось! от кого, от кого он слышал? Ужели приспособляется какая-нибудь связь, что-нибудь солидарное, общее?

Я вспомнил «разбойников печати» и «мошенников пера», вспомнил не потому, чтобы эти выражения, в минуту их появления, произвели на меня впечатление, а потому, что все кругом располагало к подобным воспоминаниям. В свое время эти потуги заклеить живые силы русской литературы каким-нибудь, хоть заведомо клеветническим, но хлестким словом, казались мне просто бессильными и ничтожными, но теперь, в эти тяжелые минуты, выросли и они.

Я понимаю, впрочем, что успех, полученный некогда изобретением «нигилизма» (римский папа – и тот прельстился этим словом и в одной из энциклик, в числе прочих отщепенцев римской церкви, поименовал и «нигилистов»), не дает спать нашим этимологам – блюстителям литературной невинности. Хочется и им нечто свое придумать. Что-нибудь усугубляющее, такое, что умерщвляло бы мгновенно, без объяснений, что всюду распространяло бы ненависть и подозрение, и только их одних, злопыхательных этимологов, утешало и угобжало. Хочется... и ничего не выходит. Почему не выходит? А потому, милостивые государи, что у вас в запасе есть только бесконечная злоба, а нет ни понимания требований публики, к которой вы обращаетесь, ни талантливости в деле изобретения выдумок.

«Нигилизм» был своего рода откровением. Во-первых, эта кличка привлекала все сердца своей краткостью, а во-вторых, она дала возможность людям толпы сваливать в одну кучу всё лично для них неприятное, тревожащее, несоответствующее их личному темпераменту и т. д. Видя попытки критически отнестись к действительности, эти люди пугались, сомнительно покачивали головами и не знали, примкнуть ли им или попробовать отразить. И вот, в эти минуты сомнения, когда уж чуть было они не решились «примкнуть», явился на выручку «нигилизм». И коротко, и даже почти ясно. «Nihil» – ведь это, кажется, «ничто»? – ну, так и есть! Возьми «ничто», посеи на нем «ничто», – конечно, выйдет «ничто». Прекрасно... вот это прекрасно! С тех пор эти господа успокоились и на всякий более или менее тревожного свойства запрос отвечали заранее намеченным решением: э, батюшка, это всё нигилизм!

Словом сказать, «нигилизм» – это то же самое, что некогда и столь же удачно клеймилось кличками: «фармазон» и «волтерианец». Мы, потомки, конечно, смеемся над этими кличками, но очень может статься, что современники чувствовали себя не особенно ловко, когда обращались, *ad hominem*: [61] а ну-тка, имярек фармазон! ответствуй!

Сравните с этими не вполне осмысленными, но все-таки хлесткими (талантливость, впрочем, ничего другого и дать не может) кличками каких-нибудь «разбойников пера» или «мошенников печати» – какая неизмеримая разница! И длинно, и неуклюже, и вяло, и, что важнее всего, не отвечает никакой потребности. Никому не надобны эти выражения, никто не понимает, для чего они явились, и, стало быть, никто не будет их и употреблять. Ни римский папа не украсит ими будущих энциклик, ни иностранная печать не упомянет о возникновении в России новой вредной секты под названием «*les razboïniki petchati*». [62] Ни консерваторы, ни профессора, ни предводители дворянства, ни столоначальники – никто. Разве что вот особый случай какой-нибудь выйдет...

«Случай» – вот это так. Обильна, ах, как обильна сделалась за последнее время русская жизнь этими «случаями»! И всё как-то литературу они задевают. Идет себе литература обычным скромным ходом, убежденная, что для всякого ясно, что процесс литературного мышления представляет некоторые особенности, отличные от процесса мышления канцелярского служащего, а из-за угла ее стережет «случай». Она наивно думает, что ничто человеческое ей не чуждо, что все явления вещественного и

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru духовного мира обязательно подлежат ее исследованию – и вдруг врывается нечто непредвиденное и с злобной иронией шипит: я именно и есть тот самый «случай»... Наконец, она позволяет себе мечтать, что даже ошибки и заблуждения не могут быть, без явной несправедливости, вменяемы ей в вину, потому что они представляют собой составную часть ее изысканий – как бы не так! приходит «случай» и изрекает: блуждать и заблуждаться не разрешается...

Так вот в такие-то минуты, когда человек стоит лицом к лицу с «случаем», и припоминаются все эти «разбойники печати» и «мошенники пера». И при воспоминаниях этих становится жутко, потому что приходится убедиться, что действительно в печати существуют и разбойники, и мошенники, и клеветники и что, стало быть, литература – не совсем тот храм, при виде которого бьются чистые и честные сердца и без которого мир был бы постыл и бесславен...

. . . .

Феденька явился ко мне совсем неожиданно – первого мая. Он воспользовался тем, что в этот день комиссии отправились гулять в Екатеринбург, и вспомнил обо мне.

– Вот и я! – весело сказал он, входя ко мне в кабинет, – но предупреждаю вас, дядя, что теперь, больше чем когда-нибудь, скромность для меня обязательна.

– Гм... стало быть...

– Да; но я думаю, что найдется, однако ж, почва, на которой мы оба будем чувствовать себя одинаково удобно. Это почва общих вопросов – не так ли, топ оnсle?

– Изволь, мой друг. Мы будем ставить вопросы, станем обсуждать их независимо от условий времени и места, и затем...

– Затем, если вы найдете нужным вывести интересующие вас критические заключения, то, ввиду высказанных общих соображений, это не представит для вас особенного труда и не прибегая к моему содействию.

В эту минуту Феденька был очень хорош. Придумавши эту комбинацию, он, я уверен, мнил себя Талейраном, которому ничего не будет стоить и вопрос о проливах разрешить, а ежели потребуется, то и туркину жизнь навсегда прекратить.

– Итак, прежде всего поставим вопрос о литературе, – начал я, – как, по твоему мнению, украшает она или не украшает?

– Гм... это смотря по тому...

– Стало быть, ты сомневаешься. Или, собственно говоря, тебе очень хотелось бы ответить: «нет, не украшает», но совестно. Не потому совестно, что ты припоминаешь басню «Сочинитель и Разбойник», которая самым существованием своим доказывает, что заслуг литературы оспорить нельзя, а просто потому, что, отрицая литературу, тебе носу никуда показать будет нельзя. Даже дамочки отвернутся от тебя, ибо и они понимают, что неприлично и скучно по целым часам только жестикулировать, но надо по временам и поговорить. И поговорить не об лишении прав состояния, а об Дюма-фисе, о Белло, о Монтепене, то есть все-таки об литературе. Вот почему ты заикаешься и говоришь: смотря по тому... Я же говорю, не заикаясь и без оговорок: да, литература украшает. Она украшает, потому что служит воплощением всех духовных сил страны, и ежели ее нет, то это значит, что духовные силы находятся в отсутствии или лежат глубоко под спудом. Общество, не имеющее литературы, не сознает себя обществом, а только беспорядочным сбродом индивидуумов; страна, лишенная литературы, стоит вне общей мировой связи и привлекает любопытство лишь в качестве диковины; об государстве и говорить нечего: оно немыслимо без литературы уже по тому одному, что самым происхождением своим обязано литературе. Вот у вотяков нет ни письмен, ни сказаний, ни даже песен, есть только предание, что была когда-то какая-то книга, да ее корова съела, но именно потому-то в этом племени так мало устойчивости, что недалеко время, когда оно и само, быть может, сделается преданием. Каким же образом общество, страна, государство могут призывать к своему суду литературу, когда они всем ей обязаны, кругом ею облагодетельствованы?

– Но ведь никто и не отрицает, топ оnсle, что литература одна из необходимых

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
функций общественного и государственного организма...

– Не «одна из функций», а главная и единая, заключающая в себе неоскудевающий источник жизни. Все, что ты ни видишь кругом, все, чем ты пользуешься, – все это дала тебе литература. Квартира, в которой ты живешь, пиджак, который надет на твоих плечах, чай, который ты сию минуту пьешь, булка, которую ты ешь, – все, все идет оттуда. Если б не было литературы, этого единственного сборного пункта, в котором мысль человеческая может оставить прочный след, ты ходил бы теперь на четвереньках, обросший шерстью, лакал бы болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами. Но предположим, что это история давнишняя, проследить которую трудно; но даже и помимо будничных удобств, принимаемых бессознательно, просто как совершившийся факт, – даже помимо их, все удобства, наслаждения и утешения высшего разряда, все, чего требует пытливость ума, развитость вкуса, чуткость чувства, – все это опять-таки идет оттуда, а не из циркуляров и предписаний, как бы последние ни были в своей сфере полезны. Все знания, которыми ты обладаешь, даны тебе литературой; все понятия, суждения, правила, все, чем ты руководишься в жизни, все выработано ею. Даже понятие о неблагонамеренности литературы – и то ты почерпал из нее, а никак не додумался бы до него непосредственно, потому что, повторяю, без литературы ты ходил бы на четвереньках и лакал бы болотную воду. Как это ни странно покажется для тебя, но без литературы не существовало бы ни живописи, ни музыки, ни искусств вообще, потому что она все разложила, и свет, и звук, и она же все сочетала. Не будь того светоча, который она всюду приносит с собой, и звуки, и краски, и линии – все было бы смешение, хаос. Даже техника искусств – и та обязана тою или другою степенью своего совершенства посредничеству литературы, потому что искусство, само по себе, немо и разъединено, одна литература имеет привилегию «гласить во все концы», она одна имеет дар всех соединять под сению своею, всем давать возможность вкусить от сладостей общения.

Я остановился, потому что Феденька смотрел на меня во все глаза и как-то блаженно улыбался.

– Ah! mon oncle! – воскликнул он, – vous avez un style...[63] клянусь, я заслушался!

Замечание это слегка смутило меня – в самом деле, я, кажется, чересчур что-то распелся! – но так как речь была уж заведена, то прерывать ее я уже не считал полезным.

– Ну, какой есть, не взыщи! – сказал я, – и будем продолжать. Стало быть, опера, которую ты наслаждаешься, картина, которую ты с восхищением созерцаешь, – всё это дала тебе литература. Мало того: она дала тебе возможность различать добро от зла, она выработала для тебя условия общения, научила тебя распознавать, что у тебя есть отечество. Кто поведает тебе:

И дым отечества нам сладок и приятен...

Откуда ты узнал:

О Росс! о род непобедимый!

О твердокаменная грудь!

Всё оттуда же, из этой постылой литературы, которая всякую потребность предусмотрела и на всякую ответ дала. Всё там сказано, всё запечатлено навсегда, дабы снять покровы с твоей умственной дремоты и дать тебе возможность умилиться духом и обратиться к своей совести! О, Федя! ужели всего этого мало, чтобы заслужить вечную признательность, вечное удивление и устранить всякую мысль о жестоком обращении?

– Но разве кто-нибудь спорит...

– Позволь. Но и этого всего мало. Снисходя к твоей слабости, литература допустила для тебя возможность находить удовольствие в обществе «дамочки», кокотки и т. д. Эту кокотку – кто тебе преподнес? эту «дамочку» – кто тебе сформировал? Кто воззвал от ничтожества Дюма-фиса, Белло, Монтепена? Кто сказал им, указывая на тебя: вот малый, который без «дамочки» не будет знать, как с собой поступить, – имейте это в виду на предмет зависящего с вашей стороны распоряжения? Предположим, что это услуга не особенно ценная, но, не будь ее, ты бегал бы за какой-нибудь хавроньей, и те пакости, которые ты теперь объясняешь таким изящным французским языком, ты выражал бы простым хрюканьем. Ужели и это не заслуживает твоей признательности?

– Mon opcle! вы очень удачно соединили в один фокус те услуги (последнюю я, конечно, принимаю как шутку), которые оказывала и продолжает оказывать литература обществу. Но вы упустили из вида одно обстоятельство, которое, с точки зрения государственности, имеет, однако ж, несомненно важное значение. Вы не упомянули о заблуждениях. Найдете ли вы возможность утверждать, что литература – не всегда, конечно, но очень, очень-таки нередко – не служит проводником заблуждений в обществе?

– На это, прежде всего, повторю тебе, что литература имеет право допускать заблуждения, потому что она же сама и поправляет их. Но, кроме того, она и потому не может относиться к заблуждениям с желаемой щепетильностью, что они, так сказать, составляют подготовительный процесс той работы, в результате которой оказывается истина. Истина – не клад, случайно находимый в поле, и не болид, падающий с неба совсем готовым; она дается ищущему ценою величайших жертв и усилий, ценою заблуждений. Кто не искал истины, тот, конечно, не заблуждался. История всех величайших открытий и изобретений засвидетельствует это. Ты скажешь, быть может, что никто и не протестует против заблуждений, в результате которых явились: типографский станок, железная дорога, сила пара и т. д., а протестуют, дескать, против заблуждений из мира мечтательного, идеального, бесплодно волнующих общество и не приносящих никаких осязательных улучшений. Но первая половина этого возражения положительно несправедлива: ни одно великое открытие не явилось в мир без протеста, без насмешек, без злорадства. Что же касается до заблуждений второго рода, то ты имел бы основание тогда только указывать на них, если б была какая-нибудь возможность дверь в область идеальных интересов представить себе запертою. Но природа сама держит ее открытою, сама внушает человеку одинаковую склонность как к матерьяльным, так и к духовным интересам – следовательно, может ли литература, без насилия, без бунта, разгородить эти две области? Да ведь и тут, в этом идеальном мире, не все же бесплодие, не все же брожение и смута; бывают и такие осязательные результаты, которые на целые века дают истории человечества другой характер. Вот, например, ты охотно признаешь современные формы общежития, стоишь за них горой и вообще не нахвалишься ими, но разве они не считались в свое время заблуждениями? разве ты был бы коллежским советником на заре твоей жизни, если бы не существовало до тебя людей, которые, ценою горчайших испытаний, очистили путь для табели о рангах? Ах, друг мой, друг мой! трудно ведь жить без интересов идеального мира, так трудно, что, за недостатком настоящего света, человек хоть сальную свечку засветит и поставит перед собой!

– Ах, дядя, вы не поняли меня, я совсем не о том! Если б заблуждения, о которых вы говорите, оставались в недрах литературы – à la bonne heure![64] Но ведь они из литературы переходят в общество, волнуют его, порождают несвоевременные и неуместные требования – вот в чем опасность! Никто, конечно, не думает о насильственном прекращении вопросов идеального мира; настаивают только на постепенной и своевременной постановке их.

– Ну, и пускай настаивают; но не на литературу же, во всяком случае, следует возлагать полицейский надзор за теми последствиями, которые могут иметь добываемые ею выводы. Литература преследует задачи, которые она считает себя вправе признавать своими, и затем она совершенно игнорирует, что из достигнутых ею результатов будет взято обществом и что – отвергнуто. И ежели общество прегрешает против своевременности, то это дело установленных властей, а не литературы, которая тут ни при чем. Да и вообще, на мой взгляд, эта пресловутая «своевременность» – даже совсем не литературный термин, а канцелярский, потому что если литературе поставить в обязанность определять его, согласно с жизненными условиями, то, при разнообразии и изменчивости этих условий, весь ее труд, пожалуй, уйдет на одни эти определения. И ты останешься без нового покрова брюк, без кулинарных усовершенствований и без нового фасона кокоток.

Я замолчал. Все, до сих пор высказанное мною о праве литературы на неприкосновенность, казалось мне до такой степени ясным, что, признаюсь, мне даже неприятно было бы в эту минуту услышать какое-нибудь возражение из сферы пресечения и предупреждения. Я страстно и исключительно предан литературе; нет для меня образа достолюбезнее, достохвальнее, дороже образа, представляемого литературой; я признаю литературу всецело, со всеми уклонениями и осложнениями, даже с московскими кликушами. Порою эти осложнения бывают мучительны, но ведь они пройдут, исчезнут, растут, и, наконец, одни только усилия честной мысли останутся незыблемыми – таково мое глубокое убеждение. Не будь у меня этого

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru убеждения, этой веры в литературу, в ее животворящую мощь – мне было бы больно жить. Я так сжился с представлением, что литература есть то единственное, заповедное убежище, где мысль человеческая имеет всю возможность остаться честной и незапятнанной, что всякое вторжение в эту сферу, всякая тень подозрения, накидываемая на нее, кажутся мне жестокими и ничем не оправдываемыми. Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми сладкими волнениями ее, всеми утешениями; но я уверен, что не я один, лично обязанный, а и всякий, кто сознает себя человеком, не может не понимать, что вне литературы нет ни блага, ни наслаждения, ни даже самой жизни. Феденька хоть и не признает этого, но внутренне очень хорошо понимает, что настоящие радости ему доставляет Дюма-фис, а совсем не доклады о лишении прав состояния. Даже комиссия на случай могущего быть светопреставления – и та сознала эту истину, так как прежде всего сочла нужным открыть это торжество гимном. Почему она так поступила? А потому просто, что, благодаря гимну, смягчатся чересчур суровые тоны торжества, и затем – кто же знает? – быть может, и самое светопреставление будет отменено...

По-видимому, Феденька заметил охватившее меня волнение и тоже молчал. Это было с его стороны очень деликатно. Да и вообще он – малый не страшный. Покуда он заседает в комиссиях, действительно, он как будто неистов, но в частных сношениях даже приятен.

– Я понимаю, что вы не можете иначе говорить, дядя, – наконец произнес он, – и потому не берусь даже возражать. Но позвольте мне указать на одно неудобство в нашей беседе: вы слишком абстрактно рассматриваете вопрос – каюсь, я сам предложил вам этот метод, – тогда как в действительности он стоит гораздо проще. Те отзывы о литературе, которые вас интересуют, совсем не имеют в виду Галилеев, Байронов, Шиллеров и проч., а нашу обиходную, будничную литературу, занимающуюся не мировыми вопросами, а самую обыкновенную злобою дня.

– Но ведь тут разница только в размерах. Положим, что современная русская литература не особенно высоко стоит; но, во-первых, это еще вопрос, отчего уровень ее так невысок, а во-вторых, как бы ни была наша литература мало плодотворна, все-таки она на целую голову выше всего остального.

– Это ваше мнение, mon oncle, мнение очень понятное, потому что вы всецело принадлежите литературе. Но существуют люди, и при том компетентные, которые смотрят на подобные мнения, как на преувеличение. Литература наша еще не достигла возмужалости; она недостаточно оригинальна, не серьезна и не самостоятельна; даже существованием своим она обязана воздействию: Pierre le Grand[65] вместе с суконными фабриками, насадил и ее. Конечно, он поступил мудро, но это не мешает нашей литературе быть молодой и увлекаться не действительными потребностями времени и места, но просто эффективностью заимствованных положений и восприимчивостью своего молодого темперамента. Вот эта-то склонность к увлечениям – не преднамеренная, это я вам охотно уступаю – и наводит на мысль о необходимости руководительных начал.

– Руководительных начал... в каком смысле? В том ли, чтобы помочь литературе сделаться оригинальной, серьезной и самостоятельной... или наоборот?

– Ах, mon oncle! Конечно... Разумеется, со временем все это придет... Но, с другой стороны, все это может быть прочным лишь тогда, когда придет вооруженное опытом, очищенное от увлечений и преувеличений... И тогда...

– И тогда, и всегда, и ныне, и во веки веков. Всегда будут предостерегать от преувеличений и указывать на вотяцкую мудрость, как на идеал. Я уж говорил тебе, что у вотяков даже песен нет. Песен нет, а петь, между тем, хочется. Вот идет вотяк, видит забор – поет: забор! забор! пока не увидит поля; тогда начинает петь: поле! поле! и так без конца, смотря по тому, что встретится. Вот это-то и есть свободная от преувеличений, настоящая, желательная мудрость. Не гляди ни вперед, ни назад, ни по сторонам, а воспевай те предметы, которые встречаются на пути. Что ж! это отлично!

– И это, mon oncle, опять-таки преувеличение. Напротив, все охотно допускают, что литература должна играть очень серьезную роль, что она может даже помощь оказывать, но именно помощь, а не противодействие. Вот что необходимо различать.

– То есть дифирамбы писать?

– Ах, mon oncle!

Очевидно, это был порочный круг. И нужна самостоятельность, и ненужна, то есть нужна «известная» самостоятельность. И нужна критика, и ненужна, то есть опять-таки нужна «известная» критика! Словом сказать: подай то, не ведомо что, иди туда, не ведомо куда. И при этом еще говорят: нет, вы отлично знаете, и куда идти и что подать, да только притворяетесь, что не знаете. Положим, что Феденька не особенно искусный диалектик, но он везде бывает, слышит всякие разговоры, – что-нибудь да и прилипает к нему. Ежели он выражается обрывками, то это значит, что и разговоры, которые он слушает, тоже ведутся обрывками. Есть люди, которые способны гудеть по целым часам, и все-таки в их гудении ничего не уловишь, кроме обрывков. Вот к этим-то гуденьям и прислушивается Феденька, и подражает им. Перед ним не церемонятся, выкладывают все впусе лежащее, потому что он – «адепт». И он усердно подбирает это впусе лежащее, ибо знает, что и ему со временем надо будет гудеть. Все будут гудеть: и он, и его сверстники и соратники в деле составления карьер, и кто кого перегудит, тот и воспрославится.

Ввиду всего этого я понял, что на почве слишком широких обобщений нам оставаться нельзя. Феденька слишком конкретен, слишком канцелярски мудр, чтоб идти дальше непосредственных результатов и чувствовать какую-либо иную потребность, кроме потребности мероприятий. Поэтому хотя он и предупредил меня в начале беседы, что не будет касаться злобы дня, но я все-таки решился попытаться хоть в этом направлении получить какие-нибудь разъяснения.

– Прекрасно, пусть будет по-твоему, – сказал я. – Стало быть, литература виновата? в чем? говори! обвиняй!

При этом слишком прямом обращении мой собеседник чуть-чуть покраснел, так что я, предвидя, что он непременно воспользуется случаем, чтоб поломаться передо мной, поспешил поправиться:

– То есть, не обвиняй от себя лично, – я знаю, что ты не способен на это, – но формулируй те обвинения, которые, по твоему наблюдению, наиболее в ходу, – объяснил я.

Феденька с минуту помолчал и затем, совершенно для меня неожиданно, каким-то шипящим, задавленным голосом произнес:

– Дядя! позвольте узнать, зачем ваша литература с таким упорством ищет осмеять и подорвать священнейшие основы нашего общества?

Я изумился. Не вопросу, который ничего особенно неожиданного не представлял, но тому феномену, который, в какую-нибудь минуту, совершился в моих глазах. Лицо этого юноши, за минуту перед тем благодушное и даже простоватое, внезапно позеленело и приняло суровые тоны; глаза получили сердитое, чуть не злое выражение; губы побелели и вздрагивали. Так велика была в этом способном молодом человеке готовность восторгаться чужими восторгами и озлобляться чужими озлоблениями.

– Христос с тобой! что ты! – воскликнул я, несколько озадаченный.

– Нет, если вы уж хотите, чтоб я говорил, то я буду говорить. Серьезно спрашиваю вас: с какого права ваша литература нападает на коренные основы нашей жизни? кто дал ей это полномочие? Кто разрешил ей в таком виде представлять семью, собственность... государство?

– Да в каком же, мой друг, в каком?

– В гнусном-с. Повторяю, кто дал ей полномочие судить и рядить?

– Послушай! я только что сейчас доказывал тебе, что литература от самого господ бога снабжена всеми возможными полномочиями... Однако ж так как ты настойчиво возвращаешься к этой теме и при этом, очевидно, имеешь в виду современную русскую литературу, то изволь, будем беседовать. Ты ставишь вопрос прямо: современная русская литература подрывает основы, на которых держится общество... Подумай, однако ж, нет ли тут смешения? Не приписываешь ли ты литературе то, что принадлежит самому обществу или, по крайней мере, той его части, которой

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru специально присваивается это название? Я, с своей стороны, убежден, что литература наша не только ничего не выдумывает в этом случае, но, довольствуясь одним констатированием, фактов, стоит далеко ниже действительности. Ужели литература разожгла аппетиты Юханцевых, Ландсбергов, Ковальчуковых? ужели она породила эти легионы сорванцов, у которых на языке – «государство», а в мыслях – пирог с казенной начинкой? Уверяю тебя, не литература произвела эти явления. Аппетиты разожглись сами собой, вследствие наплыва целой массы праздных людей, оставшихся за бортом с упразднением крепостного права. Конечно, литература не пропустила этого факта; но разве была какая-нибудь возможность игнорировать его? Подумай! ведь требовать от литературы подобного нелепого воздержания значило бы навсегда осудить ее оставаться при анекдотах о пошехонцах. Ты думаешь, очевидно, что литература наша нарочно цепляется за известные факты, что она предвидит те волнения, которые она должна произвести в обществе, что эти волнения ей нравятся, одним словом, что, не будь вмешательства литературы, не существовало бы ни вопросов, ни волнений. Друг мой! не ты один высказываешь подобные убеждения: они сплошь и рядом высказываются и в самой литературе теми литературными золотарями, которых целые массы в последнее время загромоздили ее. Но все это – ложь и наглая клевета, и литература, выставляя на позор факты, которые так тебя поражают, не только не подрывает подрытого, но, напротив, пробуждает общественную совесть. Правда, что общество наше – лицемерно и посмеивается над основами «потихоньку», но разве лицемерие когда-либо и где бы то ни было представляло силу, достаточную для существования общества? Разве лицемерие – не гной, не язва, не гангрена? Вот этого-то «права лицемерить» литература и не признает за обществом. Она говорит ему: или держись крепко унаследованных принципов, или кайся! По-моему, такие обличения имеют скорее характер охранительный, нежели разрушительный, и ежели я и сам по временам сетую на современную русскую литературу, то отнюдь не за смелость и настойчивость ее обличений, а, напротив, за то, что она робка, неустойчива и совсем-совсем невлиятельна. Помилуй! один езоповский язык чего стоит! Подумай, как это трудно, изнурительно, почти погано! В состоянии ли ты оценить это?

– Могу, но, признаюсь, не печалюсь об этом. В наше время только и утешаешься, когда видишь, как наша милая литература извивается, словно вьюн на сковородке. Однако ж я готов бы был сделать вам известные уступки, если б дело шло только о логике идей. Но есть логика фактов, *mon opcle*, и она-то заставляет меня быть осмотрительным. Перед фактами я немею, прихожу в ужас и забываю об идеях. Я понимаю вашу защиту и логически не всегда вижу себя в состоянии опровергнуть ее, но, в то же время, я чувствую, что в ней чего-то недостает, что она не вполне искренна и нечто скрывает. Ведь скрывает – не так ли, *mon opcle*?

Он так добродушно заглянул мне при этом в лицо и так мило похлопал меня по коленке, что мне и самому невольно подумалось: а что, ведь, может быть, и скрывает?

– Может быть, может быть, друг мой, – ответил я, – ведь всего не сообразишь. Во всяком случае, для меня ясно, что, несмотря на продолжительную беседу, мы оба остаемся при своих показаниях. Что бы я ни говорил, ты охотно будешь признавать справедливость моих доводов, но будешь «чувствовать», что в них чего-то недостает... Отлично. Стало быть, обвинение первое – колебание основ – остается непровергнутым, но и недоказанным. Дальше?

– Дальше, *mon opcle*, направление и подбор статей. Разверните любую книжку журнала, любой газетный листок – и вы убедитесь, что все, от первой строки до последней, твердит об одном, смотрит в одну точку.

– А тебе бы хотелось литературного косоглазия?

– *Mon opcle!* не будем увлекаться в сторону и воротимся к «направлению». Я сказал уже вам, что разумею под этим подбор статей. Зачем эта унылость? Почему бы не разнообразить предлагаемого публике чтения? Почему бы рядом со статьей, трактующей об явлениях неутешительных (я сам соглашаюсь, что в жизни нашей не все утешительно), не поместить другой, которая предвещала бы скорый и вожделенный конец этой неутешительности? зачем забивать мысль читателя все будничными да будничными представлениями, а не освежать ее беседою о предметах возвышенных, вызывающих парение? зачем пригибать человека все к земле да к земле – ведь у него есть небо, *mon opcle!*

– Зачем? да просто затем, что у всякого времени есть своя задача и свои способы

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru для выражения этой задачи. Это не в одной литературе выражается, а и в распоряжениях администрации. И в них ты заметишь «подбор» и замечательное однообразие «направления».

– Да, но со стороны администрации это печальная необходимость, а со стороны литературы – это система, это предвзятый образ действия. Литература не имеет права так поступать. Ее обязанность – умиротворять, а не раздражать. Повторяю: у человека есть небо, *mon opcle!* и это небо – литература ваша закрыла его от него!

– И небо, и соловьи, и розы... Только соловьи, по нынешнему строгому времени, поют не в боскетах, а в трактирах, да и розы пахнут совсем не тем, чем пахли прежде...

– Это – не ответ, *mon opcle*. И розы, и соловьи, и небо – все это есть, и все мы видим, и слышим, и обоняем, и всем наслаждаемся. Только вот литературе нашей угодно игнорировать эти возвышающие дух картины и заменять их холодным перечислением язв. Как хотите, а это – заговор!

– Да заговор же и есть. Только не тот, которому в законе присвоивается название преступления, а тот, который испокон веков разлит в воздухе и едва ли когда-нибудь прекращался. Это – заговор, в котором принимает участие не одна литература, а все и вся. Значит, язвы настолько обострились, что никому не дают ни отдыха, ни срока; значит, не только писать, но и думать ни об чем ином нельзя; значит, доколе будут существовать язвы, доколе будет идти и речь об них. Ты думаешь, что у Бореля, у Дюссо, у Донона нет заговорщиков? что ты и твои сверстники, люди несомненно надежные, укрывшись в одном из этих приютов, только едите и пьете, а не конспирируете? Ошибаешься, друг мой! Ручаюсь, что не проходит и десяти минут твоей жизни без того, чтоб ты не почувствовал себя неловко, и совсем не потому, чтобы ты вспомнил о соловьях и розах, а именно потому, что даже там, среди расторопных официантов-татар, в виду улыбающегося соммелье, [66] тебя все-таки настигают язвы. Стало быть, и вы участвуете в заговоре, участвуете тем, что помышляете и беседуете о предмете его. Вам неприятен этот предмет, вы желаете отогнать его от себя, а он – тут, при вас, он неотступно идет следом за каждым шагом вашим. Но если он не оставляет в покое никого, как же ты хочешь, чтобы от него отвернулась литература, для которой исследование явлений жизни составляет *conditio sine qua non* [67] существования? Ты скажешь, конечно, что бывали же и в русской литературе и розы, и соловьи... бывали, мой ангел, все в свое время было! Но теперь ты не найдешь двух литераторов, которые решились бы беседовать о розах и соловьях, и даже те, которые когда-то считались мастерами в этом роде, – и те ныне пускают шип позмеиному. Ужели это делается нарочно, с единственной целью досадить тебе или тем, чьих мнений ты служишь эхом? Послушай! Ведь со стороны журналов и газет было бы не только непolitично, но даже непростительно не поступиться несколькими печатными листами в год в пользу роз, соловьев и вожделяющих помещиц, чтоб водворить мир и благоволение в взволнованных сердцах. Почему-нибудь, однако ж, они не пускают в ход этого фортеля. И знаешь ли именно почему? Во-первых, потому что нынче писателей таких нет, а во-вторых, потому, что и читатель для соловьев и роз едва ли отыщется.

– Так что нашей литературе суждено навеки пропахнуть мужиком?

– Вот-вот-вот, оно самое и есть. Обвинение третье, но, в сущности, главное и единственное. Ибо все эти подрывания основ и авторитетов, эти направления и подборы – все это мы охотно перенесли бы, если б не замешался тут, в виде занозы, мужик. Мужик – это главное: как он смеет! Скажу тебе по секрету, мне и самому по временам литература наша кажется в этом отношении несколько однообразною и, через край переполненною мужиком. Ведь и я... да, брат, я тоже не чужд соловьев и роз... *que diable!* [68] но, присмотревшись к делу пристальнее, приходится согласиться, что иначе оно не может быть. Мужик – герой современности, это верно. И не со вчерашнего дня так повелось, а давненько-таки, с конца сороковых годов. Ты, разумеется, не был очевидцем «начал», но я не только помню, но даже лично присутствовал при них. Я помню «Деревню», помню «Антон Горемыку», помню так живо, как будто все это совершилось вчера. Это был первый благотворный весенний дождь, первые хорошие, человеческие слезы, и с легкой руки Григоровича мысль о том, что существует мужик-человек, прочно залегла и в русской литературе, и в русском обществе. А с половины пятидесятих годов эта мысль сделала уже господствующею в русской жизни. Все, что ни есть в России мыслящего и интеллигентного, отлично поняло, что куда бы ни обратились взоры, везде они встретятся с проблемой о мужике. Но ежели эта проблема так

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru настойчиво мечется в глаза, то надо же попытаться решить ее. И вот мы видим, что лучшие государственные люди нынешнего царствования отдают ей все свои силы и что рядом с ними ей же посвящают себя и наиболее независимые (в смысле обеспеченности материальных средств) представители нашей интеллигенции. Припомни годы «освобождения» и сознайся, что никогда этому слову не придавалось более широкого значения, никогда интерес, возбужденный им в обществе, не граничил так близко с энтузиазмом. В течение с лишком трех лет никакой другой речи нельзя было слышать, кроме речи о мужике. Оказалось, что он решительно необходим и что даже самое слово «мужик» выражает нечто очень сложное, почти всепроникающее. Всем он нужен, у всех как бельмо на глазу. Тупа философия, косноязычна риторика... без мужика. Помещик, заводчик, фабрикант, подрядчик, одним словом, всякий человек-практик, всяк понял, что в его «делах» на первом плане стоит мужик. Должна была понять это и литература, и не по тому одному, что она обязана все понимать, но и потому, что в этом деле ей предстояло оказать существенную услугу. Ежели мужик так всем необходим, то надо же знать, что он такое, что представляет он собой как в действительности, так и *in potentia*, [69] каковы его нравы, привычки и обычаи, с которой стороны и как к нему подойти. И, к удивлению, оказывается, что узнать это совсем не так просто и что мир мужицких отношений значительно сложнее и запутаннее, нежели тот, в котором обыкновенно вращаемся мы, люди интеллигенции. Работа исследования началась, работы произведено пропасть, а конца все-таки не видать. Хорошо бы и приостановиться, но дело в том, что, раз отворивши дверь в область загадок, затворить ее уж не так-то легко. Во-первых, этому воспрепятствует свойственная всякому интеллигентному человеку любознательность, а во-вторых, сама дверь просто-напросто оказывается неудобозатворимой. Вот почему современная атмосфера так насыщена мужиком: очень уж много лезет оттуда, из этой незатворимой двери. Вероятно, мы чересчур уж долго занимались соловьями и розами, так что теперь...

Но на этом месте речь моя была прервана сильным звонком. Оказалось, что приехал курьер, возвестивший Феденьке, что Иван Михайлыч изволил благополучно возвратиться из Екатерингофа!

Признаюсь, я был даже доволен, что беседа наша так внезапно оборвалась. Надоело.

ПЕРВОЕ ИЮНЯ

– Так ты думаешь, что нужно подтянуть? – спросил я Федю.

– Непременно, *mon oncle*, – отвечал он уверенно, – это не только личное мое мнение, но и все компетентные люди так думают.

Мы сидели в ресторане Летнего сада и ели. Петербург опустел; не только столоначальники, но и помощники их разъехались по дачам и слетались в город лишь на короткое время по утрам, чтоб не совсем без вреда день прошел. Войска ушли в лагерь, установления бездействовали, знакомые куда-то исчезли; во всем доме, где я нанимаю квартиру, из «хороших жильцов» остался только я один, испуганный тем, что дождь с утра до вечера лил как из ведра. Скука была пожирающая; одно развлечение имелось в виду: наблюдать из окон, весело ли бодрствуют дворники. Оказалось, однако, что и Феденька засел в Петербурге и день-деньской над чем-то корпит, а потом целую ночь напролет докладывает. Очевидно, он не на шутку занялся своей карьерой и решил воспользоваться летним запустением и отсутствием чиновнической конкуренции, чтобы все свои способности лицом показать. Не знаю почему, но при встрече с ним мне вдруг вспомнился Ландсберг, которого имя в эту минуту занимало все умы и который тоже тщательно холил свою карьеру.

– Ты Ландсберга не знавал? – обратился я к Феденьке.

– К сожалению, знал. Прошлой зимой даже *vis-à-vis* [70] в кадрили не раз приходилось танцевать.

– Да, вот и он... Все думал, как бы карьеру сделать, – и вдруг...

Клянусь, я сказал это почти бессознательно, нимало не рассчитывая проводить какие-нибудь параллели. Однако ж Феденька обиделся и покраснел.

– Неужели же вы находите какие-нибудь поводы для сравнения? – протестовал он.

– Упаси бог, мой друг! Так... вспомнилось... Все слышишь что-то такое страшное:

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru подтянуть да в бараний рог согнуть – ну, и вспомнилось; а ведь, может быть, и Ландсберг в мечтаниях своих рассчитывал: «Только бы мне с Власовым благополучно сквитаться, а там уж я знаю, что делать – буду подтягивать да подтягивать...»

– К счастью, я не имею надобности в Власовых...

– Ах, нет! ты, пожалуйста, не думай! Я знаю, что ты человек аккуратный... Но Ландсберг – ведь это все-таки не миф. Скажи, пожалуйста, когда ты с ним прошлой зимой *vis-à-vis* танцевал, разве приходило тебе на мысль, что через два-три месяца этот человек будет судиться, как убийца? Ведь не приходило? а?

– Конечно, не приходило.

– И, наверное, ты вместе с другими находил, что это прекрасный и способный молодой человек, который «пойдет далеко». Признайся, случалось тебе с ним по душе разговаривать? планы насчет величия России строить?

– Признаюсь откровенно: случалось.

– И что же?

– Действительно, я находил, что это человек сильной воли, способный и что...

– И что он «подтянет»?

– Да, думал и это.

– Ба! да ты ведь и Юханцева, конечно, знавал?

– Знал и его.

– И тоже считал, что это малый способный?

– Признаюсь... считал.

– И вы втроем: ты, Ландсберг и Юханцев собирались где-нибудь за бутылкой доброго вина (платил Юханцев) и совершенно серьезно рассуждали, что «так нельзя», что «все распушено, ни на что не похоже», что «суды оправдывают», «власти бездействуют», что «надо положить этому предел»... И Ландсберг при этом первый – да, именно он, он первый – припомнил и произнес слово: «подтянуть», а вы с Юханцевым, услышав это, в восторге воскликнули: *oui, Landsberg – c'est l'homme du moment!*.. [71] Ведь случалось это? да?

– Случалось.

– Посмотри, однако ж, какой, с божьей помощью, оборот! суд-то словно подслушал ваши упреки, взял да ни Юханцева, ни Ландсберга не оправдал!

Все время, покуда я таким образом объяснял свою мысль, Феденька улыбался то иронически, то с явным нетерпением, но, наконец, не выдержал и сказал:

– Прекрасно, прекрасно все это, *mon opcle*... Но желал бы я знать, с какого повода вы начали этот разговор?

– Да говорю тебе, что просто так; светская болтовня – и больше ничего. Теперь все умы Ландсбергом переполнены – ну, и я... Скажи, пожалуйста, он ни в каком комитете не участвовал? По части подания пособий неимущим и сиротам... по части улучшения нравственности... распространения здравых идей... спасения общества от крушения... ну, вообще, какие у вас там комитеты с дамочками заведены?

– Нет, я не встречал его.

– Ну, стало быть, не успел. А помешкай он немного с Власовым или обделаи это дельце поаккуратнее... Впрочем, ты, пожалуй, опять подумаешь, что я какие-нибудь параллели провожу. Уверяю тебя, это светский разговор – и больше ничего.

Мы оба на минуту замолчали. К счастью, в эту минуту подали *boeuf brasé*, [72] который был какой-то такой необыкновенный, что даже я, человек от природы

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru неприхотливый, вознегодовал и забыл о «подтягиваниях». Но, к удивлению, Феденька, которого я считал изнеженным и гурме[73] (я даже удивился, что встретился с ним... в Летнем саду!), не только не возмутился, но преисправно рубил ножом эту обугленную доску и проглатывал один за другим отрубленные куски.

– Действительно, я люблю тонко поесть, – объяснил он мне, – но ежели бы, по обстоятельствам, мне пришлось бы даже в греческой кухмистерской обедать – я и перед этим не отступлю. Все в свое время, топ опс!е. Бывают моменты в истории, когда всего нужнее поспешность...

– Послушай! а ведь я, представь себе, думал, что поспешность потребна только блох ловить! – не удержался, прервал я.

– Вы неисправимы, топ опс!е. Но будем продолжать. Теперь мне совсем не до того, чтобы задумываться над мени.[74] Я так занят, что бегу в первый попавшийся кабачок и имею в виду одну цель: утолить голод. Коль скоро эта цель достигнута – я доволен. И я уверен, что обед в греческой кухмистерской нимало меня не скомпрометирует, что я и там сумею остаться самим собою. В этом вся сила, топ опс!е. Нужно так держать себя, чтоб всегда быть вне подозрений, чтобы всякий, кто бы ни увидел меня – даже в «Афинах», – сказал себе: ежели этот человек пошел обедать в «Афины», то это означает, что так нужно, а совсем не то, чтобы он хотел сэкономить двугривенный.

Это было высказано с такою твердостью, с таким почти регуловским геройством, что я не мог воздержаться, чтоб не воскликнуть:

– Феденька! я тебя уважаю!

– Enfin![75] Но, в таком случае, я могу вам сказать, что ежели вы откинете предвзятые мысли и взглянете на современность трезвыми глазами, то между нынешней молодежью – нашего общества, разумеется – встретите уж много людей вполне деловых и готовых на жертвы. Да ведь и пора за ум взяться – это ясно для всех.

– Ясно?

– Да, всем сделалось ясно, что мы не на розах покоимся. Еще год тому назад мы, может быть, продолжали бы малодушествовать и либеральничать, и разве наиболее мужественный из нас позволил бы себе вопрос: да куда же мы наконец идем? Нынче – все уже поняли и почувствовали. Не только либеральничать, но даже восклицать и делать вопросы представляется уже возмутительным. Не время жаловаться, надо прямо к делу идти: respice finem.[76] Надо разрешать предстоящую задачу без околичностей.

– Гм... проявлять гражданское мужество?

– Нет, и это не так. И мужества не надо. Мужество – это что-то искусственное, напускное; это скорее термин, нежели дело. Мужество есть проявление единичное, предполагающее царствующую кругом трусость. Не надо слов, не надо ни мужества, ни трусости; нужно самое простое, самое обыкновенное, без всяких героических вывертов, без всяких украшений поэзии, исполнение обязанностей – вот и все.

– Вроде того, например, как городовые исполняют: не можем знать, начальство приказывает?

– Ну да, в этом роде... Я не брезглив, и ежели нужно, то отвечу прямо: отчего и не так?

– Гм... так вот ты как... браво!

– Я, топ опс!е, не претендую жить в потомстве, окруженный поэтическим ореолом. Мои идеалы более полезны. Я не герой, а простой труженик современности. Коли хотите, и тут есть мужество, но я предпочитаю обходить это выражение, потому что нахожу его сбивающим с толку, опасным.

– Даже опасным?

– Да, и опасным. Потому что, повторяю, с представлением о мужестве всегда как-то

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru соединяется представление об ореолах, а эти ореолы...

– Не согласуются с «не можем знать»? Да, пожалуй, что ты и прав. Человека, у которого в глазах мелькают «ореолы», никак нельзя назвать вполне надежным. Нет-нет да и свернет в сторону: а ну-тка, посмотрим, мол, что-то об этом предмете в «ореолах» написано? Мне и самому иногда это приходило в голову: поступать так поступать... чтоб без «ореолов»!

– Вы шутите, а я...

– Нимало, мой друг, не шучу, и даже, коли хочешь, приведу пример в подтверждение твоей же собственной мысли. В наше время мы видим, например, ужасно много изменников. Одни сделались таковыми по легкомыслию, другие – ради двугривенного, третьи, наконец, просто потому, что смалодушничают. И что ж! несмотря на то, что это факт обыденный, а иногда даже выгодный, всякий раз, как я гляжу на изменника, мне невольно приходит на мысль: вот субъект, который должен сознавать себя в положении человека, изгнанного из рая! Да, именно этого сорта чувство должны они испытывать, по крайней мере, на первое время. Разумеется, со временем они остервеются, начнут и взаправду поступать независимо от «ореолов», но покуда... Вот, кажется, самый настоящий «изменник», а смотришь, он нет-нет да и проврался. И воспоминания старые выплывают, и рай старинный представляется. Путает, да и все тут. Вот почему я и полагал бы: изменников принимать, но до интимности их не допускать. Припоминается мне по этому поводу следующий случай: когда я служил, то пришлось мне однажды, в разговоре с начальством по поводу одного кочующего по разным делам чиновника, выразиться: помилуйте, ваше превосходительство, ведь это свинья, а вы его по губерниям посылаете! – А вы разве свинины не едите? – спросил меня его превосходительство. – Ем-с... – Ну, и мы свиней употребляем, когда надобность предстоит... – Вот это, мне кажется, самая настоящая точка зрения на свиней: есть их можно, не нужно только, чтоб эта пища сделалась господствующей или исключительной. Подобно сему, и изменники. Например, ежели кто в былое время английскими порядками восторгался и на этом фортуны себе составил, то, ежели бы он и стал таковые внезапно порицать, следует верить ему только в половину. И не по чувству недоверия к искренности его измены, а просто потому, что он не в силах сразу совсем изменить. фразеология у него такая уж искони образовалась, что даже среди самых искренних ругательств на английские порядки непременно что-нибудь вынырнет сочувственное им. Либо словечко не то, какое нужно, человек молвит, либо не там, где следует, курсив пустит, либо кавычками некстати оттенит – вообще, хоть и неумышленно, но пакость сделает. Итак, повторяю: принимать изменников можно, но до интимности допускать их – нельзя. Пускай прежде остервеются. Так ли, мой друг?

– Разумеется, ежели смягчить форму, в которой вы изложили ваше замечание – признаюсь, я этой формы не понимаю, – то в нем окажется известная доля правды.

– Ну, вот видишь. Я и всегда правду говорю, а обо мне, не знаю почему, говорят, что я преувеличиваю. Стало быть, решено: изменников держать в черном теле, покуда не сбесятся... браво!

– Дядя! помнится, мы начали говорить о мужестве, а вы свели разговор...

– На изменников? да ведь это-то самое и есть разговор о мужестве, потому что все изменники именно так и начинают: надо, дескать, когда-нибудь иметь мужество... Но мужества-то, как ты прекрасно выразился, и не надо. Мужество! ах, черт их возьми! они думают, что их сейчас за это мужество в передний угол посадят и начнут настоящим малороссийским салом кормить, – и вдруг сюрприз! Извольте-ка сначала на помоях посидеть, да об мужестве-то позабыть, да заслуг-то не выставить, а просто без затей лбом в стену стучать, как по правилам о чистосердечных раскаяниях полагается, – а потом, дескать, увидим, как с вами поступать!

– С вами, топ опсе, решительно правильную беседу вести нельзя. Вы все какие-то картины рисуете.

– Одну минутку. Скажи откровенно: у тебя нет такой идеи, чтобы комиссию устроить для начертания правил на случай чистосердечных раскаяний?

– Покуда еще бог миловал.

– А по-моему, так это с твоей стороны упущение. И ежели ты хочешь, то я тебе в этом случае помогу. В следующий раз, как мы свидимся...

– Нет, уж от «правил» увольте.

– Что так? А еще сам, месяц тому назад, говорил, что от содействия литературы не прочь.

– От содействия, но не...

– Ну-ну, бог с тобой! не будем пестрить нашу беседу эпизодами и возвратимся к первоначальному ее предмету. А впрочем, позволь еще один, последний эпизод. Ты вот не любишь их, а в сущности, что же такое вся наша жизнь, как не эпизод? Сейчас мы здесь сидим, черт знает, что едим, «а завтра – где ты, человек?». Так-то, мой друг! все в сей юдоли плача – эпизод. Иногда веселый, иногда мрачный, как придется, а настоящего, на что бы можно сослаться, об чем бы можно было с уверенностью сказать: вот каков у меня сюжет! – этого нет. Я давно это понял, и потому очень естественно, что в мою беседу так легко прорываются эпизоды. Беседа моя есть зеркало души моей, а душа моя... Однако ж довольно, а то, пожалуй, ты и в самом деле рассердишься. Душа моя! что такое душа моя? и кому какое дело до души моей? «Не можем знать» – тут и душа, и совесть, и убеждение – все! Баста! довольно об этом... Итак, ты утверждаешь, что мужество следует побоку?

– Не «побоку», а... как вы странно, однако ж, выражаетесь, топ опс!е! – окончательно рассердился Феденька.

– Ну-ну, будь же и ты снисходителен к слабостям старика. Сказывай, сказывай свою мысль!

– Да ничего особенного я не хотел сказать. Я утверждаю только, что в нашем прошлом, в те исторические минуты, которые мы привыкли считать серьезными, никому и на мысль не приходило это пресловутое мужество, без которого нынче ни один коллежский регистратор шагу ступить не может. Еще не далее, как тридцать лет тому назад, кто позволил бы себе назвать мужеством простое исполнение долга?

– Так, стало быть, по-твоему, нынешняя историческая эпоха – не серьезная?

Признаюсь откровенно: формулируя этот вопрос, я поступил не совсем добросовестно, но очень ловко. Как истинно русский либерал, я ухитрился подловить моего противника на вполне непререкаемой почве. Ты, мол, хотел доказать, что достиг геркулесовских столпов, а я взял да в одну минуту тебя превзошел! Ура! И действительно, Феденька сделал вид, что не слышал моего вопроса. К счастью, в это время нам сервировали жареную птицу, но такую птицу, такую птицу! Даже Феденька несколько минут, как очарованный, смотрел на нее и только наконец очнулся.

– Это еще что за мерзость? – обратился он к половому.

– У нас, господин, мерзостей не подают, – возразил половой, которому, по-видимому, была дорога репутация заведения. – У нас не то чтобы что, а даже сам хозяин...

– Цыц! – прикрикнул на него Феденька, а затем, обращаясь ко мне, присовокупил: – Вы слышали этот ответ, топ опс!е? Скажите, откуда он пришел?

– Да все оттуда же, голубчик.

– Опять... эпизоды?

– Нет, не «эпизоды», а оттуда же, откуда идет и твое «цыц».

Но он даже ответом меня не удостоил и, к удивлению, разгрыз птицину кость и в одно мгновение ока обглодал ее. Потом взглянул на часы и сказал:

– Еще с полчаса я могу пробыть с вами, а потом – за работу. Будемте курить.

Мы расплатились, прошли несколько шагов по аллее, сели на скамью и закурили

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сигары. Он сам предложил мне какую-то чудную сигару, обернутую в свинец.

– Рекомендую, – сказал он, – эту сигару мне вчера Иван Михайлович подарил.

– А он любитель?

– Еще бы! Однажды он с Фейком в Парголовском озере купался, и Фейк стал погибать. Разумеется, Иван Михайлович его спас, и вот с тех пор... Нет, вы понимаете, топ оnсle? запах-то, запах каков!

– Ну, вот и ты «эпизод» рассказал. Прекрасный запах, лучше нельзя. Так возвратимся к нашему разговору. Ты, помнится, говорил, что необходимо «подтянуть»?

– Сказал, топ оnсle.

– Прекрасно. Но иногда мне сдается, что, говоря о «подтягиваниях», не все и не всегда создают значение этого выражения. Кого, например, предполагал бы ты подтянуть?

– О! вы сами отлично знаете, об ком идет речь!

– Нет, не знаю. Кажется мне, что ты имеешь в виду любезное отечество, но так ли это – утверждать опасаясь.

– Почему же опасаетесь?

– Да потому что... ну, просто потому, что поверить этому трудно. Помилуй, мой друг! такое обширное государство, «от хладных финских скал до пламенной Колхиды» – и вдруг ты собрался его «подтянуть»! Неужели ты сам не чувствуешь, что это бессмыслица?

– Почему же, топ оnсle? почему?

– Потому, прежде всего, что бог вожжей таких не создал. Пойми меня: можно пройти по стране с огнем и мечом, можно разорить ее, испепелить, иссушить... Это будет нелепо, жестоко, по-татарски, но ежели из сего должно произойти возрождение – делать нечего, пусть так. Но... «подтянуть»! Подтянуть, согнуть в бараний рог – право, тут даже идеи никакой нет! Это только уродливые образы, которых в природе невозможно даже воспроизвести. Ну, представь себе Россию взнузданную или в виде бараньего рога... ведь нельзя себе это представить? не правда ли? нельзя?

– Да, но ведь вы понимаете, что я говорю au figuré.[77]

– Понимаю. Но есть предметы, о которых au figuré просто непозволительно говорить. Бывают случаи, когда инословие становится поперек горла, когда от него гноем пахнет. Вспомни, голубчик! ведь Россия – твое отечество!

– И помню, топ оnсle, и преклоняюсь. Но потому-то именно, что люблю Россию, и настаиваю на своем. Вы ловите меня на словах. «Подтянуть» – это действительно не совсем точное выражение – уступаю его вам. Но нельзя же, наконец, терпеть!

– Чего нельзя терпеть?

– Помилуйте! ужели мало примеров своеволия, неподчинения, дерзости? ужели то, что мы видим вокруг, может назваться другим именем, кроме анархии, безначалия?

– Я знаю, об чем ты говоришь, но, в то же время, искренно убежден, что ты уж чересчур охотно делаешь обобщения. Тебя поражают отдельные случаи, и ты до такой степени весь погружаешься в них, что повсюду, в самых невиннейших проявлениях человеческой подвижности, видишь нечто однородное, выходящее из одного и того же источника. Неужели ты не понимаешь, что ты не только несправедлив, но просто надуваешь самого себя, создавая напрасные обобщения и подавляя себя бременем непосильной работы?

– Нет, это не напрасные обобщения! Это действительность, наша современная горькая действительность. И ежели даже подобные случаи кажутся вам не стоящими внимания, то...

– Остановись, мой друг. Зная твое усердие, я боюсь, что ты сделаешь новую несправедливость и обвинишь меня в измене. Измены с моей стороны нет. Я просто говорю, что ты чересчур охотно обобщаешь и вследствие этого распространяешь единичные случаи чуть не на всю страну; а ты извращаешь мои слова и с помощью этой фальсификации инсинуируешь, что чуть ли я не слагаю хвалы...

– Ах, mon oncle, неужели вы могли подумать!

– Ничего я не думаю, кроме одного: что эта манера очень неприятная. Говорю тебе это откровенно, потому что ты все-таки... Неугодов! Ведь ты – Неугодов? так? ты понимаешь, как это будет дурно, если кто-нибудь скажет: а знаете ли, что Неугодов...

– Mon oncle!

– То-то, надо быть осмотрительным, голубчик! Блюсти – блюди! но не до бесчувствия – нет! Избегай дурных или неопрятных слов, ибо они могут привести к скандалу и в самом лучшем случае произвести изумление.

– Но, право, я не понимаю, что же вы видите в моих словах дурного?

– Дурно, во-первых, то, что ты не сознаешься, что дурно выразился. Во-вторых, хоть ты и уверяешь, что выразился au figuré, но, как я уже сказал тебе, бывают предметы, относительно которых figuré не допускается. А в-третьих, тоже повторяю: невыносимо, несправедливо и даже совсем безумно так легко и бесцеремонно обобщать. Скажи, есть ли в этом смысл: ты берешь два-три факта, положим, десять, сотню, и мстишь за них – кому? – России!

– Я... мщу! никогда, mon oncle, никогда!

– То есть, конечно, не в настоящем времени: теперь у тебя еще руки коротки! но ты намечиваешься, ты создаешь себе идеалы. Ты уж серьезно подумываешь: вот, погоди! уж, как я подрасту, я покажу, где раки зимуют! На что похоже!

– Дядя! я, конечно, неправильно употребил выражение «подтягивать», но ведь и вы... Вы прямо приписываете мне то, чего у меня и в мыслях никогда не бывало. Я просто говорю: надо принять решительные меры.

– И принимай. Смакуй эту мысль, и ежели имеешь возможность, то разглагольствуй на эту тему, предлагай, докладывай. Но оставь в покое Россию. Что тебе она сделала, за что ты ее в звериный образ пожаловал? за что ты с таким злорадством выискиваешь местечко, куда бы ее почувствительнее кольнуть?

– Совсем я не ищу этого; напротив, искренно желаю спасти, оберечь...

– Исцелись лучше сам, а не спасай то, что в спасениях твоих не нуждается. Сам же ты на каждом шагу утверждаешь, что эти «превратные толкования», которые так тебя беспокоят, не имеют корня в массах, что массы им не сочувствуют и что это еще больше выдает их головой, так зачем же ты, пользуясь сим случаем, массы-то эти собираешься «подтянуть»?

– Ничего я относительно масс не имею. Массы у нас добрые – я знаю это.

– Знаешь, а в то же время изнемогаешь под бременем фантастических мероприятий. И именно общих мероприятий, захватывающих возможно обширнейшую область. Разве я не читаю на твоём лице: непременно надобно, чтоб каждый знал, что Кузьку Кузькой зовут!.. за что?

– И это – только предположение с вашей стороны, и ничего больше. Ни об каком «Кузьке» я никогда не думаю – даже этого термина совсем не знаю, – а думаю и утверждаю, что решительные меры все-таки необходимо принять.

– Но в этом-то и опасность, что ты утверждаешь, нимало не подозревая, что твои решительные меры совсем не туда попадут, куда ты метишь или предполагаешь метить, а все мимо и мимо. Но и не на пусто попадут – нет, а произведут беспокойство и тревогу именно в той самой среде, которую ты собрался спасти. Впрочем, в строгом смысле, я не могу даже поставить тебе это в вину, потому что

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ты мыслишь вполне согласно с традициями. Мы, русские, всегда оказывались бессильными, когда нужно было указать на действительно большое место. Но зато никто свободнее нас не плавал в океане так называемых общих мероприятий. Оно и легко и лестно. Во-первых, плыви, куда хочешь – нигде пути не заказаны; во-вторых, бей направо, бей налево – авось и подвернется виноватый, а в-третьих, как же не лестно: мозгов не утруждаешь, а между тем воочию видишь, как в сердцах водворяется спасительный страх.

– Ну, лестного-то немного, положим.

– Нет, лестно, даже очень лестно. Помилуй! ты гарцуешь, а Кузьки – без шапок в спасительном страхе обретаются... какой картины еще лучше желать!

– Ах, дядя, дядя! что ж делать, коли других средств нет!

– Оттого и средств нет, что мы искони думаем, как бы полегче да попроще преуспеть. А ты коли хочешь новую эру в сфере мероприятий наметить, то рассуждай так: я желаю достигнуть того-то и того-то (так и начинай с подробного определения твоих желаний, а не с того, что у меня, дескать, руки чешутся), следовательно, обязываюсь в этом смысле потрудиться, а не бежать куда глаза глядят.

– Зачем же дело стало! потрудитесь вы, mon oncle!

Замечание это было не лишено язвительности и застало меня несколько врасплох. Но, разумеется, в конце концов я таки нашелся.

– Ты опять к инсинуациям прибегаешь, любезный друг, – сказал я, – сейчас только я объяснил тебе, как это неприлично в частной беседе, а ты уж и позабыл. Нехорошо это, даже коварно. Я к тебе обращаю мою речь, к тебе, к человеку, до краев переполненному проектов об упрочении твоей карьеры, тебе говорю: потрудись! – а ты предательски перевертываешь мою речь и говоришь: потрудись сам! И говоришь, зная, что моя песня спета, что мне и жить-то противно, что я ни о чем так охотно не думаю, как о том, чтоб уйти, стушеваться, исчезнуть... Ах, молодой человек, молодой человек! из молодых, да ранний!

– Да ведь я, дядя, по-родственному. Вижу, что вы критикуете, – вот я и заключил: может быть, mon oncle и потрудиться не прочь?

– Я ничего не критикую, а лично тебе говорю: стыдись! Извини, любезный друг, я тоже по-родственному!

Феденька ни слова не ответил на мою резкость (по-видимому, он даже не обиделся ей), а только с беспечным видом помахал в воздухе тросточкой и потихоньку, сквозь зубы, пропел:

A Provin
Trou-la-la-la...
On récolte des roses
Et du jasmin
Trou-la-la-la...
Et beaucoup d'autres choses.[78]

– Понимаю, – сказал я, – ты хочешь дать мне понять, что мои иеремиады так же стары, как эта песенка. Что нынче в Демидроне уж совсем другие песни поют... Но уверяю тебя, что критики мои вовсе не так устарели, как это кажется.

Но Феденька и на этот раз, вместо ответа, пропел:

Et j'frotte, et j'frotte et allez donc!
Il vient trop de monde dans la maison![79]

– И эту песенку я знаю, – сказал я, – и знаю целое поколение таких, как ты, которое воспитывалось на подобных песенках. Когда одни гривуазные песни на уме, тогда, конечно, кажется, что на свете все распутывается легко.

– Послушайте, mon oncle! ужели вся эта материя стоит того, чтоб из-за нее огорчаться и говорить обидные слова!

– Разумеется, стоит. Ведь ты карьерист, пойми меня, Христа ради! Если б ты не

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru был уверен в успехе, я бы не тратился на слова. Но ты уверен в себе и в то же время совершенно серьезно лелеешь подтягивательные идеалы, забывая, что они гораздо старше даже тех песенок, которые ты сейчас пропел. Надо же поколебать в тебе это убеждение! надо же высказать тебе, что подобные идеалы ни процветания, ни преуспевания никогда не производили. Надо, чтоб ты понял, что на свете существуют не две только разновидности: человек-начальник и человек-бунтовщик, но есть еще средний человек, трудящийся и скромный, человек, который предпочитает спокойствие беспокойству, свободу стеснению, потому что видит в спокойствии и свободе единственную ограду своей личности и своего труда. Вот этого-то среднего человека и не следует тревожить.

– Даже если он принадлежит к числу сочувственников?

– Умоляю тебя, не говори неопрятных слов! «Сочувствитель» – это одна из самых пакостных кличек, каких множество сочинено в последнее время и начертано на стенах ретиранных мест. Она придумана с тем, чтобы клеймить людей, не совсем утративших чувство человечности, и это придает ей еще более отвратительный смысл. К счастью для человечества, на свете больше добрых людей, нежели злых, больше чистых сердцем, нежели змееподобных ретираников. Но как ты думаешь, однако ж, весело ли этим людям видеть, как на них перстами указывают?

– *C'est la fatalite, mon oncle*[80] вот все, что могу вам на это сказать.

– Подумай, однако ж! какое может быть преуспевание, когда ты об том только мечтаешь, как бы хорошенько испугать? какая может быть производительность, когда «средний человек» (он же и, несомненно, производительный) будет ежесекундно видеть перед собою тебя, мелькающего, сверкающего, помахивающего, потрясающего...

– И оглашающего стогны непечатными словами... я знаю это, *mon oncle!* знаю наизусть, но и за всем тем остаюсь при своих убеждениях...

– Выражающихся в одном слове «подтянуть» – помилуй! разве это убеждение?

– Ну, там как хотите, а я знаю, что у меня есть убеждения, и знаю, в чем они состоят. И поверьте, не ошибусь.

– Эй, Федя, не ошибись! Не вечно ведь будут проповедовать, что крестьянская реформа есть источник всех зол, что суд присяжных – злонамеренная комедия, что свободная печать – вертеп мошенников пера, что человечность равна сочувствию... Нынче это, конечно, в моде, но завтра, быть может, и выйдет из моды.

– А ежели ошибусь, так и отвечу. Нынче мы все так настроены. Согласитесь, что иначе не было бы конца ерунде.

А ерунда всего опаснее, и надо во что бы то ни стало выбраться из нее. Согласны?

– Согласен, что в ерунде мало хорошего, но знаешь ли, по совести говоря, у меня сердце все-таки больше лежит к ерунде, нежели к неуклонному шествию.

– У всякого свой вкус. Однако ж я с вами заболтался, *mon oncle*. Семь часов, пора и за работу. До свидания; надеюсь, что вы на меня не в претензии?

– Помилуй, дружок, за что? Вот ты на меня... ах, да скажи же, пожалуйста, как *тапан*? давно ты не получал от нее писем?

– Вчера получил. Пишет, что здорова и собирается сюда.

– Вот как!

– Да; но признаюсь, я все еще сомневаюсь. Боюсь, как бы она, вместо Петербурга, не очутилась в стране зулусов, в качестве сестры милосердия при принце Наполеоне.[81] Во всяком случае, ежели она приедет – мы ваши гости, *mon oncle*. *A bientôt et sans rancune*. [82]

С этими словами он пожал мне руку и побрел вдоль по аллее к выходу.

ПЕРВОЕ ИЮЛЯ

Почти весь июнь я посвятил семейным радостям.

Это было утром; часов около двух раздался звонок.

Выхожу; вижу, в гостиной расположилась дамочка. Маленькая, но уже слегка отяжелевшая, рыхлая; с мягкими, начинающими расплываться чертами лица, с смеющимися глазками, с пышно взбитым белокурым ореолом вокруг головки. Но сколько было намотано на ней всяких дорогих ветошек – это ни в сказке сказать, ни пером описать. Вероятно, она не меньше трех часов сряду охорашивалась перед целым сочетанием зеркал, прежде нежели явиться во всеоружии. При моем появлении дамочка устремилась ко мне, но, видя, что я ее не узнаю, остановилась в горестном недоумении.

– Cousin![83] стало быть, я очень подурнела, если ты меня не узнаешь! – вылетело горестное восклицание из ее крепко схваченной корсетом груди.

И в один миг две крошечные слезки затуманили крошечные глазки.

Да, это была Nathalie. Все та же маленькая, с тем же вопрошающим и как бы изумленным личиком, с теми же порывистыми, почти необъяснимыми телодвижениями. Та же, да не та. Что же, однако, случилось с нею? Точно кто-нибудь, проходя мимо этой еще не так давно тому назад свеженарисованной картинки, неосторожно задел рукавом и слегка затушевал мягкие очертания.

– Nathalie! голубушка моя! Ну, разумеется... разумеется, это ты! – воскликнул я в умилении, – но как ты могла подумать, что подурнела! Подурнела... ты!

Две новые слезки блеснули в крошечных глазках, но это были уж слезки радости.

– Не только не подурнела, – продолжал я, – но даже удивительно как похорошела! Пополнела, выражение какое-то приобрела... Ах, милая, милая! наконец!

Она жадно вслушивалась в мои похвалы и, вся переполненная счастьем, крепко сжимала мою руку.

– А помнишь, cousin, как мы однажды заблудились в саду, в куртине? какой ты был тогда... дурной! – вдруг совсем неожиданно вспомнила она и – о, неисповедимые глубины женского сердца! – кажется, даже застыдилась.

Это произошло ровно тридцать два года тому назад. Ей было с небольшим пятнадцать лет (почти невеста), мне – двадцать три года. В то время я был ужаснейший сорвиголова – просто, как говорится, ничего святого. Увижу хорошенькую дамочку или девочку и сейчас же чувствую, как все внутри у меня поет: rien n'est sacré pour un sapeurrrrre![84] Я помню, я гостил у tante Babette[85] (так звали Наташину татап, тоже куколку); однажды, гуляя с Наташей по дорожкам сада, мы бегали, перегоняли друг друга и, бегая и перегоняясь, все забирали влево да влево. И вдруг очутились бог знает где, в совсем диком месте, среди четырех кустов.

– Где мы? – спросила Наташа взволнованная.

Я помню: я обнял ее, поцеловал, погладил по головке и... вывел на правый путь!! Однако весь остальной день после этого Наташа ходила несколько томная и удивительно-удивительно нежная...

Я думал, что она давно об этом забыла, как забыл и я сам, а оказывается, что она помнила, всегда помнила. И не только помнила, но хранила секрет, не говорила ни татап, ни мужу, штабс-ротмистру неугодову. О благодарное женское сердце! Только ты можешь с таким благоговейным упорством хранить память о заблуждении среди четырех кустов!

И теперь, как тогда, я обнял ее, поцеловал и погладил по головке – все как тогда. И, обнимая, чувствовал, как на моей груди чуть слышно поскрипывает ее корсет...

– Милая, милая! – повторил я в восхищении, – о, если бы!..

Я хотел сказать: о, если бы мне не было пятидесяти пяти лет! но вспомнил, что ежели из пятидесяти пяти вычтешь восемь, то это все-таки составит ровно сорок

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru семь лет, возраст очень и очень не маленький, – и замолчал.

– У кого ты заказываешь корсеты? – спросил я ее.

– У Lavertujon, Paris, rue... numéro...[86] – заспешила она, – а что?

– Изумительный!

– Ах, ты не можешь себе представить, какие это корсеты! Я совсем, совсем не чувствую, есть ли на мне корсет или нет!

– Изумительно! Но все-таки скажу: охота вам, таким «душкам», кирасирские доспехи на себя надевать!

– А ты все такой же дурной, как тогда... помнишь?

Она опять застыдилась и погрозила мне пальчиком. Я не выдержал, поймал этот пальчик и поцеловал... Душка-пальчик! плутишка-пальчик!

Я вспомнил окончательно... все как было. Вспомнил и смотрел на нее с восхищением. Да, это она, это моя «куколка», несмотря на то, что пополнила и налилась больше чем нужно, чтобы быть à point.[87] Она никогда и не переставала быть куколкой, а только постепенно зрела и, наконец, совсем поспела, сделалась куколкой, вполне сформировавшеюся, способной переносить вояжи и даже некоторые – конечно, небольшие – огорчения. В последний раз, как мы виделись, в ней все еще замечались признаки чего-то несовершенного, сделанного на живую нитку. Но теперь ничего подобного уже не было: нитки от времени заплыли, все уставилось на своем месте, улеглось. Вышла куколка на диво, с ответом без починки на сколько угодно лет.

И что всего приятнее, у этих куколок всегда все принадлежности в уменьшительном. Нет ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носик, ротик. Это делает речь чрезвычайно учтивою. И притом: ручка-душка, ножка-плутишка, носик-цыпка, ротик-розанчик. А грудка – так это даже сказать нельзя, что это такое! Точь-в-точь малюсенькое гнездышко, в котором сидят два беленьких голубочка и тихонько под корсетом трепещутся! Ах!

– А помнишь, Наташа, – воскликнул я, – как, бывало, твой Simon[88] возьмет тебя в охапку и унесет неведомо куда... знаешь ли, ведь это было отчасти даже скандально!

– Ах, не вспоминай... я так была тогда счастлива! И опять две слезки.

– А ты как? – спохватилась она, – все такой же... дурной?

Очевидно, что лексикон ее был не разнообразен. Но и это опять-таки мило. Она знает, что она куколка и что les messieurs[89] любят куколок совсем не за лексикон. Они любят потому, что они... дурные. Это слово запало в ее голову, и она повторяет его, как повторяла и ее куколка-тапан. Они дурные, но, вместе с тем, они и милые, хотя об этом не принято говорить, а можно только по секрету думать. И тапан ее по секрету так думала, и в доказательство, что les messieurs бывают и милые, большая куколка произвела на свет маленькую куколку. Дурные и милые – весь круг ее мыслей тут, а в то же время и весь лексикон. Ужели это не трогательно?

– Ну, что обо мне говорить! – ответил я, – нет, ты лучше вот что скажи: где ты это платьице шила?

– У Worth... я всегда у него, весь туалет делаю. Ах, он такой милый! Et gentleman – jusqu'au bout des ongles![90] когда он снимает мерку, я всегда хохочу. А тебе нравится это платье?

Она инстинктивно встала, подошла к зеркалу, посмотрелась спереди, отошла, потом повернулась, опять отошла, оглянулась и поправила сзади складочку.

– Не правда ли, хорошо?

– Восхитительно!

– И что ужасно приятно: я почти совсем не чувствую, что я одета. А впрочем, это достается не легко, потому что он (worth) ужасно как строг! Когда он снимает мерку или примеривает – это целый урок... Он командует, *à la lettre*[91] командует. Представь себе, не позволяет дышать: *tâchez de ne plus respirer... parfaitement! oui, c'est ça!*[92] Приказывает принимать всевозможные позы: *mélancolique, suppliante, impérieuse*...[93] заставляет поднимать руки... И это... иногда без рукавов!

– Ах!

– Да, и мне ужасно было в первый раз страшно. Но потом привыкла – и ничего!

– Ну, а перчатки где берешь?

– Перчатки – у *voivin*, [94] шляпки – у *Coralie*. [95] Ну, посмотри: разве можно сказать, что это – шляпка?

Она опять подошла к зеркалу и повернулась перед ним.

– Какая это шляпка! Это – воздушное безе! Это «шпанские ветры»... помнишь, у вас был повар Кузьма – как он отлично «шпанские ветры» приготавливал!

– Ах, Симон так любил это пирожное!

– И это пирожное, и тебя...

– Нет, он любил еще Милэди! помнишь, у нас рыженькая лошадка была, еще я верхом на ней всегда ездила? Еще однажды я так неловко свалилась?

– Помню, помню! Стало быть, три вещи Симон любил: «шпанские ветры», кобылку и тебя. Все вместе это составляет ваши семейные *les pieux souvenirs*. [96] Но ножки твои, Наташа? Я непременно хочу твою ножку видеть!

Она слегка сжалась, молвила: ах, ты все такой же... дурной! но ножку все-таки показала... Ах, это была ножка!!

– Прелесть! – воскликнул я от глубины души, – и как обута – восхищенье!

– Да, но это уж не в Париже, – заметила она очень серьезно, – туфли и ботинки мне Теодор отсюда присылал от *Auclair*. [97]

– Вот как! Что ж, впрочем, это и резонно. Я и сам: вино от Рауля беру, но балыки... о, балыки непременно надо в Москве на монетном дворе покупать... янтарь!

Упоминание о балыке, по-видимому, подействовало на нее возбуждительно, потому что она инстинктивно потерла ручкой корсет в том месте, где даже у куколочек предполагается желудочек. Куколка куколкой, а покушать тоже хочется.

– Покушать захотелось? – спросил я, – пожалуйста, не церемонься! приказывай!

– Да... крылышко... если можно! – прошептала она стыдливо.

– Зачем крылышко? котлеточку? бифштекцу?

Я поспешно распорядился, и через полчаса мы уже сидели за столом.

– Наташа! как тебе угодно, а я сяду поближе, рядышком. Помнишь, как в тот день? Утром мы заблудились, а за обедом, как ни в чем не бывало, сидели рядышком.

– И ты... ах, какой ты тогда был!

– Сорвиголова? Гм... я и теперь... А впрочем, нет – что уж теперь! Самая малость во мне теперь осталась, да и то больше вроде как напоминание...

– Ах, бедненький!

– Да, но тогда... тогда я действительно... Больших усилий мне стоило, чтоб вывести

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru тебя... на правый путь! Ах, какие это были минуты!

Наташа глубоко-глубоко вздохнула, потом вдруг приподнялась и поцеловала меня в лоб.

– Это тебе за то, что ты помнишь... дурной!

– Не только это помню, но даже и еще многое вспомнил. Помнишь, в тот день у вас за обедом подавали суп-рассольник из цыплят, а мама положила тебе в тарелку пупочек?

– Ах, я обожала пупочки!

– Да, ты любила их, но, несмотря на это, зная, что я тоже люблю пупочки, и повинуясь влечению сердца, ты взяла и переложила пупочек в мою тарелку... я никогда, никогда этого не забуду!

– Но знаешь ли ты, что мама заметила это и после обеда ужасно меня забранила?

– Ужели? и ты скрыла от меня это!

– Зачем говорить! Я знала, что это тебя огорчит.

– Из-за меня пострадала! Нет, воля твоя, а я не могу. Я еще раз поцелую тебя за это!

И поцеловал.

Таким образом пролетело полчаса; но к концу этого срока les vieux souvenirs начали истощаться. Истощались, истощались и вдруг совсем иссякли. Был даже такой страшный момент, когда мне показалось, что я зевнул. К счастью, Наташа не заметила моей невежливости, потому что она в это время отвернулась... тоже чтобы зевнуть. Но вдруг она оживилась.

– А ведь я об чем-то собиралась тебя попросить... ах, какая я глупенькая! об главном-то чуть-чуть не позабыла! Ты Филофея Иваныча помнишь?... ах, ну да того самого Филофея Иваныча, который при Теодоре был воспитателем?

– Длинный такой?

– Совсем он уж не такой длинный... ты всегда, cousin, преувеличиваешь! Конечно, у него рост...

– Ну, словом сказать, того, с которым покойный Simon однажды распорядился...

– И это ты преувеличиваешь: совсем это не так было. Конечно, Филофей Иваныч был тогда дурной, а я ничего не понимала и пожаловалась... Впрочем, Simon был всегда к нему несправедлив... Ah! les hommes sont si méchants![98]

Она остановилась, и на этот раз уж не две, а ровно четыре слезинки выкатились из ее глазок.

– Ну, не огорчайся, душа моя, ведь я пошутил! – постарался я утешить ее, – говори же, что нужно тебе для Филофея Иваныча?

– Ты знаешь, как много наше семейство ему обязано. Даже Simon – и тот отдавал ему справедливость. Так что ежели Теодор имеет христианские правила, то это именно только благодаря ему.

– Ну-с, так чем же я могу быть ему полезным?

– Нельзя ли, голубчик, как-нибудь устроить его при вашей литературе?

– Как это – при литературе?

– Ну, да, место какое-нибудь... ты это можешь, cousin! он говорил мне, что ты все, все можешь!

– Разве он пишет?

– Ах, он ужасно пишет! он целый день, целый день пишет! и даже один сам с собою декламирует! Некоторое он и мне читал... право, нисколько не хуже «Бедной Лизы»... Голубчик! прочти!

При этой просьбе *les vieux souvenirs* окончательно исчезли. Мне вдруг показалось, что я очутился в каком-то темном складе, где груды навалены куколки, куколки, куколки без конца. Отличные куколки, лучшие в своем роде. Одеты – прелесть; ручки, ножки, личики, грудки – восторг; даже звуки какие-то издают, делают некоторые несложные движения головкой, глазками. Словом сказать, любую из них посадил бы в гостиную и любовался бы, как она глазки заводит. И вдруг одна из куколок встает и говорит: покажите, пожалуйста, как мне пройти в литературу! это я не для себя прошу... фи! а для Филофея Иваныча! И при этом начинает лепетать: «Бедная Лиза», «Марьяна Роца», «Сарепта», «Вадим»... Куколка, куколка! да ведь ты картонная! как это язычок твой выговорил: ли-те-ра-ту-ра? – Ах, это не я, это Филофей Иваныч... Как тут быть? Начать объяснять, что литература есть нечто серьезное и совсем не кукольное – не поверит; доказывать, что «Бедная Лиза» давно уж не представляет достаточного мерил для сравнения – не поймет...

Но тем-то именно и сильны куколки, что они ничего не понимают. И ежели, при этой силе непонимания, найдется мудрец, который овладеет ею и добьется, что куколка что-нибудь затвердит, то она, в пользу этого затвержденного, способна будет на всякие доступные куколке подвиги. Будет с утра до вечера повторять одно и то же слово, будет сердиться, ронять слезки, жаловаться на судьбу. И непременно в конце концов чего-нибудь добьется: если не прямо несообразность какую-нибудь вынудит сделать, то заставит наобещать с три короба, налгать.

– Послушай, Наташа, неужели ты не знаешь, что литература – это своего рода республика, в которой таких мест, куда бы можно было «пристроить», не полагается? – спросил я, вместо ответа.

Я нарочно употребил такой оборот речи, чтоб она не сразу могла понять. Я думал: надо ее поразить чем-нибудь помудреннее, заставить ее сначала прислушаться, постараться заучить. Она заучит, перескажет Филофею и, разумеется, переврет. Выйдет сначала одно недоразумение, потом еще недоразумение, потом десятки, сотни недоразумений – смотришь, ан время-то и прошло. Однако ж она даже и этой перспективы меня лишила.

– Значит, вакансий в эту минуту нет? – воскликнула она с неподдельной горестью.

– Не только в эту минуту... ах, пойми меня, ради Христа! ни в эту, ни в другую минуту, никогда вакансий не полагается! От природы их нет.

– Ах, ты меня обманываешь!

– Да нет же! если мне не веришь, кого хочешь спроси. Ну, Теодора.

– Теодор, напротив, говорит, что у вас беспрестанно места открываются. Да это так и должно быть, потому что как же иначе, без подчиненных, вы книжки бы издавали!

– Да очень просто; напишет кто-нибудь с воли хорошую вещь, ее и печатают!

– Ах, так ведь у него – много! Он целый большой сундук с собою привез!

– Ну, вот ты ему и скажи: пускай принесет. Конечно, не сразу весь сундук, а понемножку.

– И ты сейчас ему жалованье положишь?

Мне вдруг надоело. Мне даже показалось, что совсем это не куколка, а просто замоскворецкая тетеха, которая дремлет и во сне веревки вьет.

– Ну да! назначу! назначу! – крикнул я, чтоб как-нибудь покончить.

Однако ж мой тон огорчил ее.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Вот ты и рассердился! – пролепетала она сквозь слезки, – сейчас был милый, а теперь... дурной! А я все-таки тебе благодарна. Хоть рассердился, а доброе дело сделал. И я доброе дело сделала... хоть и рассердила тебя.

С этими словами она встала и начала прощаться.

– Ну, до свидания, мой родной. Благодарю, что побаловал. За все, за все благодарю вообще... И за себя, и за Теодора, и за Филофея Иваныча.

– Что ж ты заспешила! скажи, по крайней мере, что предполагаешь делать летом! ведь Монрепо-то уже нет?

– Да, уж нет! И как мне было грустно, если бы ты знал, когда Теодор написал, что наше милое Монрепо продано... Ведь там мой добрый, милый Simon...

Опять les pieux souvenirs. И слезки, счетом две.

– Теперь теснимся как-нибудь у Теодора, а там... Скучно у вас, cousin! Нет, что ни делайте, а все-таки не Париж! Нет, ты представь себе: Париж, да если при этом Henri Cinq[99] – ведь это что-то волшебное!

– Ну, этого-то, пожалуй, не дождешься!

– Нет, это непременно будет. Вообрази себе, какой однажды со мной случай был. Стою я в la Chapelle[100] и молюсь. И вдруг – сама не знаю как – запела Vive Henri Quatre! vive ce roi vertgalant![101] И с тех пор я верю, что французы когда-нибудь одумаются и обратятся к Henri Cinq.

– А куда тебя за пенье, конечно, au violon?[102]

– Нет, там на это сквозь пальцы смотрят. Не знают, что будет впереди, ну, и пропускают. А не правда ли, какая прелестная песенка? Впрочем, и Marseillaise... quel chant grandiose![103]

– Ты, конечно, и Марсельезу пела!

– Я, cousin, все пела. Однажды я даже Паризьену пела в честь герцога Омальского.

– Прекрасно; так и надо. Любезность – прежде всего. Впрочем, что ж мы о пустяках болтаем; скажи-ка лучше, довольна ли ты Теодором?

– Я – счастливейшая из матерей. Теодор – сокровище! Представь себе, отдал мне свою комнату, а сам с Филофеем Иванычем расположился на биваках в кабинете. Но знаешь ли что? мне кажется, он чересчур уж усерден. Все докладывает. Беспреданно, с утра до глубокой ночи, все докладывает. Утром, часов в десять, придет ко мне, пока я еще в постеле, я его благословлю – и исчезнет на целый день.

– Зато и превознесен будет.

– Да, он пойдет; кажется, это одно его и поддерживает. Филофеем Иваныч так об нем выразился: хотя ныне для Федора Семеныча и не без труда, но зато сколь сладко будет впоследствии держать в своих руках судьбы возлюбленного отечества! Вот как Филофеем Иваныч говорит! и точно так пишет.

– Прекрасно.

– Очень рада, что тебе понравилось, потому что от тебя теперь все зависит. А как он читает! Особенно описания какие-нибудь: ветер, бурю – все так и слышишь! Ах, только бы ты ему жалованье поскорее назначил!

– Постараюсь, мой друг. Да что ты все об Филофее Иваныче! тебе-то у нас скучно – вот что меня беспокоит!

– Нет, я не скучаю. От тебя к Auclair поеду, от Auclair к Andrieux, потом еще куда-нибудь. А вечером Теодор обещал нас в Зоологический сад свозить, ежели успеет отделаться.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– А вчера что делали?

– Вчера отдыхали. Утром я все спала, а вечером купили карт и с Филофеем Иванычем в вист с двумя болванами играли. Только считать ужасно трудно.

– Еще бы! Но ты не церемонься! ежели скучно, то приезжай ко мне, а не то так и просто пришли за мной. Я и в Демидов сад, и в Ливадию, и на Крестовский... Только вот Филофей Иваныч... неужто и он будет участником наших экскурсий? ну, зачем он нам?

– Cousin! ты ужасно, ужасно, ужасно... дурной!

– То есть милый, хотела ты сказать?

– И дурной и милый... помнишь, тогда? А как меня татап забранила! Я целых три дня думала, что я... погибшая! Ну, так до свиданья; спешу к Auclair! непременно, непременно за тобой пришлю! милый!

Она три раза поцеловала меня и вдруг – не могу даже представить себе, что ей вообразилось – перекрестила меня и сказала: вот так! Потом вприпрыжку побежала по направлению к передней и, не добежав, опять остановилась.

– Ах да! и забыла... cousin, не можешь ли ты...

Сердце у меня так и похолодело: сейчас, думаю, денег попросит. Однако на этот раз обошлось благополучно. Как истинная куколка, она постояла немного и, не досказавши начатого, продолжала:

– Нет, впрочем, это когда-нибудь после. Так до свидания, голубчик!

И через минуту она уже действительно спускалась по лестнице.

Целых две недели после этого я провел в чаду безумных удовольствий. По несколько раз перебивал и в Демидроне, и в Ливадии, и на Крестовском, и даже в Баварии. Но Феденьку не видал ни разу. По-видимому, он был очень доволен, что свалил на меня обузу развлекать и увеселять Наташу и своего бывшего воспитателя, и являлся домой только ночевать. Но мне эти удовольствия стоили массу денег, издерживать которые я, по-родственному, обязывался без ропота.

В это же время я должен был возиться и с Филофеем Дроздовым и выслушивать кроткие напоминания Наташи относительно скорейшего приискания ему места в литературе. Очень скоро весь чемодан произведений Филофея Иваныча очутился у меня на квартире. Тут были: и «Мысли у подножия памятника Минину и Пожарскому», и «Ночь с милой в лесу», роман в двух главах, и «Не стая воронов слеталась, или Ай да нигилисты!» – водевиль в двух действиях. Разумеется, ничего этого я не читал и не намерен был читать, но Дроздов все таскал, все таскал и, наконец, совсем обратил мою квартиру в свиной хлев.

Одним словом, никогда я так несносно, глупо-хлопотливо не проводил времени.

И вот однажды вечером, когда мы втроем наслаждались в Демидроне, Nathalie отвела меня в сторону и сделала странное признание.

– Cousin, – сказала она, – у меня есть секрет, который я должна тебе сообщить.

– Ах, голубушка ты моя! куколка, да еще с секретом – ведь это прелесть!

– Нет, не шути этим! это секрет... ах, это очень, очень важный секрет!

– В чем же дело? скажи! не мучь!

– Я хочу...

Она остановилась и крепко сжала мою руку, на которую опиралась, словно требуя, чтобы я, сильный человек, защитил ее, слабенькую куколку, против нее самой.

– ...выйти замуж, – прошептала она наконец, потупляя глазки.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Я думал, что я сплю. Не знаю почему, но среди целой массы предположений о путях, коими провидение ведет куколок, именно одно это никогда не приходило мне в голову.

– За кого? – спросил я, однако ж.

Она вздрогнула и показала глазами на Дроздова, который в эту самую минуту всем своим рылом так и впился в девицу Филиппо.

– Феденька знает об этом?

– Нет, покуда... Впрочем, я и не спешу ему объявить. Знаешь ли, мне кажется, что он будет против этого брака.

– И мне тоже кажется.

– Но ведь я – мать! Я знаю, что дети должны почитать своих родителей. Наконец я не обязана сыну отчетом. И ежели понадобится, то знаю, как нужно поступить.

– Неужели ты захочешь скандала?

– Ах, нет! какой ты! Я просто попрошу, чтоб его посадили в смирительный дом, покуда он не раскается.

Я взглянул на нее, думая, не прочту ли что-нибудь на ее лице. И что ж! – ничего! куколка, ну просто куколка – и ничего больше.

– Чем же вы будете жить?

– Мы рассчитываем на тебя, cousin. Когда ты все прочитаешь, что Филофей Иваныч тебе передал, и положишь ему жалованье, мы найдем маленькую квартирку и сошьем там себе гнездышко.

Во второй раз я подумал, что сплю. Со страхом, почти с ужасом смотрел я на нее, а она между тем продолжала:

– Я знаю, что ты очень большого жалованья на первый раз дать не можешь – мы и не ждем этого. Но тысячи две-три... пожалуйста, три! подумай, как мне будет трудно! Ах, я ничего, ничего не умею! Никогда я не занималась этим, а теперь надо будет везде самой. И заказать обед, *et les provisions, et la viande, et la blanchisseuse, et les trotteurs...* enfin, tout, tout, tout![104] конечно, Филофей Иваныч будет меня руководить, но все-таки представь: везде сама!

Я молчал в немом изумлении, а она все ворковала, перескакивая от одной хозяйственной статьи к другой. И, наконец, заключила:

– Теперь ты понимаешь, почему я так тороплю тебя насчет жалованья. Ах, это так нас устроит!

Таким образом, к прежней массе пустяков прибавились еще новые. Но пустяки имеют ужасную силу, особливо родственные. Возвратившись домой, я чуть не растоптал «Ночь с милой в лесу» и положительно до белого дня проворочался с боку на бок, передумывая, предупредить ли Феденьку или не предупредить.

Наконец я решил предупредить. Может быть, думалось мне, как-нибудь и обойдется. Он объяснится, убедит, найдет средство устранить Филофея... Всплакнет куколка, выронит две слезки, ну, четыре, ну, шесть – и все пройдет.

Руководясь этими мыслями, я отправился в одиннадцать часов утра в то место, где он обыкновенно докладывает. Он был уже там и сейчас же вышел ко мне, несколько изнуренный непосильным трудом, но не побежденный и нимало не унывающий. В коротких словах я объяснил ему суть вчерашнего разговора с Наташей.

– Я давно это угадывал, – сказал этот получивший христианские правила молодой человек, нимало не смутившись моим рассказом.

– Но что же ты предполагаешь делать?

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Ровно ничего. Если это устраивает татап... с богом!..

– Однако чем же они будут жить?

– Они все рассчитывают на какое-то жалованье, которое будто бы вы им обещали...

– Да ведь это наконец сказки! ведь это волшебное представление какое-то!

– Я ничего не знаю и ни во что вмешиваться не желаю. J'en ai jusqu'ici[105] (он резнул себя ладонью по горлу)! Я даже не понимаю, как я могу делами заниматься среди этого хаоса.

– Вполне разделяю твои затруднения, но все-таки не понимаю, почему ты не хочешь вмешаться в это дело. Согласись, что оно слишком близко касается тебя и что ежели Наташа в самом деле выполнит свой нелепый проект...

– Ну, нет-с, это не так-с. Покуда татап носит имя моего отца, я, конечно, обязан... Вы, впрочем, сами знаете, сколько жертв я принес и даже теперь, в настоящее время, приношу... Но раз, что она сделала une mésalliance[106] – это уж особая статья! Как ей угодно, но я тут ни при чем!

– Но отчего бы тебе не устроить этого дела тихим манером? Ты очень хорошо понимаешь, что все эти надежды на жалованье, которое будто бы я могу назначить Дроздову, – все это мираж... Но ты – ведь ты можешь! Отчего бы тебе не пристроить Филофея? Ежели тебе кажется не совсем ловким выпросить для него что-нибудь в Петербурге, то можно бы сплавить в провинцию...

– Человека, который сочиняет «Ночь с милой в лесу» – благодарю покорно!

– Можно будет его уговорить, чтоб он перестал. Право, мой друг, в провинцию? а?

– Представьте себе, не могу!

– Да почему же?

– Во-первых, потому что я дал себе слово никогда ни за кого не просить (мне самому об себе впору хлопотать, прибавил он в скобках), а во-вторых, знаете ли вы, какие у него претензии? две-три тысячи! и притом скорее три, нежели две! ведь такие оклады в провинции получает уж, так сказать, начальство! Это Дроздов-то – начальник!

Одним словом, как я ни убеждал, Феденька пребыл непреклонен. Затем мне ничего другого не оставалось, как пустить это дело на волю судеб.

И действительно, развязка не заставила себя долго ждать.

Дни проходили за днями, и Nathalie начала уже показывать признаки некоторой раздражительности по случаю моей медленности. Мало-помалу стал похаживать ко мне и Филофей Дроздов, сначала просто «посидеть», а потом и «за справочками». Во время этих беседований мне удалось наконец понять, что его не столько соблазняет авторская слава с ее скудными матерьяльными прерогативами, сколько карьера редактора.

– Наслышан я, – говорил он, – будто бы ныне многие издатели нуждаются в редакторах и будто бы таковым местам присвоивается приличествующее содержание. Так вот, если бы вы походатайствовали...

Он мгновенно взвизвался во весь рост и мгновенно же преломлялся пополам, касаясь рукой до земли.

– Помилуйте, Филофей Иваныч! перед кем же я буду ходатайствовать? – пробовал я возражать.

– Перед подлежащими лицами, всеконечно. Ныне благонадежные лица редки, потребность же в таковых ощущается... А я бы, в случае надобности, и прикрыть кой-что мог. В журнале или газете, например. Иное что-нибудь и вольненько написано, но коль скоро высшему начальству известно, что редактор здорового ума человек, то оно и на вольные прегрешения, яко на невольные, благомилостивым оком

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru взглянет.

– Конечно, это хорошо. Но все-таки надо, чтоб где-нибудь требовался вольнонаемный редактор, а я таких случаев не предвижу.

– Стало быть, не предвидите-с?

– Да, не предвижу.

– Ну, а относительно произведений моих – как вы думаете, какую цену за них можно получить?

Я долго уклонялся от положительного ответа, но наконец убедился, что надежда как-нибудь отмолчаться и ускользнуть есть миф. И вот в одно прекрасное утро я вынужден был открыть печальную истину.

В тот же день сундук с произведениями Дроздова исчез из моей квартиры, и затем, дня три или четыре сряду, ни он, ни Nathalie не заглянули ко мне.

Я начал уже понемножку успокаиваться, как вдруг, в самый Петров день – звонок. Сердце мое тревожно забилося: это она, это Nathalie! Она, с упреком на устах, она, с глазками, полными слез, она, не знающая, куда ей девать этого длинного, длинного Филофея, который увязался за ее шлейфом и никак отцепиться не хочет!

Действительно, это была она, но – о, чудо! – не только не негодующая и не тоскующая, но опять та же милая, несравненная куколка, какую я видел ее при первом нашем свидании после ее приезда из-за границы. Только платьице другое надела, но, кажется, еще лучше, шикарнее прежнего.

Опять мы поцеловались, и опять выступили на сцену *les pieux souvenirs*. Как мы заблудились, как она украдкой бросила мне в тарелку пупочек. Об Филофее ни полслова, как будто его на свете не было. Даже желудочек опять ручкой потерла (плутовка заметила, что движение это понравилось мне) и попросила покушать.

И вдруг...

– Cousin, не можешь ли ты... ах, я вечно все перепутаю... не можешь ли ты на короткое время меня ссудить...

– Сколько тебе нужно?

– Вот видишь ли, наш курс начал поправляться... и даже очень-очень поправился... Так мне советовали воспользоваться этим... тысячи две – можно?

Скажите по совести: можно ли было устоять против просьбы, выраженной в такой прелестной форме? Но, кроме того, и еще: Nathalie хочет воспользоваться поправкой курса и только поэтому занимает; но что, если она сообразит, что курс еще больше может поправиться, да на этот случай еще тысячи две накинёт? Нет, лучше отдать прямо, по первому слову. Так я и поступил. Вспомнил, что у меня в бюро лежат совсем ненужные две тысячи рублей, открыл ящик и отсчитал деньги Наташе.

Но когда я все это выполнил – вообразите мой испуг! Не успел я замкнуть бюро и повернуть лицо свое, чтоб принять благодарно-родственный поцелуй, как в комнате уже не было никого. В один миг Nathalie исчезла, словно растаяла в воздухе...

На другой день утром я получил от Феденьки письмо:

«Матан, возвратясь от вас, сейчас же собралась и уехала за границу вместе с известным лицом. Не знаю, что из этого выйдет, но теперь я, по крайней мере, заниматься свободно могу».

А вечером – телеграмма:

«Остановились на сутки в Пскове. Счастлива. Великодушный друг! благодарю. Nathalie Drozdoff».

Я не удержался, побежал к Феденьке и передал ему телеграмму, в особенности

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru указав на то, что Наташа подписалась на ней уже Дроздовой.

– Ну, и прекрасно! – воскликнул он, – по крайней мере, теперь...

И как молодой человек, обладающий христианскими правилами, набожно перекрестился.

На другой день, первого июля, я проснулся утром в самом радостном настроении духа. Я всему был рад: и тому, что мне уже не придется ехать «гулять» с родственниками, и тому, что мои две тысячи косвенным образом послужили для поддержания основ... Но больше всего тому, что в течение целого июня не случилось со мной никакой «внутренней политики».

ПЕРВОЕ АВГУСТА

После родственной суматохи, которая преследовала меня в течение целого июня, июль прошел вяло, в каком-то томительном отчуждении. Тот, кто, подобно мне, провел этот месяц в Петербурге, среди неусыпающих дождей и бодрствующих дворников, тот поймет сведавшую меня тоску. Но я уж и тому был рад, что и в июле никакой внутренней политики не случилось... Слава богу! слава богу!

Говоря по совести, я лично не имею никаких причин опасаться внутренней политики. Живу я просто, до того просто, что и прислуга, и швейцар, и дворники не токмо за страх, но и за совесть могут свидетельствовать о моей невинности; ремеслом своим занимаюсь открыто; за хорошие дела – жду помилования, за средние – прошу не взыскать, за худые – благодарю и приемлю, и нимало вопреки глаголю. Травы не мну, рыбы не ловлю, птиц не пугаю. Все это, вместе взятое, составляет такого рода «поведение», которое не только в Уложении о наказаниях, но даже в брошюрах одесского профессора Цитовича не предусматривается. Стало быть, ходи вольным аллюром – и шабаш.

Однако ж как я ни стараюсь приспособить свою поступь к вольному аллюру, но успеха достичь не могу. Существуют причины, которые положительно все мои усилия в этом смысле обращают в ничто, и, к стыду моему, я должен сознаться, причины эти лежат не столько во внешней обстановке, среди которой я живу, сколько во мне самом.

Во-первых, я слишком уж давно живу, и это вводит и меня самого, и других в заблуждение. Когда долго живешь на свете, то непременно думаешь, что невесть сколько нагрешил. И утопии, и филантропии, и фаланстеры, и даже военные поселения – все тут было! Одних «книжек» сколько – это ни в сказках сказать, ни пером описать! Как с этим быть? Раскаяться – лень; сделать бывшее небывшим – невозможно; стало быть, приходится существовать, сознавая себя в положении старого волка, которому когда-нибудь отольются-таки овечьи слезки. Ужасно это тяжело. Конечно, когда кругом царствует тишина, когда дворники бездействуют, а городовые делают под козырек – тогда даже мечты о военных поселениях кажутся пустяками. Вздор, да и все тут! Но когда...

Да, тишина – великое дело. Человек от природы так создан, что предпочитает спокойствие беспокойству, а потому он инстинктивно олицетворяет в тишине тот прекрасный удел, который на обыкновенном языке называется счастьем. Ежели человека не беспокоят – он счастлив, а ежели, сверх того, он знает, что и завтра его беспокоить не будут, – у него уж вырастают крылья. Гордо и самоуверенно идет он по стезе, загроможденной всевозможными преступными пустяками, и ни минуты не сомневается, что все эти пустяки суть действительно пустяки и, в качестве таковых, непременно сойдут ему с рук. И сходят. Как хотите это назовите: недоразумением, послаблением, упущением или просто волшебством, но сходят, сходят и сходят. Есть у счастливых людей звезда, которая путеводит их и ограждает от взысканий. Недаром еще в прошлом столетии Сумароков возглашал:

Ты, фортуна, украшаешь

Злодеяния людей

И мечтания мешаешь

Рассмотри жизни сей...

Сидишь себе, счастливый и довольный, и в мечтах опутываешь Россию целую сетью военных поселений. И даже в голову не приходит, что когда-нибудь это невинное опутывание откликнется для тебя «рассмотрением жизни сей».

Но как только повеет со стороны холодком и зашевелятся дворники – конец счастью.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Человек начинает озираться, прислушиваться, и в сердце его заползает тупая, тревожная боль. Коль скоро эти признаки налицо, знайте, что немедленно вслед за ними явится и потребность «рассмотрения жизни сей». Потребность, нередко ничем не мотивированная, но в то же время до того естественная, что отделаться от нее нет никакой возможности. Сиди и рассматривай, доколе не усмотришь. А ежели, несмотря на самые искренние усилия, все-таки ничего не усмотришь, то, пожалуй, и еще того хуже: непременно хоть что-нибудь да наклепешь на себя. И, наклепавши, тем самым признаешь себя достойным внутренней политики.

Итак, первая причина, убивающая во мне вольный аллюр, есть причина чисто личная, заключающаяся в том, что я слишком давно живу.

Вторая причина – более общая. Мы, русские, как-то чересчур уж охотно боимся, и притом боимся всегда с увлечением. Начинаем мы бояться почти с пеленок; сначала боимся родителей, потом – начальства. Иногда даже бога боимся, но редко: больше из учтивости, при собеседованиях с лицами духовного ведомства. Я помню, что еще в школе начальство старалось искоренить во мне начальственную боязнь. Чего вы боитесь? – говорило оно мне, – нам не страх ваш нужен, а любовь и доверие. Все равно, как в песне поется: мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь... А я и за всем тем продолжал бояться. И нельзя сказать, чтоб я не понимал, что быть откровенным и любящим ребенком выгоднее – его никогда без последнего кушанья не оставляют, – понимал я и это, и многое другое, и все-таки пересилить себя не мог. Идешь и думаешь: а вот сейчас выскочит из-за угла гувернер – и поминай как звали!

Разумеется, я не думаю, чтобы такова была характеристическая черта нашей национальности. Я знаю, что это дурная привычка – и ничего более. Но она до такой степени крепко засела в нас, что победить ее ужасно трудно. Уж сколько столетий русское государство живет славною и вполне самостоятельную жизнью, а мы, граждане этого государства, все еще продолжаем себя вести, как будто над нами тяготеет монгольское иго или австрияк нас в плену держит. Робеем, корчимся, прислушиваемся ко всяким шорохам, смущаемся при выходе ретиранных брошюр, раскאיваемся, кледем на себя и на других; одним словом, мним себя до такой степени последними из последних, что из всего Державина сохраним в памяти только один стих:

А завтра – где ты, человек?

И кого боимся? Того самого начальства, которое еще с школьной скамьи твердит нам: не страх ваш нужен, а доверие и любовь!

Нигде так много не говорят по секрету, как у нас; нигде (даже в самом обыкновенном разговоре) так часто не прорывается фраза: ах, как это вы не боитесь! нигде так скоро не теряют присутствия духа, так легко не отрекаются. Словом сказать, нигде не боятся так натурально, свободно, почти художественно.

Но что всего хуже: свойственный нам, русским, страх вовсе не принадлежит к числу так называемых спасительных. Если б еще это было так, то, конечно, лучшего бы и желать не надо. Спасительный страх научает терпению – вот неограниченная польза, им приносимая. Если видишь, например, себя на краю пропасти, то остановись и ожидай, пока ведомство путей сообщения не устроит здесь безопасного спуска. Если нужно тебе переправиться через реку, то не дерзай искать брода, но уведоми о своей нужде подлежащую земскую управу и ожидай, пока она устроит мост или паром. Ежели встретишь человека, который будет приглашать тебя в качестве попутчика в страну утопий, то жди, покуда не будет выдана подорожная. Таков «спасительный» страх в том виде, в каком он предписывается во всех предначертаниях. К сожалению, совсем не таков наш общеупотребительный русский страх. Увы! под гнетом его мы нимало не научаемся терпению, а просто-напросто порем горячку и мечемся. И вследствие этого не только не останавливаемся на краю пропасти, но чаще всего стремглав летим на дно оной.

Виноват ли я лично в том, что эта хроническая боязнь обуревает меня? конечно, виноват, если взять в соображение, что моя боязнь есть вместе с тем и послушание. С отроческих лет твердит мне начальство, что бояться не дозволяется, а я не слушаюсь, боюсь, то есть выказываю отвагу именно в таком пункте, где ее совсем не требуется, – ясно, что я виноват. Но, с другой стороны, как посмотрю я кругом – разве я один боюсь? Нет, все боятся, все до единого. Столько у нас, в последнее время, развелось угроз, что боязнь сделалась даже чем-то вроде

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru развлечения, почти занятием. Если б я не боялся, то, наверное, в скором времени совсем сгиб бы от праздности. А теперь я все-таки чем-нибудь занят. Во-первых, стараюсь угадать угрозы; во-вторых, придумываю способы оборониться от нее, устроить так, чтоб она ударила по соседу, а не по мне. Для ума пытливого тут пищи без конца. Обдумываешь, ходатайствуешь, оправдываешься, раскаиваешься и, наконец, возвращаешься домой усталый, почти измученный. Смотришь – ан в результате не только время прошло, но и самое представление об угрозе куда-то испарилось, словно его совсем и не было...

Итак, вот в этой-то смутной боязни прошел для меня весь июль месяц.

Я был один, а одиночество действует в этом отношении особенно деморализующим образом. В одиночестве каждая филантропия принимает размеры пособничества, каждое военное поселение – размеры потрясения основ. Конечно, и это бы ничего (повторяю: и в квартале известно, что пустыки все это!), но что действительно ужасно – это воспитываемая одиночеством склонность к применению соответствующих статей Уложения о наказаниях ко всем этим пустыкам. Сидишь один-одинешенек, прислушиваешься к окрестным шорохам – и применяешь. Так что ежели при этом в комнате еще темно, то положительно делается жутко. В ушах раздаются незаслуженное: фюить! и непременно все самые глупые романсы, все бесшабашнейшие метафоры, какими когда-либо украшались страницы русских хрестоматий, – все так и ползет из всех захолустьев памяти. Тут и «ямщик лихой, он встал с полночи», и «сабля моя стучала по верстовым столбам, как по частоколу» – все тут. И в заключение – «рассмотренье жизни сей», как неизбежный продукт этих романсов. Глупо, неестественно, несбыточно до очевидности, но в то же время как-то мрачноправдоподобно.

Разумеется, я принимал все меры, чтобы избежать одиночества. С утра уходил к Палкину, слушал машину, любовался на стерлядей, плавающих в бассейне, и расспрашивал, сколько вон та стоит и сколько вот эта. Потом отправлялся в Зоологический сад и вместе с кадетами смотрел на кормление зверей; потом устремлялся к «Медведю», где с истинно диким наслаждением глотал протухлый воздух; а вечером – в Демидрон, где делал умственные выкладки, сколько против прошлого года прибавилось килограммов в девице Филиппо). Затем, возвращаясь поздно вечером домой, я с любопытством всматривался в физиономию швейцара, усиливаясь прочесть, не написано ли на ней чего-нибудь внезапного, и ежели прочитывал только заспанность, то ложился в постель и старался заснуть с таким расчетом, чтобы Уложение о наказаниях ни под каким видом не отравило моих сновидений.

К сожалению, как ни действительными представлялись эти меры, но досуга для «рассмотренья жизни сей» все-таки оказывалось более, нежели достаточно. К тому же, в последнее время возник для меня еще новый мотив для рассматриваний.

Дело в том, что по поводу моей литературной деятельности возникают некоторые обвинительные слухи, которые, с течением времени, приобретают все более и более острый характер. Обвиняют меня в беллетристическом двоедушии, требуют, чтобы я повел дело начистоту и показал свое знамя. Признаюсь откровенно, слухи эти действуют на меня болезненно. Во-первых, я вообще избегаю разговоров о своей личности, и тем более разговоров печатных, которые имеют свойство привлекать, в качестве невольного посредствующего лица, публику; во-вторых, что ж это, в самом деле, за требование такое: покажи свое знамя? Какое это знамя? разве у обывателей полагаются знамена?..

Тем не менее я не желаю прикидываться ни равнодушным, ни презирающим. Говорю прямо: окрики эти трогают меня. Я слишком давно и слишком деятельно принимаю участие в русской литературе, чтобы иметь возможность разыгрывать роль постороннего зрителя относительно жизненных явлений вообще, а стало быть, и относительно делаемых по моему поводу оценок. Но этого мало; писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности. Поэтому все характерные признаки ее необходимо должны оказывать на меня известное действие. Тщетно усиливался бы я замкнуться в самом себе, тщетно старался бы не видеть и не слышать: лая самой ледащей собачонки, ежели он повторяется регулярно, вполне достаточно, чтобы нарушить эту замкнутость и обратиться в ничто мое насильственное равнодушие. Это до такой степени верно, что даже люди, желающие познакомиться с моим знаменем, – и те ни на что другое не бьют: ни на логику, ни на софизм, а

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru именно только на раздражающее действие, которое должен оказывать периодически возобновляемый лай на человека, связанного крепкими узами с современностью и потому вынуждаемого время от времени являться с публичными отчетами об ней.

Начну с обвинения в двусмысленности или, иначе, в двоедушии, а еще проще – в обмане. Говорят, будто я (и, конечно, с умыслом) такую особенную манеру писать изобрел, которая постоянно вводит в заблуждение. Кого же, однако, я хочу обмануть?

Ежели предполагается, что я желаю обмануть ту читающую публику, к которой обыкновенно обращаюсь, то предположение это не имеет и тени правдоподобия. Я действую в русской литературе больше тридцати лет, и из них около двадцати пяти лет, быть может, даже слишком часто напоминаю о себе читателям. Мне кажется, что этого совершенно достаточно, чтобы публика поняла, с кем она имеет дело, и чтобы я не имел надобности в дополнительных объяснениях и подчеркиваниях. И действительно, она до такой степени ознакомилась со мной, а в особенности с теми намерениями, которые стоят у меня на первом плане, что я просто-напросто ни спрятаться за псевдонимом, ни притвориться не самим собой не могу. И я думаю, что ежели читатель так легко узнает меня, то причина этого заключается не столько в манере моих писаний, сколько в их содержании. Так что, если бы я, например, позволил себе порицать добродетель и возвеличивать порок, то я убежден, что, несмотря ни на какие «манеры», публика поняла бы, что я сделал дурной поступок, и отвернулась бы от меня.

Не надо забывать, что русский писатель вообще (а в том числе, конечно, и я) имеет дело с очень ограниченным кругом читателей, который, право, не так-то легко объегорить «манерами». В среде этой есть люди, симпатизирующие мне, но найдется достаточно и таких, которых одно напоминание обо мне приводит в раздражение. Ужели и эти симпатии, и эти ненависти имеют источником одно недоразумение? По-моему, это уже слишком явная бессмыслица, чтобы нужно было ее опровергать.

Ежели же предположить, что я желаю своими «манерами» обмануть начальство – упаси бог! Кроме того, что я совершенно правильно сознаю свои обязанности в отношении к начальству, я положительно убежден, что начальство понимает мои желания столь же ясно, как и публика. Оно видит мое усердие и сознает, что если я по временам заблуждаюсь, то не по обдуманному заранее умыслу, а по простоте душевной и из желания пользы ближнему. Сверх того оно знает, что хотя существование такого писателя, как я, и не приносит большой славы отечеству, но оно и не бесчестит его, а стало быть, во всяком случае, законами не возбраняется. Если же и можно заподозрить меня в том, что я не всегда выкладываю все, что у меня на душе, то и в этом начальство усматривает не двоедушие и обман, но лишь полезную сдержанность, которую я приношу в жертву на алтарь отечеству. И, по соображении всех этих усмотрений, не находя достаточных поводов для принятия мер строгости, оно предоставляет мне спокойно заниматься моим ремеслом.

Я не отрицаю, что в писаниях моих нередко встречаются вещи довольно неожиданные, но это зависит от того, что в любом курсе реторики существуют указания на тропы и фигуры, и я, как человек, получивший образование в казенном заведении, не имею даже права оставаться чуждым этим указаниям. Есть метафора, есть метонимия, синекдоха... Наконец, существуют особые рубрики литературного труда, носящие названия «сатиры», «эпиграммы» и проч., которые тоже, с разрешения реторики, допускаются к обнародованию, с тем чтобы, по отпечатании, надлежащее количество экземпляров было представлено в цензурный комитет. Теперь сообразите: ведь начальство само предписало преподавание реторики в казенных заведениях – каким же образом оно может, без явного противоречия с самим собой и даже без явной несправедливости, преследовать то, что разрешено им самим разрешенною реторикой?

С вещественными доказательствами в руках я могу утверждать, что все, написанное мною в течение тридцати лет, совсем не «обман» (на такую литературную рубрику даже в реторике Георгиевского указаний нет), но вполне согласно с предписаниями реторики. Если же я, еще раз повторяю, отличаюсь в писаниях своих сдержанностью, то есть даже дозволениями реторики не решаюсь вполне пользоваться, то в глазах начальства это не порок, а достоинство. Сколько лет человек пишет и все сдерживает себя – стало быть, это именно и есть испытанный и вполне достойный гражданин! Совсем не то, что шавки, которые, выбежав из ретирадного места, в одну минуту вылают ту соринку, которая завелась у них за душой, не понимая, вредна она или безопасна, содействует или компрометирует... Вот как рассуждает

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru начальство и, по моему мнению, рассуждает сознательно, а не вследствие какого-то упоминания, которое будто бы исходят из себя мои литературные работы.

Как бы то ни было, но обвинения в двоедушии и обмане, как относительно публики, так и относительно начальства, оказываются вполне несостоятельными. Сами обвинители мои только притворяются недоумевающими. Очень хорошо они знают, об чем я говорю, и ежели им что во мне не нравится, то это именно моя сдержанность. Они не без основания полагают, что будь я менее сдержан – из этого непременно произойдет для меня молчание. Вот чего им хочется, а мне этого не хочется. И как ни сильны бывают порой сомнения, меня обуревающие, но мне кажется, что в этом случае я все-таки поборю.

Но обвинение не довольствуется одними голословными заявлениями и приводит в подтверждение очень веский и доказательный, по мнению его, факт. Оказывается, что я так обстроил свои делишки, что сумел понравиться даже тем, на кого я обыкновенно нападаю. Ну, как же, мол, это не обман?

Рискуя быть заподозренным в самохвальстве, я думаю, однако ж, что дело объясняется гораздо проще. Несомненно, что существует почва, на которой читатель охотно примиряется с обличениями. Эта почва: добродушие, смех и человеческое отношение к действующим лицам живописуемой комедии.

Ведь на свете живут не одни прожженные шалопаи, которые в смехе готовы заподозрить продерзость, а в человечности – пособничество и укрывательство. Большинство смертных не только видит в этих качествах смягчающее обстоятельство, но и признает, что человек, обладающий ими, не имеет основания сидеть сложа руки. Я никого не бью по щекам, хотя некоторые «критики» и уверяют, что я только этим и занимаюсь. Моя резкость имеет в виду не личности, а известную совокупность явлений, в которой и заключается источник всех зол, угнетающих человечество. Читатель, очевидно, понимает, что такова именно моя мысль, и, вследствие этого, мирится со мною даже тогда, когда я, по-видимому, обличаю его самого. Он инстинктивно чувствует, что я совсем не обличитель, а адвокат. Что я вижу в нем жертву общественного темперамента, необходимую мне совсем не для потасовки, а только в качестве иллюстрации этого последнего.

Я очень хорошо помню пословицу: было бы болото, а черти будут, и признаю ее настолько правильною, что никаких вариантов в обратном смысле не допускаю. Воистину болото родит чертей, а не черти созидают болото. Жалкие черти! как им очиститься, просветлеть, перестать быть чертями, коль скоро их насквозь пронизывают испарения болота! Жалкие и смешные черти! как не смеяться над ними, коль скоро они сами принимают свое болото всерьез и устраивают там целый нелепый мир отношений, в котором бесцельно кружатся и мятутся, совершенно искренно веря, что делают какое-то прочное дело! Да, смешны и жалки эти кинутые в болото черти, но само болото – не жалко и не смешно...

Есть и еще обвинение, касающееся того же двоедушия. Говорят, что я изображаю в смешном виде русских консерваторов – стало быть, я не консерватор; но тут же рядом и в столь же неудовлетворительном виде я изображаю и русских либералов – стало быть, я и не либерал. Если первое можно было объяснить предполагаемым во мне либерализмом, то чем объяснить второе? Не желанием ли понравиться начальству и тем хотя отчасти искупить продерзостные нападки на консерваторов?.. Ну вот, и слава богу!

Итак, ежели в писаниях моих и обретается что-либо неясное, то никак уж не мысль, а разве только манера. Но и на это я могу сказать в свое оправдание следующее: моя манера писать есть манера рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов проведения его в среду читателей. Еще древний Езоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам. Эта манера изложения, конечно, не весьма казиста, но она составляет оригинальную черту очень значительной части произведений русского искусства, и я лично тут ровно ни при чем. Иногда, впрочем, она и не безвыгодна, потому что, благодаря ее обязательности, писатель отыскивает такие пояснительные черты и краски, в которых при прямом изложении предмета не было бы надобности, но которые все-таки не без пользы врезаются в памяти читателя. А сверх того, благодаря той же манере, писатель приобретает возможность показывать некоторые перспективы, куда запросто и с развязностью военного человека войти не всегда бывает удобно. Повторяю: это манера несомненно рабья, но при соответственном положении общества

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вполне естественная, и изобрел ее все-таки не я. А еще повторяю: она нисколько не затемняет моих намерений, а, напротив, делает их только общедоступными.

Затем, покончив с двоедушием, будем, пожалуй, говорить и о знамени.

Я помню, лет семь тому назад, один из публицистов «Русского вестника» (в статье «Наши охранители и наши прогрессисты») уже заводил разговор на эту тему. И тоже отчасти по моему поводу. Надергав из разных моих статей «местечек» и лишив их, ради аттической соли, связи с предыдущим и последующим, он огулом признал мою литературную деятельность вредною, подрывающею величественное шествие России на пути развития, и, в заключение, в каком-то непонятном восхищении, подстрекал самого себя на борьбу со мною. Будем высоко держать знамя России! – восклицал он, – и да послужит оно оплотом против наплыва неблагонадежных элементов!

Я помню, этот призыв к ополчению против моего наплыва довольно-таки меня огорчил. Не потому, чтобы я был сражен страхом по поводу причисления меня лицом постороннего ведомства к лику неблагонадежных (тьфу – вот я как на это смотрю!), но потому, что мне не было при этом преподано никаких средств для исправления. Нужно высоко держать знамя России! – твердил я самому себе, – но ведь надо же объяснить, о каком знамени России идет речь? Ведь не о государственном же знамени вы беседуете – это знамя я всегда отлично понимал, равно как понимал и то, что держать его простым смертным не предоставляется, – а, очевидно, о каком-то другом, а именно о знамени, так сказать, интимно-обывательском. Но, воля ваша, заводя речь о подобных знаменах, надо как можно точнее их характеризовать, потому что обыватели не всегда в редактировании девизов искусны. Иной такую чепуху на своем знамени напишет, что попробуй соблазнься – и в остерг, пожалуй, угодишь! Вот почему я тогда же обратился к встревоженному моим наплывом публицисту с просьбою указать подробно, в чем я должен исправиться и какими девизами обязываюсь украшать свое знамя, чтоб быть вычеркнутым из списка неблагонадежных?

Конечно, ответа на мой запрос не последовало. Охотно сочиняя обвинительные акты, публицисты известного пошиба, с истинно жестокой бессердечностью оставляют обличаемых ими грешников в жертву ожидающему их возмездию. Но так как и возмездия, которое хотя косвенно могло бы пролить свет на мои сомнения, не последовало, то я вынужден был уже собственными средствами доискиваться раскрытия кинутой в мой огород загадки. И что же! ища и допытываясь, я убедился, что самое употребительное, популярное и искреннее обывательское знамя есть то, на котором написано: распивочно и навывнос!

Очевидно, конечно, что почтенный публицист настаивал не на этом знамени, но имел в виду иные знамена, на которых начертаны другие, более солидные и совместные с достоинством благонамеренной русской публицистики девизы. И хотя он не называл их прямо, но догадываюсь, что девизы эти таковы: семейство, собственность, государственный союз и проч. И так как, по мнению обвинителя, я недостаточно усвоил себе эти девизы, то за сие и признан им подлежащим помещению в список неблагонадежных.

Оказывается, однако ж, что знамена с упомянутыми выше девизами не безызвестны и мне. Я довольно часто возвращаюсь к ним и по мере сил даже разрабатываю их; но, разумеется, моя разработка имеет несколько своеобразный характер. Она не столь отвлеченна, как исследование какого-нибудь ученого юриста или экономиста, и не столь практически наглядна, как, например, разработка Юханцева, Ландсберга и проч. Но позволяю себе думать, что и моя разработка не вовсе бесполезна.

Как литератор, занимающийся книгопечатанием с ведома реторики, я разрабатываю всякого рода знамена в пределах той литературной рубрики, которая известна под именем «сатиры». Затем справляюсь с любым курсом реторики и убеждаюсь, что основной характер «сатиры» заключается в том, что она «осмеивает пороки». Прошу читателя не сетовать на меня за эти несколько детские подробности: я останавливаюсь на них потому, что мне необходимо объясниться (ведь находятся люди, которым и это нужно объяснить), почему я пишу не в дифирамбическом, а в сатирическом роде. Дифирамб, говорю я, есть совершенно сепаратная литературная рубрика, столь же мало противозаконная, как и сатира, но и не пользующаяся, сравнительно с последнею, никакими особенными привилегиями (разве что существуют какие-либо отдельные по сему предмету распоряжения, о которых я не знаю). Сверх того, дифирамб требует иных способностей и совершенно иного отношения к изображаемым предметам, нежели сатира. Так что, например, если я способен

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru написать сносную сатиру, то в области дифирамба могу оказаться самым плохим нанизывателем напыщенных и пустопорожных фраз. А по моему мнению, заниматься составлением ходульно-лицемерных и вымученных дифирамбов гораздо противозаконнее, нежели упражняться в сносной сатире.

Но спрашивается, что такое порок как объект сатиры?

Прежде всего, признаюсь, я не совсем доверяю тем отверженным спискам пороков, которые, время от времени, публикуются во всеобщую известность моралистами. Мне кажется, что моралисты слишком суживают границы порока, чересчур уж тщательно определяют внешние его признаки. Вследствие этого порок представляется чем-то окаменелым, не только не имеющим никакой притягательной силы, но даже прямо отталкивающим. Нужно быть от природы несомненно предрасположенным к злодейству и нераскаянности и при том очень храбрым (или, по малой мере, очень глупым), чтобы с насилием и взломом проникнуть в наглухо запечатое капище порока, на дверях которого прежде всего бросаются в глаза самые определенные указания на соответствующие статьи Уложения.

Таких отважных рыцарей, которые со взломом проникают в капище порока, сравнительно, очень мало, и они почти всегда попадают. И когда они попадутся, то в среде прокурорского надзора бывает радование. Ибо состав совершившегося факта ясен, и, стало быть, остается только предъявить в суд счет (addition)[107] порочного человека, и уплата по оному воспоследует немедленно и сполна.

Мне кажется, что простая человеческая совесть оказывается в этом случае гораздо более пронизательною. Во-первых, она отвергает замкнутость, которую приписывают пороку моралисты, и признает за ним значительную долю вьедчивости; во-вторых, она не допускает, чтоб порок так легко поддавался определениям, ибо в этом случае стоило бы только увеличить состав прокурорского надзора, чтобы очистить авгиевы конюшни; в-третьих, она признает, что порок прогрессирует, как относительно внешних форм, так и по существу, и, вследствие этого, одни пороки упрощаются, и взамен их появляются новые, которые человеческая совесть уже угадывает, между тем как прокурорский надзор и во сне ничего подходящего еще не видит.

Нужно ли говорить, что, ввиду этих двух взглядов на порок, литература должна склоняться на сторону совести? Прежде всего, она не меньше милосердна, как и человеческая совесть, и, стало быть, предположение о вьедчивости порока, как смягчающее личную ответственность, не может не привлекать ее. Так что ежели человек, укравший грош, в глазах моралиста ни в каком случае не заслуживает пощады, то во мнении человеческой совести и литературы он может оказаться человеком, у которого даже отнять похищенный им грош не совсем ловко. А посему надлежит: списав тот грош безвозвратным расходом, стараться об нем позабыть. Затем литературе не меньше претит и канцелярская точность в определении признаков порока, потому что слишком ясные пороки ведаются полицией и судом, и этого вполне для успокоения общества достаточно. Литература же ведает такие человеческие действия, которые заключают в себе известную степень загадочности и относительно которых публика находится еще в недоумении, порочны они или добродетельны. Философы пишут с целью разъяснения подобных действий целые трактаты; романисты кладут их в основание многотомных произведений; сатирики делают то же дело, призывая на помощь оружие смеха. Это оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех. Наконец, и мысль об изменемости форм порока не может не быть симпатичной для литературы, так как если б не существовало изменемости, если б злоба дня не снабжала жизни все новыми и новыми формами порока, то материя эта давно была бы исчерпана, и литературе пришлось бы уступить место полиции и суду. Но этого нет. И в то время, как суд карает одного Ландсберга, литература прозревает мириады Ландсбергов, тем более опасных, что к ним невозможно применить ни одного из общепризнанных ярлыков, выработанных отверженною моралью.

Ничего этого, конечно, не признают люди, занимающиеся вытребованием литературных знамен. Они считают обязательною одну мораль – отверженную, и все, что прямо не возбраняется ею, признают законным. И вследствие этого, во всякой попытке расширить пределы отверженной морали усматривают неблагонадежность, потрясение, бунт. Словом сказать, они требуют, чтоб сатирик вел нечто вроде дневника происшествий: «Такого-то, дескать, числа утром (допускается описание утра) коллежский регистратор Псевдонимов (допускается описание отвратительной его

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (saltykov-shchedrin.ru наружности) украл с лотка булку». И только. Но при этом, конечно, не возбраняется прибавлять, что бдительное начальство накрыло его с поличным и не оставило без взыскания.

Я понимаю, из какого источника идут эти требования. Выше я сказал, что преступить против указаний отверженной морали очень трудно и что виновными в этом случае оказываются или глупцы, или оборванцы, или такие отважные люди, которым хочется сразу карьеру сделать. Затем громадное большинство удобно уживается с этой моралью и под сению ее бездельничает на всей своей воле. Вот эту-то безнаказанность бездельничества и лестно отстоять. Мы никого не убили, а нас называют убийцами; мы ничего не украли, а нас называют ворами; мы живем в семьях, обедаем, окруженные детьми, пьем чай за семейным самоваром, а нас называют прелюбодеями! Что ж это такое, как не потрясение!

. . . .

Но довольно. Возвращаюсь лично к себе.

Сказанного выше, по мнению моему, вполне достаточно, чтоб убедить читателя, что и мне не чужда мысль о знаменах. Какого же рода эти знамена и что на них написано, о том следуют пункты:

1) Ведомо всем, что в настоящее время существуют три общественные основы, за непоколебимостью которых имеется особое наблюдение: семейство, собственность и государство. Вот эти-то самые основы значатся и на моих знаменах. Знамя первое: семейство. Приемлю и нимало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтобы кузина Nathalie могла быть признаваема столпом семейственности, хотя она столь твердо понимает материнские права, что готова посадить своего Теодора в смиренный дом за непочтительность. Второе знамя: собственность. Приемлю и нимало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтоб коммерсант Дерунов именовал себя апостолом собственности, хотя он до того простер свое усердие в этом направлении, что всякую попытку крестьян получить за пуд хлеба 60 копеек, вместо предлагаемой им, Деруновым, полтины, считает за бунт и потрясение. Третье знамя: государство. Приемлю и нимало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтоб Феденька Неугодов слыл за поборника государственного союза за то только, что он видит в государстве пирог, к которому ловкие люди могут во всякое время подходить и закусывать.

2) Таковы знамена, которые характеризуют мое внутреннее поведение. Что же касается до поведения внешнего, то знамя, до этого относящееся, гласит тако: не делать того, что законом возбраняется.

3) О прочих знаменах умалчиваю, но думаю, что и сказанного выше достаточно, чтобы жить в мире с самим собой и не опасаться любопытствующих.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

И в августе отдел внутренней политики остался незамещенным... Слава богу! слава богу!

В первой половине августа прибыл ко мне другой племянник, Саша Ненарочный, молодой человек лет восемнадцати. Приехал, шаркнул ножкой и бросился отыскивать «дяденькину ручку». Но так как я решился скорее вступить в рукопашную, нежели довести родственные излияния до такой восторженности, то Саша кончил тем, что вплепал мне безе в самые уста. Затем сейчас же принес две банки варенья и извинился, что не принес отварных рыжиков: маменька после пришлет.

Саша устранил угнетавшее меня одиночество – уж это одно было заслугой с его стороны. Я вообще бываю доволен, когда в минуты уныния меня посещают родственники. В счастья я ими не особенно дорожу, но в несчастьи – не нарадуюсь. Даже если кадет-племянник из провинции «погостить» придет – и тот словно рублем подарит. С приездом его и в квартире делается как-то люднее, и шорохов таинственных слышится меньше, и свойственный одиночеству заговорщический характер несомненно смягчается. Словом сказать, вся квартира, в полном своем составе, внушает более доверия...

Но прежде, нежели продолжать, расскажу вкратце, каким образом я приобрел племянника в лице Сашеньки Ненарочного.

У tante Vabette были две дочери: одна кузина – Nathalie, с которой читатель уж

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru знаком, младшая и любимочка; другая – кузина Маша, старшая и нелюбимая. В сущности, выражение «нелюбимая», в применении к tante Babette, слишком жестоко. Babette никого «не любить» не могла, но у кузины Маши был такой большой нос, что maman ее не могла его видеть, чтобы не воскликнуть: ах, несчастная! Поэтому Nathalie с малых лет предназначалась для блестящей партии (читатель знает, что она и действительно обрела таковую в лице штабс-ротмистра Неугодова), а Маша ровно ни для чего не предназначалась. Так что когда статский советник Ненарочный присватался к ней, то tante Babette совсем растерялась и даже воскликнула: *bonté du ciel!*[108] но посмотрите же, какой у ней... нос! Однако Ненарочный оставил это предостережение втуне и, пребывая твердым в своих матримониальных намерениях, взял Машу, как ее создал бог. И, как увидим ниже, не ошибся в расчете.

Ненарочный был первым родоначальником своей фамилии и, следовательно, не мог похвалиться знатностью. Носился слух, что некогда Аракчеев во время объезда новгородских поселений, остановившись на почтовой станции, имел разговор с смотрительскою дочерью и что последствием этого разговора был маленький раб божий Иван. Разумеется, проследовавши на ближайшую станцию, суровый временщик утратил всякое воспоминание о недавнем грехопадении, но, должно быть, раб божий Иван в рубашке родился, потому что даже волнам временщичьего забвения не удалось поглотить его. Когда молодая мать, год спустя, явилась в Петербург с младенцем в руках, то Аракчеев не только не рассвирепел, как этого следовало бы ожидать, судя по его чину, но явил беспримерное милосердие: мать определил на кухню судомойкой, а сына взял в комнаты и выхлопотал ему герб. В гербе этом на золотом поле была изображена почтовая станция с верстовым столбом; сбоку столба – трехугольная шляпа с плюмажем, из которого выходит протягивающий ручки младенец, а внизу алая извивающаяся лента, на которой начертан девиз:

Хоть создан ненарочно,
Зато довольно прочно.

В согласность с этим девизом, Ваня – по крестному отцу Алексеич – и фамилию получил: Ненарочный.

Прошло несколько лет, Аракчеев пал, но Ваня и из этого крушения вышел невредим. Его призрел коллежский советник Стрекоза, бывший наперсник Аракчеева, который явно хотя и отрекся от него при падении, но втайне остался ему преданным. Он выкормил и обучил Ненарочного, и когда последний кончил университетский курс, то определил его в департамент разных податей и сборов. Там Иван Алексеич в скором времени предъявил такие таланты по части сборов, что лет через десять был определен советником питейного отделения в пензенскую казенную палату.

В то время советники питейных отделений были люди солидные и уважаемые. Места эти не считались особенно блестящими в смысле борьбы с внутренними врагами, но так как с ними сопрягалось представление о сокровище, то всякая открывающаяся вакансия привлекала целые толпы соискателей. Питейный советник играл в губернском обществе роль: он был непременно старшиной местного клуба; на его обязанности лежало составление для губернатора партии в вист; он беседовал с архиереем о бессмертии души и, в довершение всего, пользовался секретным доверием местного штаб-офицера, который по секрету сообщал ему, что главная его секретная обязанность заключается в том, чтоб секретно утирать слезы. Сверх того, он любил творить тайную милостыню, то есть правою рукою подавал нищему грош, а левую оставлял в заблуждении, якобы подан рубль. И в конце года, подводя итог накопленному сокровищу, клал оное в опекунский совет для приращения из процентов.

В таком виде сложился тип советника питейного отделения в момент учреждения этой должности, и в том же виде сохранился он и в момент упразднения оной.

Таков же был и Иван Алексеич Ненарочный.

Он взял Машу даже без прилагательного, ибо провидел, что в этой девице будет толк. Ему не красота была нужна, – он видел в женщине лишь посланное судьбою орудие на случай телесного озлобления, – а домовитая хозяйка, которая взяла бы в руки бразды домашнего управления, а ему дала бы возможность всецело и без помехи отдаться присовокуплениям и созиданиям. И от времени до времени рожала бы детей. Маша все так точно и выполнила. Хозяйничала отлично и, сверх того, в течение двадцати лет супружества, принесла мужу семь человек сынов. Так что когда откупа были упразднены, то Иван Алексеич мог с легким сердцем произнести: «ныне отпускаеши» – и подать в отставку.

Ненарочные и Неугодовы, как и следует добрым родственникам, находились в постоянной вражде. Неугодовы гордились своим аристократизмом и совершенно справедливо полагали, что если бы при такой блестящей фамилии да сокровище Ненарочных, то это было бы им как раз в самую пору. Ненарочные не гордились, но и искательства не выражали, а держали себя осторожно, как бы с минуты на минуту ожидая, что при малейшей оплошности Nathalie непременно попросит у них денег. В последнее время, однако ж, со стороны Ненарочных сделаны были серьезные попытки к сближению, так как проницательный взор Ивана Алексеича отлично усмотрел, что в лице Феденьки на неугодовском горизонте восходит блестящая звезда.

Итак, ко мне явился Саша Ненарочный. Уже по прежним письмам кузины Маши я знал этого молодого человека с отличной стороны. «Саша, – писала она мне не раз (очевидно, впрочем, что письма сочинял Иван Алексеич, а она только переписывала), – отменно радуется мое родительское сердце. Он почтителен, прилежен, аккуратен и нимало не сердится на младших братцев, когда сии последние просят его что-нибудь объяснить им из арифметики. За всякую ласку благодарен, тетрадки содержит в порядке и, что всего приятнее, никому не доверяет своего форменного мундирчика, но сам оный чистит». И действительно, он предстал предо мной именно таким, каким его описывала Маша. Телосложение обстоятельное, румянец во всю щеку, рот сердечком, глаза веселые, но не столько вследствие свойственной юношескому возрасту шаловливости, сколько вследствие выработанного убеждения, что унылое выражение может огорчить старших и благодетелей.

Вообще, при взгляде на него, рождалась уверенность, что этот юноша никому своего мундирчика не поверит, но сам его вычистит, а в то же время вытвердит и урок. Мне кажется, что именно таков был Аракчеев в молодости: аккуратный, равно готовый принять и орден и затрещину и постоянно решающий в мыслях не очень сложную арифметическую задачу. Даже лоб у Сашеньки был аракчеевский: узкий, слегка как бы угнетенный.

Как я уже сказал, он тотчас же явил беспримерную ловкость. Не успев поймать мою «ручку», облобызал меня в уста и потом от времени до времени стал украдкой поцеловывать в плечико. Сначала это меня беспокоило, но потом думаю: а может быть, он этим способом приценивается, что стоит суконце на моем сюртуке?

Одним словом, Сашенька сделал на меня такое приятное впечатление, что будь я не старик, а старушка со средствами, то, кажется, и цены бы ему не нашел.

– Кончил гимназию? – спросил я его.

– Кончил, дяденька, и удостоен первым-с.

– Отлично! Это тебе делает честь, что родителей радуешь!

Я обнял его и вдруг, как бы проникшись дидактической сферой, которую принес с собой Сашенька, присовокупил:

– А вот тем детям, кои, вместо радостей, приносят родителям лишь огорчения, – это чести не делает.

Не успел я раскрыть рот от удивления, слыша таковую змеиную мудрость, из уст моих исходящую, как Саша уже воспользовался ею, чтоб поддержать разговор на философической высоте.

– Именно таково и мое, любезный дядюшка, убеждение, – скромно ответил он, – и ежели вы позволите мне высказать его вполне...

– Говори, любезный друг! не стесняйся!

– Я полагаю, милый дяденька, что прежде всего мы, дети, обязаны любить бога, создавшего нас всех, а непосредственно затем родителей, начальников и добрых родственников. Таковы правила, в которых воспитывался я и все мои братцы.

– Прекрасные правила! продолжай!

– Потому что ежели мы не будем любить бога, то сделаемся через это безбожниками, и тогда не к кому нам будет, в случае несчастья, обращаться с молитвой о помощи.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Если же не будем любить и почитать родителей, то последние могут за это лишиться нас своих милостей. Что же касается до начальников, то вы сами, любезный дядюшка, знаете, можно ли их не любить?

– Еще бы!

– Обладая столь твердыми правилами, я стараюсь, по возможности, не отступать от них. А ежели и затем мне, как человеку, не свободному от слабостей, случается возбудить против себя справедливый родительский гнев, то я стараюсь чистосердечным раскаянием загладить свою вину и тем предотвратить угрожающие мне в будущем бедствия!

– Ах, голубчик!

– Я и вас, дяденька, люблю, – прибавил он, слегка застыдившись.

– Меня-то за что?

– Во-первых, потому, что я вообще всех родственников обязан любить, а во-вторых...

– Отлично! поцелуемся – и шаш!

Я поцеловал его и, целуя, думал: а еще говорят, что нынешние молодые люди дерзкие – ан вон он какой! как огурчик!

– Ну, а в Петербург зачем приехал? В здешний университет, что ли, поступить хочешь?

– Нет, я буду оканчивать образование в Московском университете: поближе к родителям. В Петербург же я приехал, во-первых, для того, чтоб представиться вам, добрый дяденька, а во-вторых, потому, что папенька полагает, что для меня поездка эта будет не бесполезна. Когда я выдержал последний экзамен, то папенька подарил мне вот эти часы (Саша вынул из кармана хорошенькие часики и показал их мне) и сказал: теперь ты уже юноша, и необходимо тебе самому регулировать свое время – не все под родительским крылом жить... Признаюсь вам, любезный дяденька, мне было ужасно больно слышать последние слова...

Говоря это, он был слегка взволнован, и на глазах его, блеснули слезы.

– Ну, что! не плачь! бог милостив... как-нибудь!

– Нет, дяденька, это очень... никогда я этой минуты не забуду. Зачем папенька сказал такие жестокие слова? Они так меня тронули, что я в первый раз в жизни осмелился попенять ему: «Зачем, – сказал я, – вы изволили упомянуть о разлуке, милый папенька? Если вам угодно было признать, что временная разлука наша необходима, то воля ваша будет выполнена, но зачем же огорчать мое сердце предположениями о каком-то самовольном с моей стороны регулировании времени!» К счастью, однако ж, все объяснилось, и папенька не только не забранил меня, но очень милостиво продолжал свои наставления. А теперь, сказал он, поезжай в Петербург! Во-первых, тебе необходимо отрекомендоваться добрым родным, во-вторых, ты оказался вполне достойным вкусить некоторых столичных удовольствий, а в-третьих, да послужит тебе эта поездка испытанием, и ежели ты и из столичных искушений выйдешь невредимым, то это будет означать, что ты уже вполне заслужил аттестат зрелости. Об одном прошу: как можно остерегайся ужасной болезни, которая, при дурном лечении, может навек лишиться человека свойственного ему благообразия. А, впрочем, дядя тебе все это лучше меня объяснит!

– Гм... Стало быть, на меня возлагается обязанность водить тебя по мытарствам?

– Ах, дяденька! Представьте себе, папенька точно угадал, что вы сделаете это предположение! Одного опасаюсь, сказал он маменьке, как бы братец не подумал, что мы предназначаем ему роль искусителя? Но маменька, зная вашу душу, положительно вооружилась против этой мысли.

– И превосходно сделала. Дай, я еще раз тебя поцелую.

– Выполнивши это, я, однако ж, спохватился: все поцелуй да поцелуй – не слишком ли это уж однообразно? Поэтому я вынул красную ассигнацию и, подавая ему ее,

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru присовокупил:

– А чтобы доказать тебе, что я люблю не ложно, – вот десятирублевенькая. Это тебе на столичные искушения.

– Благодарю вас, дяденька. Хотя, по милости папеньки, у меня есть и деньги, но ваш подарок мне дорог, как знак милостивого ко мне расположения. Теперь я, кажется, вполне обеспечен. Папенька мне двести рублей на дорогу и на удовольствия пожаловал, да маменька двадцать рублей – это уж когда я в вагон садился, в виде сюрприза. А вот теперь и вы, милый дяденька. Надеюсь, что до переезда в Москву этого будет достаточно.

– Еще бы! здесь тебе ничего не нужно, а что касается до поездки в Москву, то за твой ум тебя любой кондуктор задаром в вагоне постоять пустит! С чего же, однако ж, мы искушения наши начнем?

– Я думаю, дяденька, в кондитерскую, с вашего позволения, сходить.

– В кондитерскую – это ты всегда успеешь. А мы вот как сделаем: отобедаем, отдохнем по-христиански, а потом и закатимся на всю ночь в Демидрон. Там ты сразу увидишь, в каком смысле тебе понимать себя надлежит.

– Демидрон... это что же такое, дяденька?

– Это, мой друг, *jardin de familles russes*[109] так называется, то есть сад, в котором русский семейный союз преимущественное осуществление для себя находит. «Штучку» я тебе там одну покажу – пальчики оближешь!

– «Штучка» – это не то ли самое, что папенька «сиренами» называет? Впрочем, даже и в этом смысле я не отказываюсь следовать вашему указанию, любезный дяденька, ибо надеюсь с честью выйти из предстоящего испытания. Одно только позволю себе доложить вам: ловко ли будет мне появиться в Демидроне прежде, нежели я представлюсь братцу Федору Семенычу?

– Неугодова едва ли ты скоро увидишь: он нынче в десяти комиссиях заседает.

– Но в таком случае, от кого же мне о здоровье тетеньки Натальи Петровны узнать?

– И это мудрено. *Nathalie* была здесь недавно и опять уехала в Париж. Да она уж не Неугодова теперь, а Дроздова. Во второй раз замуж вышла.

– Я, дяденька, с вашего позволения, ей в Париж напишу; неловко же не поздравить тетеньку с вступлением в новую жизнь. Ведь для письма в Париж семикопеечной марки достаточно?

Повторяю: чем больше я знакомился с этим юношей, тем больше он меня очаровывал. Но так как и очарованию полагается известный предел, то я был очень доволен, когда Саша спросил позволения на время оставить меня, чтобы написать письма к родителям, а также к тетеньке Наталье Петровне. Разумеется, я снабдил его всеми письменными принадлежностями и был очень утешен, прочитав в его глазах решимость, не отказывая себе в излишнии чувств, предаваться оному, однако ж, лишь настолько, чтобы письмо весило не более одного лота.

За обедом мы опять сошлись, и беседа возобновилась.

– Надеюсь, что ты не вмешиваешься во внутреннюю политику? – спросил я.

– Я, дяденька, всегда старался стоять в стороне от обольщений, и до сих пор бог помогал мне в этом. Тем не менее не смею не сознаться перед вами, что однажды и я чуть-чуть на каторгу не попал.

Я даже подскочил при этом известии.

– Что ты!!

– Мне было тогда тринадцать лет, и вдруг один из товарищей, Сипко, говорит: пойдём, Саша, Селиксу волновать – это село так называется, недалеко от Пензы. Конечно, я, по неопытности, согласился. Купили мужицкие портки, бороды фальшивые

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru подвязали – и отправились волновать. И только что, знаете, приступили, как нам сейчас же руки назад и марш к становому! Ну, разумеется, становой знал папеньку и отправил меня домой.

– Ах бедный ты, бедный! Хорошо, что бог спас!

– Я, дяденька, в то время так испугался, что человек с пятьсот оговорил. Даже маменьку назвал-с...

– Ах!

– Разумеется, маменька легко оправдалась, но некоторые, как я потом осведомился, получили достойное возмездие.

– Правильно!

– Я, дяденька, об этом так рассуждаю: кто что посеет, то и пожнет. Никто не вправе претендовать на судьбу, ибо люди, будучи одарены от бога свободною волей, суть сами единственные виновники тех злоключений, которые ожидают их в сей жизни и в будущей.

– Однако вот ты ходил волновать Селиксу, а вывернулся-таки?

– Я, дяденька, потому вывернулся, что чистосердечно все рассказал-с. А сверх того, всякий очень хорошо понимал, что и папенька не оставит меня без взыскания.

– А больно папенька высек?

– Это случилось тому назад пять лет, и папенька так милостив, что никогда не напоминает мне об этом. Я же, с своей стороны, могу сказать одно: с тех пор я никогда в политику не вмешиваюсь.

Прекрасный, прекрасный, прекрасный юноша! Правда, он, по-видимому, не очень изобретателен, и речь его положительно отзывается какою-то прелью, но, по моему мнению, для родительского сердца это даже лучше. Далеко ли пойдет Сашенька в будущем или застрянет в самом начале жизненного пути в должности регистратора – это вопрос, на который я не берусь ответить. Но сдается, что ежели начальство беспристрастным оком взглянет на его усилия, то оно, наверное, даст ему возможность добраться до чего-нибудь тепленького. Тем больше, что папенька однажды уж высек его, и, стало быть, совсем невероятно, чтоб он вновь решился волновать Селиксу. Высечь во благовремении – вот последнее слово педагогики, и благо тем, которые испытывают на себе спасительную силу его! Скорее можно ожидать продерзостных поступков от такого превыспренного юноши, как Феденька Неугодов, – и кто знает? – может быть, именно благодаря тому, и можно ожидать, что Nathalie никогда не секла его, а только грозила посадить в смирительный дом. Благодаря своей превыспренности Феденька сделался честолюбив и как-то болезненно чувствителен ко всем вопросам, до прохождения службы относящимся; так что ежели, например, обойти его к празднику наградой, то он, пожалуй, будет способен и на потрясение основ пойти. Разве мало таких случаев бывало? Я лично знал одного статского советника, который ждал к пасхе Владимира 3-й, а получил корону на св. Анны, так он прямо с того и начал: что такое государство? – говорит, – покажите мне его! Если б оно было не миф, то я бы видел его или, по малой мере, ощущал бы на себе его действие! А то – помилуйте! – корона на Аннушку! Обрадовали!

Вот таких-то превыспренностей и нельзя от Сашеньки ожидать. Прекрасный, прекрасный, прекраснейший молодой человек!

– И отлично делаешь, что не вмешиваешься, – похвалил я его, – потому что политика – это что такое? Один раз пошалил – сошло с рук, а в другой раз – и поминай как звали! Вот какова, мой друг, наша политика!

– Я это знаю, дяденька, хотя собственно, в применении ко мне, заблуждение мое принесло мне гораздо больше удовольствия, нежели неприятностей. Мне надавали тогда столько лакомств, что даже когда я поделился с братцами – и тут оказался избыток. А сверх того, в нашем «Справочном листке» была напечатана статья «Спасительные плоды отеческого непопустительства», в которой автор, отдавая справедливость папенькиной строгости, отозвался в самых лестных выражениях и обо

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мне.

– Вот как!

– Да, дяденька, это были минуты какого-то общего энтузиазма, так что наш родной город прислал папеньке адрес, в котором, благодаря за искусное обращение на путь истинный заблуждающихся, поднес ему звание почетного гражданина... Но что всего отраднее: недавно, уже за пределами родной губернии, я вполне убедился, что похвальный поступок никогда не остается без награды!

– Как! даже за пределы Пензенской губернии проникла твоя слава?

– Представьте себе, по приезде в Рязань, я хотел взять билет для дальнейшего следования, как вдруг подходит ко мне начальник станции и спрашивает: «Не вы ли тот благородный молодой человек, который, по словам «Справочного листка», будучи высечен папенькой, откровенно рассказал, как было дело?» И когда я ответил утвердительно, то он продолжал: «В таком случае не трудитесь брать билет! Мы за особенную честь сочтем доставить вас в Москву бесплатно!» Согласитесь, дяденька, что я имел полное право прослезиться, услышав такую лестную для меня резолюцию.

– Помилуй, мой друг! да если бы ты не прослезился, то просто поступил бы как свинья!

– Но это еще не все-с. Не успел я, по приезде в Москву, отъявиться на Страстной бульвар, как мне подарили «Полный греческо-русский словарь», а вслед за тем общество ревнителей российского благонравия задаром свозило меня в одно из увеселительных заведений, где я слышал пение госпожи Зориной.

– Надеюсь, что ты и по этому случаю прослезился?

– Дяденька! мог ли я иначе поступить?

Я слушал эти детские признания, и сердце во мне таяло. Признаюсь откровенно, в мою голову даже заползла дерзкая и честолюбивая мысль. Ежели папа-Ненарочный был удостоен от родного города звания почетного гражданина за то, что высек Сашеньку, то отчего же бы и мне... Но, к счастью, приятное послеобеденное отяжеление заставило меня отказаться от соответствующего по сему предмету распоряжения.

Отдохнувши и напившись чаю, мы часов в десять отправились в Демидрон.

Но тут последовал целый ряд происшествий, до такой степени фантастичных, что я ничем другим объяснить их себе не могу, как разве тем, что от московского общества ревнителей российского благонравия была разослана во все петербургские увеселительные заведения особая циркулярная телеграмма, извещающая о предстоящем приезде в Петербург благородного юноши, который, будучи высечен папенькой, навсегда отказался от внутренней политики.

Уже при самом входе в сад меня поразила какая-то загадочная опрятность, вовсе несвойственная этому месту. Затем начался ряд сюрпризов. Прежде всего, когда мы подошли к кассе, чтоб взять билеты, нам объявили, что нас обоих велено пропустить даром, а товарищу моему, сверх того, предоставляется даровой билет в кресла и жетон на безвозмездное получение порции чая. Когда же мы вошли в сад, то взорам нашим представилась следующая картина: официанты в белых галстуках, взявшись за руки, стояли шпалерой и сдерживали напор публики, жадно караулившей наше появление; оркестр, усиленный несколькими посторонними хорами, гремел марш на мотив из «чижика»; несколько поодаль виднелась освещенная бенгальским огнем живая картина, изображающая аллегорические фигуры Родительского Сечения, Раскаяния и Откровенности, у ног которых корчило и издыхало на смерть пораженное Обольщение, а наверху парил гений Благонравия. Не успели мы сделать несколько шагов, как навстречу нам, в предшествии околоточного надзирателя, вышел содержатель сада, сопровождаемый девицами Филиппо и Салинас (обе были «на сей только раз» одеты в трико, наподобие древних статуй), и прочитал Сашеньке адрес. В этом адресе, рассказав подробно историю сечения и его благотворные последствия, г. Егарев объявил, что Демидрон считает себя счастливым, поднося Сашеньке диплом на звание почетного гражданина этого заведения. Причем объяснив, что звание это влечет за собой право на бесплатный вход в сад и на бесплатную же

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
порцию чая – навечно! – и вручая соответствующие документы, присовокупил:

– Почтеннейшему же родителю вашему передайте, что, не имея возможности чувствовать его лично, мы сделали распоряжение, дабы одна из шансонеток сегодняшнего репертуара была посвящена прославлению родительской спасительной строгости (действительно, шансонетка эта была в свое время выполнена, и когда речь шла о спасительной строгости, то исполнительница, девица Филиппо), так выразительно хлопала себя по ляжке, что публика просто-напросто выла).

Кончивши приветствие, г. Егарев прослезился, а в ответ ему прослезился и Сашенька. Но что было всего неожиданнее – это роль, которая выпала в этот вечер на долю девицы Филиппо. В начале церемонии поднесения адреса Сашенька был так отуманен, что все свое внимание исключительно сосредоточил на г. Егареве. Но когда адрес был уже вручен, то виновник торжества, облобызавшись с г. Егаревым, должен был, по правилам церемониала, облобызать и его ассистенток. Но едва он приступил к этому обряду, как из груди его вдруг вырвался пронзительный крик...

Что же оказалось! Что девица Филиппо некогда жила в семействе Ненарочных в качестве наставницы и первая посеяла в сердце Сашеньки семена благоденствия! Вот какими загадочными и даже, можно сказать, nepозволительными путями ведут нас судьбы для выполнения своих благих замыслов.

– Eh bien, morveux, es-tu content?[110] – спросила очаровательница после первых горячих приветствий признательности и тут же, вынудив из-за пазухи диплом на беспрепятственный вход за кулисы театра, вручила его виновнику торжества.

Я целый вечер ходил как в тумане. Я гордился моим юным другом и чувствовал, что его торжество отчасти простирается и на меня. Хотя мне не дали ни дарового билета в кресла, ни права на получение порции чая, но все-таки пустили в сад даром, а чаем, в порыве великодушия, угостил меня Сашенька – тоже даром. Сверх того, я понимал, что своим присутствием в моей квартире он, так сказать, обеспечивал мою жизненную несменяемость, а так как для меня это очень важно, то я начал даже опасаться, чтоб как-нибудь его от меня не сманили. Поэтому я с живейшим беспокойством следил, как некоторые вышедшие из лет отставные действительные статские советники, окружив его, наперерыв друг перед другом потчевали сладостями. Но беспокойство мое превратилось в настоящий испуг, когда по окончании представления к нам подошла девица Филиппо и стала уговаривать Сашеньку, чтоб он поступил в труппу Демидрона. И очень возможно, что она успела бы в своем сатанинском намерении, если б преждевременно не оскорбила сыновних чувств Сашеньки, выразившись об кузине Маше: «*Ta vieille carcasse de mère*».[111] Такой чересчур откровенный отзыв оскорбил юношу, и вследствие этого он не дал положительного ответа, а только обещал подумать.

Словом сказать, я успокоился только тогда, когда мы уже поздно ночью возвращались на извозчике домой. Вплоть до самого Невского мы молчали: он – потому что весь трепетал под наплывом новых ощущений, я – потому что не хотел нескромным словом потревожить сладостное чувство, охватившее все его существо. Но на углу Большой Морской и Невского он не выдержал и с какою-то стыдливой нежностью обнял меня.

– Ах, дяденька! как я счастлив! как я счастлив! – произнес он.

Я хотел ему многое возразить, но сдержался. И только когда мы поравнялись с Милютиными лавками, я сказал:

– Друг мой! не увлекайся! Популярность, конечно, соблазнительна, но имей в виду, что всякая популярность, хотя бы она свила себе гнездо в Демидроне, непременно источает из себя яд. И этот яд, ежели не принять против него мер...

Но он не дал мне докончить и, поцеловав меня в плечико, произнес:

– Благодарю вас, добрый дяденька! Ваши слова... отрезвили меня! Я... не боюсь больше!

И действительно, после этого мы благополучно воротились домой и разошлись каждый по своим комнатам.

Тем не менее я провел беспокойную ночь. Как ни благоденствен Сашенька, думалось

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мне, но подобные торжества могут хоть кого сбить с толку. Слава и популярность – вот две вещи, наиболее соблазнительные и в то же время наиболее ядовитые. И обеих их Сашенька достиг разом, в один вечер, достиг легко, без всяких усилий, благодаря только тому, что папенька благовременно его высек! Как бы он не изнемог, если то же явление повторится два дня сряду (мы предполагали на другой день посетить Крестовский остров). Поэтому я решился несколько изменить программу наших увеселений и сначала повезти моего юного друга в Зоологический сад, чтобы познакомить его с более отрезвляющим зрелищем кормления зверей и с зулусами. А чтобы придать этому столичному искушению больше разнообразия, предположил, сверх того, сводить Сашеньку в кондитерскую братьев Назаровых и угостить мороженым. В этих размышлениях застала меня утренняя заря, и только тогда я забылся тревожным сном.

Наутро я сообщил о моих решениях Сашеньке, и он вполне их одобрил. И вдруг он ошеломил меня вопросом:

– А до Зоологического сада не позволите ли вы мне, дяденька, сходить к Луизе Селиверстовне?

По пылающим его щекам я догадался, что речь идет о девице Филиппо, и сердце мое невольно сжалось.

– Послушай, мой друг! – сказал я, – выполним прежде первоначальную программу искушений, а посещение хранительницы твоей юности отложим до конца твоего пребывания в здешней столице! Ибо я знаю, что раз ты попадешь к Луизе Селиверстовне, она уж не выпустит тебя! И тогда может случиться, что родители, встревоженные твоим исчезновением, вынуждены будут вытребовать тебя в Пензу по этапу. Сообрази сам, не придется ли папеньке твоему вновь прибегнуть к тем мерам, которые хоть и доставили тебе популярность, но повторение коих может, однако ж, поселить недоумение в сердцах твоих сограждан!

Эта рассудительная речь не очень-то пришлась по вкусу Саше, потому что в течение ее он несколько раз то краснел, то бледнел. И будь я несколько менее энергичен в моих выводах, очень возможно, что воспоминание о Луизе Селиверстовне, облеченной в трико, пересилило бы мою нравоучительную прозу. Но когда я упомянул о возможности путешествия по этапу, он не мог не признать моей правоты...

Увы! в Зоологическом саду нас ожидало торжество еще более умиленное, нежели в Демидроне. Едва подъехали мы к решетке сада, как единодушный и радостный рев животных и птиц возвестил нас, что мы – давно желанные здесь гости. И действительно, совершилось нечто волшебное. Прежде всего, выступил вперед громадный жираф и, от лица всех своих товарищей, приветствовал Сашеньку кратко, но прочувствованно речью. Затем последовало общее представление. Мы поочередно переходили от тигра к слону, от слона к пернатым, и везде слышали самые лестные приветствия. Даже гиена вильнула хвостом в знак сочувствия, а попугаи так просто-напросто одурели и начали лопотать что-то совсем нескладное. Когда же звери умолкли, то вышел вперед начальник зулусов (впоследствии разъяснилось, что он в то же время состоит арапом в клубе художников) и объяснил собравшимся гимназистам и кадетам значение настоящего торжества. Он очень толково рассказал, в каких обстоятельствах Сашенька был высечен, как он сам сознал, что иначе поступить было невозможно, и вот за это теперь превознесен; потом похвалил энергию Ивана Алексеича и, в заключение, обратившись ко мне, присовокупил: «А ты, дядя, веселись!» Речь эта возбудила такой энтузиазм, что когда вслед за тем начался «большой танец зулусов», то вся присутствовавшая в саду молодежь вмешалась в их игры, и таким образом сам собою, без всяких мер строгости, образовался истинно семейный праздник.

Нет надобности упоминать, что ни с меня, ни с Сашеньки не было взято за вход ни копейки, а Сашеньке, кажется, даже была вручена какая-то мелочь, когда мы садились на извозчика.

Справедливость требует, однако ж, сознаться, что нынешнее торжество подействовало на Сашу несколько иначе, нежели вчерашнее. Вчера он был взволнован и стыдлив, сегодня – самонадеян и даже несколько нагл. Так что, когда я напомнил ему:

– Ну, вот если б ты давеча не послушался меня и ушел к Луизе Селиверстовне, то ничего бы этого не было! – то, к величайшему моему изумлению, он совершенно

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru развязно ответил:

– Ах, дядя, я позабыл и думать об этих пустяках! Знаете ли, какая у меня теперь мысль: давайте-ка вместе издавать газету!

И так как я, онемев от неожиданности, безмолвствовал, то он продолжал:

– Теперь самое время. Я популярен, и газета моя будет покупаться нарасхват. А за мною и вы незаметно пройдете!

Ужели и я буду вынужден высечь его! мелькнуло у меня в голове, но, по счастью, мы в эту минуту поравнялись с кондитерской братьев Назаровых, и это лишило меня возможности сообщить моей мысли надлежащее развитие.

Оказалось, что и Назаровым все было уже известно, так что и тут с нас ничего не взяли за угощение. Этого мало: когда мы возвращались домой пешком, то от самой Караванной за нами шла толпа, провожавшая нас кликами: вот благонравный юноша, который, быв высечен папенькой, навсегда отказался от внутренней политики!

Я не буду описывать дальнейших триумфов Сашеньки. В «Баварии», в «Ливадии», на Крестовском, в «Эльдорадо», в «Шато-де-Флёр» – везде он был дорогим и желанным гостем, а из Озерков тамошние дамочки даже послали на имя кузины Маши телеграмму, в которой благодарили ее за вступление в брак, плодом которого был столь благонравный сын.

Когда же исчерпался репертуар торжеств в увеселительных заведениях, то на сцену выступили учреждения и установления.

Городская дума прислала Сашеньке патент на звание почетного члена трактирной депутации.

Государственный банк дал знать, что ежели у Сашеньки имеются ветхие ассигнации, то он во всякое время может переменить их на новенькие, причем присовокупил, что по предъявлении таковых выдается из разменной кассы банка соответствующее количество рублей серебряною или золотою монетою.

Общество взаимного кредита уведомило, что Сашенькины деньги могут быть без опасения помещены в оном на текущий счет, так как отныне растраты перестали быть для общества обязательными.

Из участка пришел запрос: не примет ли Сашенька место паспортиста?

И проч., и проч.

Словом сказать, депутации сменяли одна другую, и всякая выражала Сашеньке свое удивление и благодарность за то, что он, быв высечен папенькой, навсегда отказался от внутренней политики...

К сожалению, по мере того как росла Сашенькина слава, сам он становился все более и более самонадеянным. Нервы его уже притупились, а развязность дошла до того, что он начал требовать от депутатов каких-то статистических сведений, и когда они, натурально, не умели удовлетворить этому требованию, то он откровенно называл их фофанами. И, к довершению всего, мысль об издании газеты не только не оставила его, но даже вполне в нем созрела, так что однажды он совсем уже грубо спросил меня:

– Что же, дядя? Надумались ли вы насчет газеты? Предупреждаю вас, что если вы будете мямлить, то я решусь издавать один!

Тогда я понял, что времена созрели, и, призвав на помощь всю силу родственной любви, на которую способно мое сердце, воскликнул:

– Ну, Саша! воля твоя, а в видах твоего же собственного спасения, я должен высечь тебя!

ПЕРВОЕ ОКТЯБРЯ

Для писателя нет большей награды, как иметь публику, которая настолько ему верит, что даже от времени до времени удостаивает его непосредственным с собою

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru общением. Я могу считать себя одним из таких счастливицев. Говорю об этом не ради хвастовства, но именно потому, что горжусь. Уверенность, что есть существо, которое откликается на вашу мысль и волнуется вашими волнениями, которое в вашей работе видит не балагурство, а убежденность, которое понимает, что служение литературе есть путь трудный и до известной степени даже сопряженный с калечеством, – эта уверенность, говорю я, не только приятная, но почти равняющаяся наслаждению. Наглотавшись от представителей современного русского критиканства разных эпитетов, вроде «непочтительного хама», «балагура», «бессознательного шута», «ругателя» и т. д., приятно убедиться, что эпитеты эти не пользуются симпатиями в среде читающей публики. И я воистину имел возможность убедиться в этом, потому что, за все время моей литературной деятельности, отношения ко мне читателей имели характер почти исключительно благожелательный и симпатичный. Только два раза (один раз по поводу «Дворянской хандры», в другой раз не помню, по какому поводу) неизвестные корреспонденты писали мне: замолчи... бесполезный старик! И, помнится, я даже серьезно задумался над этим предостережением. В самом деле, думалось мне, не пора ли это занятие прекратить? Ведь настоящего-то слова, как ни бейся, все-таки не выговоришь, так не лучше ли попросту без затей замолчать?. Но, сообразив все доводы pro и contra, [112] я решил иначе. Очень возможно, сказал я себе, что «старикам» действительно приличнее думать о смертном часе, нежели о собеседованиях с живыми людьми, но ведь для дела тогда только бывает полезно, что вышедший из лет рабочий снимает с себя тягло, когда на место его уже явился новый рабочий, а, пожалуй, и целых два. Но в современной русской литературе мы видим явление совершенно противоположное: новые рабочие силы появляются туго, а старые сходят с арены сами собой, естественным путем. Стало быть, ежели, сверх того, старые тягольники будут еще добровольно обрывать себя на молчание, то, пожалуй, литература совсем течение свое прекратит, и останется одно цензурное ведомство. А сверх того, и то еще сдается, что старики не всё же одни праздные слова говорят. Иногда выдастся что-нибудь и не бесполезное: воспоминание, справка, забытый, но не лишний, по обстоятельствам, образ и т. д. Ужели все это уже такой ненужный сор, который заслуживает только укора? Словом сказать, взвесил, рассудил и решил дело в свою пользу, то есть стал продолжать писать.

Но как ни приятно, что читатели удостоивают меня доверием, а некоторые даже приносят жалобы и требуют распоряжения по оным, нужно сознаться, однако ж, что я не всегда и не все властен сделать. Для меня это тем необходимее объяснить, что, не имея в своем распоряжении канцелярии, я не могу быть вполне исправным корреспондентом и, вследствие этого, рискую подвергнуться упрекам в нерадивости и бездействии власти, совершенно мною незаслуженным, что со мною однажды уж и случилось.

Я помню, в период так называемого обличительного направления моей литературной деятельности я был буквально завален всякого рода жалобами на несправедливые и несогласные с интересом казны действия различных ведомств.

И жалобы эти были не голословные, но поддерживались фактами, о которых и сообщалось, на предмет «отделки» в ближайшем «обличении». К сожалению, однако ж, я никаких существенных распоряжений к удовлетворению этих жалоб сделать не мог. С одной стороны, факты, изолированные от жизненной обстановки, которая их породила, представляют настолько скудный материал для воспроизведения, что я совершенно не мог воспользоваться ими для моих литературных работ, а с другой – я не имел в своем распоряжении подчиненных, при посредстве которых мог бы, по произволению, восстановить нарушенное право. Поэтому мне оставалось только указывать, что с подобными жалобами надлежит обращаться не ко мне, а в правительствующий сенат.

Понятно, однако ж, что такого рода указание не могло не подействовать на моих доверителей разочаровавающим образом. Вероятно, многие из них сказали себе: эге! ты, видно, прыток, а не силен! а другие прямо заподозрили, что я не то чтобы не могу, а не хочу, или, лучше сказать, берегу свою шкуру. Пошла худая молва, и хотя публика продолжала благосклонно относиться к моим трудам, но вера в могущество обличительного дела уже прекратилась. А вместе с тем, временно переমেжилось и непосредственное общение между мною и моими доверителями.

Наступил период затишья, в продолжение которого я очень страдал. Доверители уже не обращались ко мне с жалобами, но по-прежнему начали кому следует барашка в бумажке предлагать, приговаривая: этак-то будет прочнее. Выходило, что я как будто только спутал их: научил фордыбачить и кобениться, а как это фордыбаченье

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru отстоять – средств не преподал. Ходили даже такие слухи, что многие, увлеченные моими обличениями, до такой степени оплошали, что впоследствии вынуждены были целыми стадами отчуждать баранов, лишь бы восстановить потрясенную фордыбаченьем репутацию. Все это, повторяю, серьезно огорчило меня, и хотя совесть моя оставалась спокойной, но я все-таки не считал себя вправе не воспользоваться уроком.

Я сказал себе: доньше я обличал мздоимцев и казнокрадов, но, в противоположность всем моим намерениям, произошло нечто совсем неожиданное: обличения не только не прекратили мзду, но даже удесятирили размеры ее. Правда, что одновременно и экономические условия чиновнического быта значительно осложнились, но главную причину увеличения мзды все-таки составляло обличение. Определяя размеры предстоящего приношения, мздоимец говорил: вот эта часть – по бывшим примерам, вот эта – по случаю увеличения цен на съестные припасы, а вот эта – на случай обличения. Причем последняя доля, наверное, равнялась семи десятым общей суммы приношения. Все это прямо указывало, что мздоимцев следует оставить в покое, по крайней мере, до тех пор, пока между ними и обывателями не состоится полюбовное соглашение, которое на прочных основаниях установит их взаимные отношения.

Сказано – сделано. Но вопрос: о чем же писать? Однажды мысль потревожена, надо дать ей пищу – какую? Вот тогда-то именно я и принял решение, при котором остаюсь и до сих пор: писать так, чтобы всем было одинаково приятно, и мздоимцам, и партикулярным людям.

Наша изба не одними мздоимцами красна; и между обывателями достаточно выжиг найдется, которых ежели начать перебирать, то, наверное, читатель останется доволен. Дерунов, Неугодов, Разуваев, Балалайкин – каких еще героев надо! Отечество продают, присных обездоливают, жен и дев в соблазн вводят – ужели так им это и простить?

А сверх того, и еще: очень уж жить тяжело становится; почти противно. И не от того одного, что харчи с каждым днем дорожают, а и от того, что вообще как-то не по себе. Все думается: когда же нибудь, однако, она начнется, эта самая жизнь, а она, вместо того, только пуще да пуще вглубь уходит. Пожалуй, так, наконец, схоронится, что и отыскать нельзя будет. Как хотите, а это тоже сюжет, о котором, хоть и без пользы, но все-таки можно поговорить...

Я знаю: критиканы, обзывающие меня балагуром, сейчас же изловят, меня. Зачем, скажут, ты вклеил фразу «хоть и без пользы»? ведь это ты сбалагурил? – нет; я не сбалагурил; напротив, я совершенно искренно и серьезно убежден, что, по нынешнему времени, говорить можно именно только без пользы, то есть без всякого расчета на какие-нибудь практические последствия. Но для чего ж тогда говорить? А для того, милостивые государи, чтобы от времени до времени напоминать самому себе, что дар слова не есть

Дар напрасный, дар случайный, –

но действительное отличие человека от бессловесных. Только для этого.

И вот, настроивши лиру, я начал бряцать. И чем больше бряцал, тем шире растворялись сердца и прочнее восстанавливалось интимное общение, которое временно пошатнулось под влиянием тщеты обличений. Должно быть, в сердцах читателей порядочно-таки наболело; должно быть, и им по горло надоели все эти неуклонные осуществители самоновейших принципов современности, эти проворные хищники, от которых ни в какую нору нельзя уйти, чтоб они не заползли следом и не присосались. Да надоел и самый жизненный процесс. Не живешь, а в оцепенении движешься, словно выморочное имущество, которым всякий встречный помыкает, покуда, наконец, не выйдет решение: имущество сие, яко выморочное, отписать в казну.

Нет спора, что перспективы, на которые я указываю, не весьма заманчивы, но коль скоро они не отталкивают, но привлекают партикулярного человека, то это значит, что последний сам видит их неизбежность, сам болеет теми же болями, какими болею и я. Наш недуг общий, только он не для всех и не всегда ясен, и, в большинстве случаев, он выражается лишь в смутном сознании, что человека как будто не прибывает, а убывает. Но когда причины, обусловливающие тревогу, выясняются, то это не только не раздражает, но даже в известной степени смягчает причиняемое недугом страдание. Ибо уже в самом указании признаков недуга партикулярный

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru человек почерпает для себя косвенное облегчение. Помилуйте! доньше он изнывал, как слепец, а отчасти даже суеверно трепетал перед обстановкой своего недуга, считая ее неизбежною, от веков определенной, – и вдруг, благодаря объяснениям, смещения эти устраняются! Явления утрачивают громадные пропорции, которые так давили воображение, и размещаются в том порядке, в каком им естественно быть надлежит... Ужели это не утешение? ужели не утешение сказать себе: сначала – ясность, а потом – что бог даст?

.

В сентябре я получил целую массу писем, которые доказали мне, что публика именно с этой точки зрения относится к моим посильным литературным трудам. Моя хроника «Первое августа», по-видимому, произвела свое действие, то есть заставила даже таких упорных противников, как Тарас Скотинин и Дерунов, признать за моими писаниями некоторую пользу. Из числа этих писем, я позволяю себе привести здесь только несколько наиболее характерных.

«Руку, земляк! Собственность признаешь, семейство приемлешь, государство чтишь – на что лучше! Разумейте языцы – и разговору конец!

Так, сударь, и надо. Ах, очень нынче нужно об собственности почаще напоминать, ибо весьма на сей счет в нашей местности слабо стало. Даже племянник мой, Митрофан, и тот оными идеями заразился, и вот уж который год мы оба из камеры мирового судьи не выходим, всё судимся. По сей причине даже в Петербург сколько раз надумывал ехать: хочется от хороших адвокатов узнать, не могу ли я, как старший в роде, Митрофана в смирительный дом посадить? Сказывают, у вас такие адвокаты есть, которые могут доказать, что старшие даже сечь младших право имеют, но я сего уж не добиваюсь, а хотя бы в смирительный дом. Наши же пензенские адвокаты на сей счет трояко говорят: ежели я больше дам, то якобы можно; если Митрофан больше даст, то якобы нельзя; а ежели я еще больше дам, то и опять выходит, что «можно». Так что и семейный союз будто бы от того зависит, кто лишний полтинник даст!

Да, слабо нынче вообще – это вы верно, мой друг, угадали. С тех пор как объявили ядовитую оную волю, и собственность, и семейство – все врозь пошло, а об государстве даже и не знаем, что сей сон означает. Еще в Пензе мы, по мере сил, крепимся, а что в соседней Саратовской губернии и в Войске Донском по сему случаю творится – даже я, Тарас Скотинин, без слез взирать не могу! Уж на что сестрица моя, госпожа Простакова, – и та с тех пор, как в балашовское свое имение переехала, сейчас же против священных сих основ вооружилась! Начала с того, что Митрофана прокляла, а ныне и на меня, старшего брата своего, войною пошла! Имел я с нею процесс о земле и, благодарение богу, успел ту землю в первой инстанции законным образом у нее оттягать. И что ж бы вы думали! вместо того чтоб покориться воле божьей и беспрекословно мне землю из рук в руки передать, а я бы ей, всеконечно, до смерти ее в доме моем приют дал, она подала на апелляцию, а Митрофан, сверх того, научил еще и прокурору заявление подать, будто бы с моей стороны подлог в деле сем совершен. И ныне, по апелляции, вновь это дело рассматривается, а обо мне следствие производится! Так вот в каком положении находится в Саратовской губернии семейный союз!

Итак, по сему случаю, а равно и по другим подобным, предвижу необходимость быть в Питере. Может быть, у вас насчет сего покрепче. И непременно у тебя, земляк, остановлюсь: авось-либо в литераторских палатах для старого друга угол найдется. Ведь, по правде-то сказать, мы не только земляки, но и родные: все от одного древнего Прогореловского рода линию-то ведем, и все одинаково с 61-го года в подсудимых значимся!

Тарас Скотинин».

«По приказанию его превосходительства г. действительного статского советника Рудина, имею честь Вас, Милостивый Государь, уведомить, что выраженные Вами в статье-хронике «Первое августа» чувства, относительно собственности, семейственности и государственности, признаются его превосходительством вполне с обстоятельствами дела сходственными и одобрения достойными.

Делопроизводитель Лаврецкий».

Сбоку приписано рукою г. Лаврецкого: «Считаю приятным долгом с своей стороны

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru присовокупить, что объяснения Ваши произвели столь благоприятное впечатление, что его превосходительство вызвал к себе автора огорчившей Вас статьи «Наши охранители и наши прогрессисты» и просил его, в личное для себя одолжение, из списка неблагонадежных элементов Вас исключить. На что и получено благосклонное уверение, что надлежащее по сему предмету распоряжение будет немедленно сделано».

«Душка Щедрин!

Вот в чем дело, расскажу поскорее. Когда умер папаша, ничего после него не осталось; даже дом наш в Миргороде – и тот оттягал ненасытный Довгочун. И вот я переехала на житье к тетеньке феодулии Ивановне Собакевичевой, которая, после смерти дяденьки, осталась совсем одна, потому что, во время воли, все дворовые, а в том числе и верный Неуважай-Корыто, разбежались. И вот приезжает к нам прошлою осенью Павел Иванович Чичиков и говорит, что теперь он уж адвокат и ездит по помещикам, разузнаёт, нет ли у кого процессов. И вот тетенька ужасно ему обрадовалась и говорит: можете ли вы похлопотать, чтоб крепостное право хотя на тех вновь распространить, которые для прислуг и полевых работ необходимы, а прочие чтобы оброк платили? И он охотно на это согласился, и доверенность тут же написали, а марки он с собой гербовые возит – стоит только послушать, и делу конец. И вот тетенька сорок рублей задатку дала, а ночевать ему отвели ту самую комнату, в которой он в 1841 году ночевал. И адрес, уезжая, он нам оставил: «С.-Петербург – Москва, на станции, спросить буфетчика Петра, а вас, милостивый государь, прошу передать кому знаете». И как у нас нет прислуги, то мы поверили. И вот мы ждем. И вот через девять месяцев у меня рождается сын. А так как он взял вперед сорок рублей денег, то я и поверила, что будет твердо, он же хоть бы строчку написал, а между прочим, и насчет сына – разве это не подлость? И вот теперь за меня хороший человек сватается, Мижув-Фетюк, и с сыном вместе берет, а я боюсь, и тетенька боится: вдруг ежели Павел Иванович приедет! А теперь нам говорят, что Павел Иванович все это на смех сделал и адрес будто бы фальшивый оставил – ведь это такая уж подлость, что мы с тетенькой думаем: неужто и этому верить? И вот мы не знаем, как в этом случае быть, потому что мы женщины, а для женского пола, говорят, закон не писан. Даже Неуважай-Корыто – и тот нас оглашенными называет, и мы не возражаем, боимся, как бы не вышло хуже. И вдруг тетеньке мысль пришла: напишем, говорит, к г. Щедрину! Он так собственность и семейство уважает, что непременно за нас заступится! А об государстве, говорит, покуда не проси! и так как-нибудь по женской своей должности проживем!

И вот я беру перо.

Душка! чудесный! голубчик! Нельзя ли все это в смешном виде представить, но так, чтобы Павел Иванович непременно прочитал! Я уверена, что если вы захотите, то он раскается и опять к нам приедет. А комната у нас для него готова. А ежели он по тетенькиной доверенности ничего не выхлопотал, все-таки пусть приезжает или, по крайней мере, пусть хоть письмо пришлет, могу ли я за господина Мижуву выйти? А я как вам буду за это, голубчик, благодарна... вот увидите!

Ваша по гроб Гапочка Перерепенкова».

«Милостивый Государь.

Прочитав Вашу статью «Первое августа», я с удовольствием известился, что Вы собственность признаете, семейство приемлете, государство чтите. Посему, ежели при известном свидании, [113] в разговоре насчет армий и флотов, что-нибудь ненарочно сказалось, в том прошу великодушно меня извинить, отнеся оное насчет моей простоты.

При сем нелишним, однако ж, почитаю представить на благоусмотрение Ваше нижеследующие мои соображения:

Пишете Вы, Милостивый Государь, что негоциант, ежели доподлинно собственность чтит, обязан дела свои в таком виде иметь, чтобы ежечасно быть готовым во всяком рубле перед публикою чистосердечный отчет дать. Откуда тот рубль пришел и как составился? сколько в нем копеек законного прибывка и сколько – грабежа? С своей стороны, не отрицая пользы, которая от такового чистосердечия произойти может, позволяю себе возразить лишь то, что, по званию нашему, одно что-нибудь: или дела делать, или отчеты отдавать. Ибо звание наше на этот счет довольно-таки строго, так что, если нужное для операций время мы станем употреблять для

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru чистосердечиев, то операции запустим, а чистосердечиями никому удовольствия не предоставим.

Второе, пишете Вы, ежели который человек свою собственность блюдет, тот должен и чужую наблюдать – то и сие весьма приятно. Но позвольте Вам доложить: ежели я буду о собственности публики скорбеть, то не последует ли от сего для меня изнурения? а равным образом, не даст ли оно партикулярным людям такой повадки, что мы, дескать, будем праздное время проводить, а Дерунов за всех нас стараться станет? А награда – на небеси-с?

И еще замечаете Вы, что негоцианты, по роду своих занятнее, больше в Кунавине, нежели в семействах своих, время проводят, то и сие справедливо. Думается, однако ж, что ежели мы оный род занятий покинем, то как бы нам, в ожидании других занятий, и вовсе при одном Кунавине не остаться.

Что же касается наставления Вашего, что необходимо первее всего отечество свое любить и в пользу оного жертвовать, то сие, безусловно, верно. И мы любить оное готовы, только не знаем, как. Посему, если бы начальство нас в сем смысле руководило и прямо указывало, на какое полезное устройство жертвовать надлежит, то, мнится, великая бы от сего польза произошла.

С истинным почтением и таковою же преданностью имею честь быть и проч.

Иосиф Дерунов».

«Милый cousin! Что такое ты написал, будто бы нынче мужчины больше в Кунавине, нежели в семействах, время проводят? Что такое Кунавино? Я просила Филофей Ивановича мне объяснить, но он говорит, что даме таких вещей знать не следует. Но отчего же? Объясни мне, пожалуйста, потому что, ежели я не буду знать, то все стану бояться, что вдруг Филофей Иванович уйдет от меня в Кунавино. И я останусь без него.

Что касается до меня, то я очень счастлива. Одно только тревожит: денег мало. Сколько раз хотела обратиться к тебе, но Филофей Иванович, прочитав твою статью, говорит: коль скоро братец об собственности стал поговаривать, то вряд ли он склонность к одолжениям сохранил. А я так думаю, что совсем напротив... Cousin! милый! только тысячу франков... можно?

Но как ты это хорошо сказал: «чужую собственность блюди, а свою – соблюдай!» – именно, именно так! И откуда ты такие тонкие замечания почерпнешь! Филофей Иванович прямо говорит: если бы все так было, как братец предположил, то ни мы, ни другие ни в чем бы не нуждались, и у всех было бы всего довольно! Не правда ли... милый?

A toi de coeur

Nathalie». [114]

«Прекрасно. Собственность признаешь, семейство – приемлешь, государство – чтить! А о святой церкви и служителях ее... позабыл?

Иерей».

Я полагаю, этих образцов достаточно. Имея в свою пользу столь бесспорные свидетельства симпатии, я смело могу смотреть в глаза будущему, не опасаясь даже загадочного присовокупления насчет церкви и ее служителей, которым меня почтило лицо, скрывшее себя под псевдонимом «Иерей».

ПЕРВОЕ НОЯБРЯ

Как ни страстно привязан я к литературе, однако должен сознаться, что по временам эта привязанность подвергается очень решительным испытаниям.

Когда прекращается вера в чудеса – тогда и самые чудеса как бы умолкают. Когда утрачивается вера в животворящие свойства слова, то можно почти с уверенностью сказать, что и значение этого слова умалено до металла звенящего.

И кажется, что именно до этого мы и дошли.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
По старой, закоренелой привычке я как-то невольно обращаюсь к сороковым годам и там отыскиваю примеров для сравнений. Не потому, чтобы я был пристрастен к этой эпохе, видевшей мою молодость (я слишком часто говорил о слабых ее сторонах, чтобы быть заподозренным в пристрастии), а потому, что тогда, сдается мне, воистину существовала вера в чудеса. Правда, что она действовала в сфере довольно ограниченной и не выходила из пределов очень тесного кружка, но мы, юноши того времени, мы, члены этого кружка, несомненно ощущали на себе действие этой веры. Мы пламенели, сгорали и чувствовали себя обновленными.

Я заранее готов согласиться, что воспитательное влияние литературы сороковых годов было не особенно прочно, что оно почти не проникло в жизнь, не создало в последней школы, богатой образцами. Я знаю, что бывшие слушатели лекций Грановского слишком легко освобождались от университетских преданий и почти незаметно превращались в самых заурядных помещиков, в чиновников-формалистов и даже в писцов, служителей крепостных дел. Все это, с практической точки зрения, конечно, представляло результат довольно обидный; но если даже предположить, что вера, о которой я говорю, составляла исключительное достояние одной литературы, то и это уже был хороший залог.

И чиновники, и помещики, и крепостные дела – все это преходит, тает, яко воск, и исчезает, яко дым. Одна литература – не преходит и не исчезает, и это свойство непреходимости сообщает ее свидетельству особенную неотразимость и непререкаемость.

Вера в чудеса помогла литературе сороковых годов отыскать известные идеалы добра и истины, благодаря которым она не задохлась; она же создала те человеческие предания, ту честную брезгливость, которые выделили ее из общего строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною из-под ига всевозможных давлений. Все это было настолько характерно и плодотворно, что, по мнению моему, в этом одном можно без особой натяжки видеть своего рода практический результат (а именно в практической безрезультатности преимущественно и обвиняют литературу сороковых годов). Идеалы и предания, о которых идет речь, не изгибли и теперь. Все книги сороковых годов полны ими, и желающие возобновить их в своей памяти могут удовлетворить этому желанию очень легко, обратившись к этим книгам. Конечно, идеалы эти для настоящего времени несколько устарели и представляются уже недостаточными, но ежели содержание идеалов и подлежит критике, то отношение к ним литературы и доньше остается в высшей степени поучительным. Это то страстно-убежденное отношение, которое даже в мертвые тела вливает дух жив, который даже пустыню призывает к жизни. Так что если бы современные литературные деятели несколько чаще справлялись с кладбищем сороковых годов, то нынешняя литература не только не проиграла бы от того, а, напротив, очень многое выиграла бы. По крайней мере, я совершенно искренно убежден, что холодная остервенелость, которая ныне является единственным средством для оживления страниц и столбцов и для возбуждения в читателе вожделения, исчезла бы сама собой и дала бы место стыду.

Но, кроме этого практического результата, был и другой, не столь решительный, но зато более непосредственный.

Несмотря на свою изолированность, несмотря на полное отсутствие воинствующих элементов, литература сороковых годов, в сущности, не оставалась без влияния и на большинство тогдашней интеллигенции. Как ни испорчены и ни себялюбивы были представители этой интеллигенции, но в молодых ее отпрысках уже можно было подметить некоторые несомненные пробуждения, замечательные по своей мучительной искренности. Создался особенный тип «лишних» людей, не только скептически относившихся к своей внутренней цельности, но и положительно изнемогавших под игом двоегласия, источником которого была, с одной стороны, литература, а с другой – жизнь. Этот тип был в свое время очень усердно разрабатываем литературой, но он не был выдуман ею, а прямо выхвачен из жизни. Правда, что от этих изнемоганий и самобичеваний практически не было никому ни тепло, ни холодно и что, в большинстве случаев, они были скоропреходящи, но сами по себе люди, страдавшие двоегласием, все-таки представляли известную долю симпатичности. Сравните эти страдания внутреннего двоегласия с несомненною целостностью современных проворных людей, которые, с хладной пеной у рта, даже любовь к отечеству готовы эксплуатировать в пользу продажи распивочно и навывнос, – и вы почувствуете, что ежели не особенно лестно было жить в обществе людей, прямо называвших себя «лишними», то все-таки не так несомненно мерзко, как жить в обществе людей, для которых все уже до того паскудно ясно, что представление о

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru рубле, в смысле привлекательности, уступает лишь представлению о таких же двух, а если больше, то, разумеется, и того лучше.

А наконец, был и еще практический результат, который и до сих пор говорит сам за себя: идеалы сороковых годов, несомненно, послужили подспорьем при разрешении крестьянского вопроса и осуществления прочих реформ шестидесятых годов.

Словом сказать, литература сороковых годов уже тем одним оставила по себе неизгладимую память, что она была литературой серьезно убежденной. Не зная никаких свобод, ежечасно изнемогая на прокрустовом ложе всевозможных укорачиваний, она не отказывалась от своих идеалов, не предавала их и не говорила себе в утешение: жив курилка, не умер! ибо «курилка», собственно говоря, даже жив не был, а только едва-едва тлелся.

Каким образом случилось, что убежденность исчезла, что влечение к идеалам сгнуло, что традиция литературной брезгливости оборвалась и осталось только одно радование о том, что курилка не умер, – это объяснить нелегко. Почему-то мы проглядели этот переход, проглядели, сами не знаем как: не то за действительным расширением задач, не то за наплывом бесчисленных пустяков. Достоверно одно: что литература воистину получила доступ к практической жизни и что это действительно и в значительной мере освободило ее от той тяжелой изолированности, которая искони несносным кошмаром тяготела над ней.

Это было явление совершенно новое, и так как литература устремилась к нему с пылкостью, то многие думают, что именно это общение с низменностями жизни и повлияло на нее развращающим образом. Что касается до меня, то я не только не согласен с этим толкованием, но даже положительно утверждаю, что оно свидетельствует о совершенном незнании истинных задач литературы. Изолированность, конечно, имеет свою красивую, а отчасти и полезную сторону, потому что она ставит литературу в положение жены цезаря, которой не должно касаться даже подозрение в податливости, но было бы в высшей степени неестественно и даже оскорбительно, если б эта же самая изолированность сделалась бессрочной и составила бы окончательную цель существования литературы. Изолированность есть все-таки не более как безмолвный ответ пленного заложника, не могущего ничем иным протестовать против глумлений торжествующей современности; понятно, что литература не могла считать этот удел для себя ни завидным, ни желательным. Отчуждая себя от жизни, она только обрекала себя, так сказать, на зимнюю спячку, но при этом отнюдь не теряла из виду, что при первых лучах весеннего солнца она, несомненно, пробудится для бодрствования. И вот эти лучи показались, а вместе с ними пришло и общение с жизнью. Это общение всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы; оно одно может вывести ее из оцепенелости, оно одно даст ей возможность перейти из области страдательной брезгливости в область воздействия и осуществления тех воспитательных целей, которые составляют основной смысл ее существования. Общение не могло ни умалить ее идеалы, ни тем менее упразднить их. Совсем напротив. Как бы ни были низменны интересы современности, литературные идеалы уже по тому одному не могут пострадать от прикосновения к ним, что интересы эти все-таки принадлежат тому униженному и оскорбленному человечеству, нравственное оздоровление которого составляет благороднейшую мечту благороднейших умов. Одним словом, в этих низменностях идеалы литературы (хотя бы даже и отрицательным путем) могут найти для себя лишь поправку, опору и развитие, но никак не смерть.

А между тем мнение, что идеалы пошатнулись и вера в чудеса упразднилась, все-таки остается истиною. Но причину этого явления следует искать совсем не в общении литературы с жизнью, а скорее в тех чересчур своеобразных формах, в которых осуществилось это общение.

На деле как-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь поступилась литературе не существенными своими интересами, не тем внутренним содержанием, которое составляет источник ее радостей и горестей, а только бесчисленной массой пустяков. И в то же время сделалось ясным, что старинный афоризм «не твое дело» настолько заматерел и въелся во все закоулки жизни, что слабым рукам оказалось совершенно не под силу бороться с ним. И таким образом в конце концов оказалось, что литература искала общения с жизнью, а обрела общение с пустяками, – какая неожиданность может быть горчее и чувствительнее этой?

Нашлись, разумеется, личности, которых такой оборот поверг в уныние, но большинство литературы примирилось с ним. С пустяками живет вольнее и

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru безопаснее, да и рассуждать о пустяках легче: не нужно ни задумываться над работой, ни подготавливаться к ней. Пустяки быстро наворачиваются и столь же быстро отскакивают, не оставляя по себе никаких «сердца горестных замет». Сверх того, пишущему о пустяках всегда кажется, что он находится в центре если не настоящего дела, то, по крайней мере, той неусыпающей деловой сутолоки, которую очень легко искусственно взбудрить и под флагом благонамеренности выдать, пожалуй, и за настоящее дело. Словом сказать, литературный труд настолько же облегчился, насколько упростились и самые задачи литературы, и, благодаря этому, число желающих окунуться в море пустяков с каждым часом умножается и растет. Удивительно ли поэтому, что, имея таких проворных деятелей, литература и сама до того всецело прониклась пустяками, что, в случае оскудения пустяков реальных, она нимало не стесняется этим, но творит свои собственные, самостоятельные пустяки.

Как бы то ни было, но пришлось убедиться, что спастись от пустяков уже по тому одному невозможно, что литература сама сделала для себя невыносимым возврат к прежней брезгливой изолированности. С одной стороны, изолированность приобрела какой-то неблагоприятно-подозрительный характер, с другой – школа юрких практикантов как-то чрезвычайно быстро создала совсем новую публику, которая, в свою очередь, ничего не хочет знать, кроме пустяков. Одним словом, и литература и публика так удачно спелись, что обе в самый короткий срок уподобились той низменной адвокатуре, которая подстерегает пропущенные сроки и несоблюденные формальности, подсиживает противные стороны внезапными закорючками и в этом усматривает осуществление правды и справедливости.

Итак, убежденность оказывается подозрительной, вера в чудеса – ненужной и смешной, а между тем литературное ремесло все еще продолжает быть обязательным. Это тоже своего рода двоегласие, и на этот раз не имеющее ни тени барской привередливости, а прямо безнадежное, мрачное.

Я назвал литературное ремесло обязательным не потому единственно, что оно представляет наилучшее орудие для служения общественным интересам, но также и потому, что оно, сверх того, дает известное материальное обеспечение.

Каким образом человек становится литератором, в какой мере в этой метаморфозе играет роль призвание и действительная талантливость и в какой – простая случайность? – это вопрос, который я разрешить не берусь. Да и не в нем дело, а в том, что раз человек занял место в литературных кадрах, он, силою вещей, останется навсегда прикованным к этому месту.

Во-первых, никакой труд так не привлекателен, как труд умственный. Конечно, бывают исторические моменты, когда умственный труд не в особенном авантаже обретается, но ведь в такие моменты и весь вообще жизненный уровень сводится к нулю. Стало быть, называться литератором все-таки лестнее, нежели слыть партикулярным шлющимся человеком. Во-вторых, занятие литературой создает известные привычки, предполагает излюбленные связи и даже специальную обстановку, которую нарушить не только трудно, но и мучительно. В-третьих, даже разработка пустяков представляет довольно сложный процесс, в котором имеются свои отправные пункты, а следовательно, предполагаются и выводы. И человек, принявший этот процесс, непременно увлечется им настолько, что будет дробить и множить свои пустяки до бесконечности, и все-таки ему будет казаться, что он не все еще вычерпал, а вот уж такую глыбу выкатит, которая все доселе известные пустяки в ничто обратит. А в-четвертых, повторяю: не последнее значение имеет в этом случае и материальный вопрос...

Таким образом, дни проходят за днями, а литератор все остается прикованным к своему посту.

Он остается тут, хотя убежденность представляется подозрительной и вера в чудеса – смешной. Но, в таком случае, во имя чего же и зачем он, верующий в чудеса, продолжает держаться и действовать в этом странном помещении, где нет ни убежденности, ни чудес?

Пустяки – противны; общие принципы – недоступны. Или, виноват: последние, пожалуй, по временам и прорываются, но окутанные такою непроницаемою сетью бесчисленных околичностей, которые самое ремесло проведения принципов делают почти безнравственным.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Во имя чего же? Зачем?

Ужели только во имя того и затем, чтобы есть хлеб и в то же время защитить свою шкуру? и чтобы иметь легкомысленное удовольствие сказать: жив курилка, не умер?

Но ведь это-то именно и омерзительно.

Год приходит к концу, страшный год, который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского. Даже в худшие эпохи ничего подобного этому злосчастному году летописи русской жизни едва ли представляли.

Вместе с тем кончаются и мои периодические беседы с читателями. В первоначальном намерении беседы эти должны были отражать в себе злобу дня и в то же время служить поводом для воспроизведения некоторых типов, которые казались мне небезынтересными. Я должен, однако ж, сознаться, что ни того, ни другого я не выполнил.

В моих литературных работах юмористический элемент является преобладающим; но после таких дней, как 2 апреля и 19 ноября, право, не до юмора. Поэтому многое в моих беседах оказалось невыясненным, прерванным и даже прямо недоконченным. Мне казалось, например, что не только любопытно, но даже и необходимо поставить читателя лицом к лицу с такими типами, как Феденька Неугодов или Сашенька Ненарочный, которые, каждый с своей точки зрения, претендуют на оседлание отечества; сверх того, мне сдавалось, что и самое изображение процесса «оседлания» может быть бесполезно; но какая же возможность выполнить подобные задачи, ввиду такого угнетенного настроения, в котором находится общество? Литературное занятие, как бы ни скромно было его значение, прежде всего требует спокойствия и некоторой уверенности в том, что оно не стоит вразрез с веяниями минуты; но ни этого спокойствия, ни этой уверенности я не имел. А потому и для меня самого в значительной мере утратилась ясность тех типов и представлений, которые первоначально казались совершенно определенными. Там, где надо было говорить без умолчаний, я ограничивался намеками; там, где надо было прибегнуть к действительному исследованию, я просто-напросто обходил.

Я не скажу даже, что в этом случае главную роль играло внешнее давление. Конечно, не было недостатка и в нем; но, главным образом, все-таки действовала общая внутренняя пригнетенность, которая пришла как-то сама собой. Не я один признавал себя пригнетенным, но всякий, в ком злоба дня не до конца притупила способность мыслить. И, разумеется, в том числе сознавала себя пригнетенною и литература.

Я знаю, что в этом общем хоре уныния, почти граничащего с безнадежностью, раздавались и другого рода голоса, голоса звонкие, уверенные, даже как бы почти торжествующие, но, признаюсь откровенно, эта звонкость не только не прибодряла меня, но даже почему-то казалась зазорною. Есть явления, которые до такой степени захватывают общество в его настоящем и будущем, что перед ними должно умолкнуть самое звонкое пустословие. Если же оно не только не умолкает, но тут-то именно и выпускает целые массы бессодержательнейшей канители, то из этого вовсе не следует, чтобы это был пример, достойный подражания. Напротив того, я совершенно искренно убежден, что это канитель не только бессодержательная, но и прямо злобная.

Люди наивные, искренние, выражающие свои чувства в мере своего понимания и развития, несомненно всегда заслуживают уважения. В этом случае формы не играют никакой роли, и критика не имеет права не только оценивать их, но даже просто прикасаться к ним. Они наивно-правдивы – вот все, что можно об них сказать. Но ужасно, когда овечий образ принимают на себя сущие волки и когда эти волки, под формами звонкого пустословия, желают прикрыть не только личное бессилие и бессердечие, но и всевозможные корыстные и низменные цели, которые заграждают перед их глазами свет божий. Вот этих-то волков в овечьей шкуре развелось в последнее время так много, что начинает уже рождаться сомнение, не заполонят ли они литературную ниву вконец.

Я не буду здесь приводить примеров – бог с ними! не до примеров теперь! – но скажу прямо, что иногда делается ужасно неловко. Читаешь и думаешь: ужели это те самые буквы, те самые слова, употребление которых до сих пор казалось вполне естественным?

Поэтому когда я на днях прочитал в одном журнале, что унылый тон, господствующий в современной русской литературе, доказывает, что литература эта не стоит на высоте своего призвания, ибо ей надлежит ободрять общество, а не вливать в него яд меланхолии, то, признаюсь, крайне был удивлен. Неужто уныние так легко превращается в бодрость и, наоборот, что стоит только пожелать – и все пойдет как по маслу? Неужто не существует более глубоких причин, которые в известных случаях уныние, а в других надежду и бодрость, делают явлением не только понятным, но почти обязательным?

Я, по крайней мере, думаю, что такие причины существуют и что, покуда они состоят налицо, никакие простодушные подбадривания не произведут желаемого действия. Помилуйте! если уж инсинуации и устрашения не помогают, то какую же силу может иметь простой дружеский совет! Правда, что в провинциальных театрах (особливо в тех, которые победнее персоналом) и донныне существует обычай, в силу которого один и тот же актер сначала является в роли первого трагика, а потом, вслед за сим, в роли первого комика. И совершается эта метаморфоза очень просто: трагик надевает бланжевый парик и голубые штаны – этого совершенно достаточно, чтобы невзыскательная публика прыснула со смеху. Но в литературе подобные метаморфозы едва ли мыслимы.

ПЕРВОЕ ДЕКАБРЯ («Вечерок»)

...По временам мы, однако ж, собираемся, а иногда даже и беседуем. Впрочем, без ясной программы и без одушевления, а так, словно привычный обряд соблюдаем.

Прежде, бывало, мы потому собирались, что потребность в разрешении «вопросов» чувствовали. Много было тогда вопросов, хотя должно сознаться, что большая часть их обязана была своим происхождением не столько действительности, сколько самостоятельному нашему творчеству. Как бы то ни было, но вопросы эти занимали нас, и ни мы, ни люди, читавшие в сердцах наших, не находили ничего в том предосудительного. Предполагалось, что таково уж свойство человеческой природы вообще: интересоваться более или менее широкими обобщениями – вот и все. И мы следовали этому указанию человеческого естества, то есть обобщали, спорили, обсуждали и даже горячились.

Возьмем, например, вопрос о «подоплеке» – по нынешнему времени это чем пахнет? А прежде мы не спрашивались, чем пахнет, а прямо приступали. Плешивцев доказывал, что только тот народ может благополучным себя почитать, который подоплеку свою в чистоте сохранил; напротив того, Тебеньков утверждал, что подоплека только путает. Отсюда спор, пререкания и даже вражда. Вмешается в эту распрю Положилов и спросит: «А в самом деле, господа, что такое подоплека?» – на что Глумов немедленно ответит: распивочно и навьинос. И все рассмеются, ибо знают, что никакого взыскания за это не будет.

Или вопрос о том: кто больше заслужил, Москва или Петербург? Или еще: на какой предмет родится человек – для того ли, чтоб быть счастливым, или для того, чтобы лить слезы? А? чем это, по нынешнему времени, пахнет?

А мы обо всем разговаривали безбоязненно и даже фаланстеров не чуждались. Знали, что фаланстеров нам, конечно, не дадут, но, в то же время, верили, что и телят Макаровых пасти не предоставят... За что? Ведь все это «человеческое», а «человеческим», как известно, грады и веси цветут...

И Поликсена Ивановна (жена Положилова), бывало, тут же сидит, слушает и не нарадуется на нас. И тоже, наверное, знает, что фаланстеров нам не дадут.

Нынче, повторяю, мы собираемся единственно как бы выполняя заведенный обряд. О «вопросах» – не поминаем, а «разрешений» – даже опасаемся. Боимся, чтобы в газетах как-нибудь не прослышали, что вот, дескать, так и так, отечество в печали находится, а на такой-то улице, номер дома такой-то – «подоплеку» определяют... Поэтому беседы наши имеют характер угнетенный, отрывочный, как это всегда бывает с людьми, которые совсем об другом думают и только ради приличия языком шевелят. Одна мысль явственно давит всех: ужели действительность, среди которой мы живем, есть действительность конкретная, а не кошмар? Но разве это мысль? – Нет, это не мысль, а только удлиненное, в согласность с требованиями времени, междометие. А Поликсена Ивановна слушает это тысячекратно повторяемое междометие и не радуется, а беспокоится, как бы из-за этого чего не вышло.

Итак, мы собираемся. «Мы», то есть старики, выдавшие виды. Всякие виды мы видели, а таких, как нынче, не видали. Поэтому весьма натурально, что в недоумении мы спрашиваем себя: неужто ж и еще виды будут? И в ожидании ответа, чувствуем, как мало-помалу в нас упраздняется способность к построению силлогизмов. Еще чуточку – пожалуй, упразднится и самый дар слова.

Да, была уже речь и об этом. На днях собрались мы, по обычаю, вечером у Положилова (Положилы – солидный чиновник, но все еще крепится, не чуждается нас, бывших школьных товарищей, а ныне вольного поведения людей), и вдруг кому-то вздумалось:

– А что, господа, дар слова, например... Действительно ли это драгоценнейший дар природы, как в старинных сказках сказывали, или так только, каверза, допущенная в видах удобнейшего подсиживания человек?

И никто не удивился, что подобный вопрос мог быть предложен. Напротив, все как будто оживилось и сейчас же решили, что, по нынешнему времени, гораздо удобнее мычать, нежели, вместе с вещим Баяном, «шизым орлом ширять под облака».

– Вчера я новокупленного быка в деревню отправлял, – сказал Положилы, – так это нельзя себе представить, как он приятно мычал. Со всего околотка дворники сбежались, слушали и хвалили!

– А мы вот не можем мычать! – грустно отозвался Тебеньков. – Говорить должны.

– Оттого никто нас и не хвалит, – еще безнадежнее молвил Глумов.

Поликсена Ивановна слушала этот разговор и некоторое время, кажется, даже радовалась, что мысли наши принимают благопотребное, по обстоятельствам, направление; но немного погодя спохватилась и даже тут усмотрела какую-то «политическую подкладку». Пошла на цыпочках за дверь, глянула, нет ли кого в соседней комнате, и, разумеется, сейчас же ей показалось, что там вдруг кто-то «шмыгнул» (должно быть, репортер из «Красы Демидрона»). Одним словом, возвратилась к нам расстроенная и немедленно же задала мужу головомойку.

– Уж когда-нибудь ты дошutiшься, Павел Ермолаич! – сказала она, – нельзя так, мой друг! Нельзя утром в департамент ходить, а вечером язычком чесать!

– Помилуй, голубушка! – оправдывался Положилы, – при чем тут «язычок»? Я от всего сердца, а ты...

– Шути, мой друг, шути! А вот когда-нибудь Филипп (служитель у Положиловых)... Сам говоришь, что он «репортером» при «Красе Демидрона» состоит, а между тем... Ну, я готова голову на отсечение отдать, ежели это не он сейчас в гостиной шмыгнул!

И вдруг все мы, словно сговорившись, воскликнули:

– Господи! да неужто ж это не кошмар!

Минут с пять после этого мы молчали, а может быть, и совсем, с божьего помощью, лишились бы дара слова, если б Глумов не напомнил, что какова пора ни мера, а дар сей, пожалуй, еще службу сослужить может. Не скоро, конечно, а после дождичка в четверг...

– Нужно сказать правду, – вывел он нас из оцепенения, – что жизнь животных вообще... я говорю без применений, господа! Поликсена Ивановна! прошу вас, не тревожьтесь!.. Ну-с, так говоря вообще, жизнь животных представляет некоторые несомненные преимущества, которым человек непременно должен был бы завидовать, если б продерзостно не мнил себя царем природы. Не говоря уже о беспечности, о блаженной непредусмотрительности, о постоянно ровном расположении духа – какие драгоценные гарантии представляет одна так называемая политическая благонадежность! Возьмем, например, хоть новокупленного положилыевского быка. Я совершенно убежден, что в настоящую минуту он мычит себе полегоньку, и даже «Вестник Общественных Язв» ни в чем его не подозревает. И горюшка ему мало, шмыгнул или не шмыгнул «репортер» в соседнем стойле. Стоит он и жвачку жует, а надоест стоять – ляжет; так в собственный навоз и ляжет, как редактор какой-нибудь «Красы Демидрона» – в собственную газету. Не нужно ему ни полемику

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вести, ни приносить оправдания, ни раскаиваться, ни даже в одиночку трепетать! Весь он, всем существом своим, так сказать, свидетельствует...

– Глумов! да перестаньте вы, ради Христа! – взмолилась Поликсена Ивановна.

Глумов умолк, мы же вновь, словно сговорившись, возопили:

– Господи! да неужто ж это не кошмар!

Но немного погодя дар слова обуял Тебенькова.

– Позвольте, господа! – сказал он, – я нахожу, что Глумов только отчасти прав. Нет спора, что участь быков блаженна, однако ж и они, как о том свидетельствуется во всех курсах зоологии, в виду известных пертурбаций природы, имеют свойство выражать беспокойство и даже страх. А именно, в Лиссабоне...

– Ах, господа, господа! – и т. д.

Словом сказать, вопросу о быке и его свойствах так и не суждено было пройти сквозь горнило всестороннего обсуждения. Наступило настоящее, серьезное молчание, такое молчание, о котором принято говорить: дурак родился! – так что некоторое время только и слышно было, как Плешивцев дует в блюдечко с чаем, а Глумов грызет баранки. Как вдруг в комнату, словно буря, влетел десятилетний первенец Положиловых, Ваня, и крикнул:

– Господи! да неужто ж...

Это было так неожиданно и в то же время до того совпало с настроением минуты, что мы не выдержали и расхохотались. Мальчик остановился и изумленными глазами оглянул нас.

– Что тебе? об чем ты, голубчик? – обратилась к нему Поликсена Ивановна.

Но мальчик уж заупрямился и только после долгих расспросов и удостоверений, что «дяденьки» смеются совсем не над ним, а сами над собой, открылся, что вопрос его заключался в том: неужто ж и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра – каждый день всё греческие склонения будут?

– По обстоятельствам нынешнего времени... – начал было объяснять Тебеньков, но Поликсена Ивановна так строго взглянула на него, что я невольно уподобил ее рокошущей львице, у которой замыслили отнять ее детеныша.

– Друг мой! – сказала она Ване, – никогда не позволяй себе роптать! Добрый мальчик должен беспрекословно выполнять то, чего требуют наставники, а не жаловаться на судьбу. Теперь, быть может, тебе и трудненько кажется, но зато в будущем как отранно...

Она не закончила, утерла Ване носик и, подавая ему бублик, присовокупила:

– На, кушай, Христос с тобой! А так как ты у меня пай-мальчик и наверное уж приготовил к завтраму уроки, то скажи Аринушке, что бай-бай пора.

Эпизод с Ваней на этом и кончился, но однажды потревоженная «каверза» (дар слова) уже не унималась. И я первый ощутил на себе живучесть ее.

– Получил я на днях письмо от одного приятеля, – сказал я. – Пишет: прочитал я твое «Монрепо», и, воля твоя, куда как не понравился мне тон этой книги! Уныние, говорит, какое-то разлито, а, говоря по совести, что же такое уныние, как не рабская покорность судьбе, осложненная рабским же казанием кукиша в кармане? И в газетах, говорит, тебя за это упрекают, и, по мнению моему, правильно. Потому что, по нынешнему времени, больше, нежели когда-либо, требуется не уныние, а дерзновение. «Молодцом надо быть, мой друг, молодцом!»

– Так он был за собственный свой счет и помолодечествовал! – подсказал мне Плешивцев.

– Так было и хотел я ему сгоряча ответить; но потом рассудил, и стыдно сделалось. Как это, думаю, с больной головы на здоровую сваливать? Ведь он,

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пожалуй, ответит: я, друг сердечный, дерзать не обязывался, а ты не токмо обязывался, но даже жить, так сказать, с этого начал. Все, скажет, дерзал да дерзал, и вдруг, в самую нужную минуту: не хочет ли кто за меня подержать?

– Жестоко, но справедливо, – похвалил Глумов. – Как же ты думаешь поступить? Полагаешь ли продерзостно объявить поход или за безопаснейшее сочтешь и впредь в унынии пребывать?

– То-то и есть, что сам не знаю. Понимать-то и я хорошо понимаю, что большой заслуги в унынии нет, да что ж будешь делать, коль скоро уныние, одно уныние так на тебя и плывет, так и давит тебя?

– А коли давит, так совсем, значит, замолчи!

– Думал я и так, да, во-первых, привычка... А во-вторых, ежели замолчать – что же из этого выйдет? одним молчанием больше – только и всего.

– И это... жестоко, но справедливо!

– Да и в-третьих, – откликнулся Положилов, – как еще на молчание-то посмотреть! все говорил да говорил, и вдруг – молчок! с какою целью? почему?

– Гм... да! и это, брат... тоже – статья в своем роде! – согласился Плешивцев.

– Ну, так, стало быть, держай! – посоветовал Глумов, – перекрестись и держай!

– Да ведь и дерзать... как тут дерзнешь! – оправдывался я. – Вопросы-то нынче как-то ребром встали... ужасно неприятные, назойливые вопросы! А кроме того, и еще: около каждого вопроса пристроились газетные церберы. Так и лают-надрываются, так и скачут на цепи! Положим, что укусит он и не больно, а ну, как он – бешеный!

– И даже почти наверное, – подтвердил Тебеньков.

– Не почти, а просто наверное, – усугубил Глумов.

– Таким-то родом я и раздумываю... С одной стороны, несомненно, что вопросы ребром встали, а с другой стороны, как будто и совсем их нет. Встали ребром – да куда-то и пропали за пределы компетентности. Или яснее сказать, есть вопросы, да мы-то не компетентны оказались, чтобы судить об них.

– Да, да. Вот как теперь: собрались мы здесь, а говорить нам не об чем. Унывать приходится.

– Ну, брат, о подоплеке-то и теперь... – возразил было Тебеньков.

– Нет, и о подоплеке... Смотря по тому, какая подоплека и в какое время.

– Вы, господа, с подоплекой не шутите! По-нынешнему – ведь это красный фантом!

– Жестоко, но... справедливо!

– Да нет, что подоплека! до подоплеки ли уж! – продолжал я. – Возьмем самый несложный и, по обстоятельствам, даже самый естественный вопрос... например, хоть о пользе содержания козла в огороде... Сколько в былое время передовиков на этом вопросе репутацию себе сделали! А нынче пробуй-ка его со всех сторон рассмотреть – ан вдруг из всех литературно-ретирадных мест полемический залп! Козел! что такое «козел»? Огород! что такое «огород»? с какой стати вдруг об «огороде» речь заведена? что сим достигается? и в скольких смыслах надлежит «оное» понимать?

Сознаюсь, это было несколько преувеличено, и Тебеньков не преминул мне это высказать; однако Положилов вступился за меня и, в подтверждение моей правоты, даже привел факт.

– Я одного ученого знаю, – сказал он, – тридцать лет сряду пишет он исследование о «Бабе-яге» и наконец на днях кончил. И что ж! Спрашиваю я его: скоро ли, мол, к печатанию приступите? Помилуйте! говорит, разве, по нынешнему времени, можно?

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Ах! это... ужасно!

И мы даже с мест повскакали, простирая руки к небу и вопия:

– Господи! да неужто ж это не кошмар!

– А мне так кажется, что вы именно преувеличиваете, господа! – решила после короткой паузы Поликсена Ивановна, – какая же это специальность – унывать! По-моему, так и теперь можно прожить, и даже очень прекрасно прожить. Кто захочет, тот всегда для себя подходящее дело отыщет.

Но как-то никто не откликнулся на это замечание, а Глумов даже явно отнесся к нему с пренебрежением, то есть махнул рукой и сказал:

– Да, взяли-таки волю наши ретирадники...

Но тут разыгрался у нас «эпизод». Поликсена Ивановна не то чтобы прямо огорчилась невниманием Глумова, но пригорюнилась, и Положилов, как преданный супруг, счел долгом вступить за нее.

– Однако ж, Глумов, – сказал он, – ведь жена-то у меня – дама; и ты мог бы...

– Поликсена Ивановна! голубушка, да неужто вы... дама? – изумился Глумов.

Это дало новое направление беседе. Сначала возник вопрос: что такое «дама» и чем она отличается от «женщины»? А потом и другой: отчего Поликсене Ивановне, например, неловко делается, когда ее в упор называют «дамой», и отчего тем не менее у той же Поликсены Ивановны в экстренных случаях огоньки в глазах бегают: не забывают, дескать, однако, что я... дама!

– Давайте, господа, об женском вопросе поговорим! – предложил Тебеньков.

Со стороны Тебенькова подобное предложение никого не удивило. Мы знали, что Тебеньков считает себя специалистом по женскому вопросу, но в то же время знали и то, что он любит обсуждать его, по преимуществу, с точки зрения «атуров». Поликсена Ивановна не раз говаривала ему: «Вы не можете себе представить, как это скверно, Тебеньков!» – а иногда даже и обижалась.

Par respect pour les moeurs, [115] и мы не одобряли тебеньковские взгляды на женский вопрос, но, говоря по совести, немаловажная доля его вины ложилась и на нас всех. В самом деле, в обычной манере мужчин относиться к женскому вопросу и обсуждать его существует какое-то роковое легкомыслие. Я никогда не слыхал, как рассуждают женщины о «мужском вопросе», и потому не могу свидетельствовать, бывает ли тут речь об «атурах», но что касается до мужчин, то они только ценою величайших усилий могут воздерживаться от экскурсий игривого свойства.

Мне кажется, что это происходит от того, что мы ставим женский вопрос совсем не на ту почву, на которую его ставить надлежит, то есть рассматриваем его, по преимуществу, в культурной среде, той самой, которая всеми своими помыслами и силами почти исключительно направлена к воспитанию «атуров». Тогда как если бы мы перенесли его в среду трудолюбивых поселян, то представление об «атурах» упразднилось бы само собой, и женский вопрос предстал бы пред нами в своем чистом, безатурном виде.

Да, только там можно представить себе «женщину» вполне независимо от «атуров», только там половым различиям дается их естественное, не дразнящее значение. В этой среде и молодость быстрее проходит, и деловая, рабочая пора пристигает плотнее. Когда женщина идет шаг в шаг рядом с мужчиной, когда она представляет собой необходимое дополнение рабочего тягла, то она является уже не утехой, не «украшением» и даже не помощницей и подругой, а просто-напросто равноправным человеком. И ежели за всем тем и при такой обстановке мужчина хлещет женщину вожжами и таскает за косы, то вот тут уж действительно выступает на сцену женский вопрос, жгучий, потрясающий, вопиющий. И что же! именно тут-то никто его и не видит, никто об нем и не думает!

Но как только женский вопрос выходит из пределов простонародной среды, так он сейчас же превращается в «дамский» и приобретает атурный характер. Влияние культурных веяний таково, что даже женщина, вышедшая из народа, коль скоро

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru отведает пуховика, самовара и убоины, так сейчас же первым делом начинает нагуливать себе «атуры». И груди чтоб сахарные были, и бедра такие, чтобы уколупнуть было нельзя, и спина широкая, чтобы всей пятерней огреть можно было. И, нагулявши все это, начинает мнить себя «дамой» и мечтать о «кавалерах».

Я знаю, что слово «дама» многим ныне ненавистно; но что «дамство» пустило корни глубоко и надолго заволокло женскую ниву – это несомненно. Повторяю: я все-таки имею в виду исключительно культурную среду и об ней одной говорю, потому что можно ли назвать «дамой» существо, которое днем зауряд с мужчиной пашет, боронит и косит, а на сон грядущий получает столько ударов вожжами, сколько влезет? Итак, возьмем в этой культурной среде один из лучших экземпляров, вроде Поликсены Ивановны. Бесспорно, это женщина разумная и даже самостоятельная, а посмотрите, как она гордится, что за таким «добытчиком», как Павел Ермолаич, она живет как за каменной стеной! как она глубоко убеждена, что он доставит ей обеспечение и покровительство, и как смиренно счастлива, если ей удастся отблагодарить мужа за это покровительство, устроив ему домашний комфорт! Не очевидно ли, что она и сама считает свою роль второстепенною, зависимою? что она и сама сознает, что без Павла Ермолаича ей – мат? Но этого мало: она называет мужа не иначе, как Павлом Ермолаичем (я уверен, что даже один на один она не отступает от этого правила), а он нет-нет да и обласкает ее «Поликсенчиком». И когда она слышит это обращенное к ней уменьшительное, то не только радуется, но и гордится этим: стало быть, дескать, я еще заслуживаю! Я не утверждаю, чтобы в соображениях ее по этому предмету непременно играли роль «атуры», но, помимо воли, сами собой (в форме скромного инстинктивного охорашивания), вероятно, сказываются и они. Во всяком случае, она несомненно сознает, что известная пословица: курица не птица и т. д. – не просто пословица, но и факт, по поводу которого до поры до времени спорить и прекословить бесполезно. А ежели она все это сознает и приемлет, то должна неминуемо сознавать и принимать и то – что она... дама! И – о, ужас! – что только именно это «дамство» спасает ее от тех практических последствий, которыми чревата сейчас упомянутая пословица...

Павел Ермолаич знает эту двойственность своей подруги и относится к недоумениям ее несколько иронически. По моему мнению, он поступает в этом случае несправедливо, ибо недоумения эти отнюдь не от Поликсены Ивановны зависят! Культурная женщина с молодых лет так воспитывается, чтоб быть «дамой», то есть чтобы жеманиться и сидеть у мужчины на коленях. Гоп, гоп! поехали! – скажите, где та культурная дама, которой сердце не замерло бы в восторге при этом восклицании?

Поэтому, когда Тебеньков предложил приступить к разработке женского вопроса, то Поликсена Ивановна решительно этому воспротивилась, и Положилов принял ее сторону.

– Я знаю, к чему ты стремишься, Тебеньков, – сказал он, – хочется тебе насчет «лямуру» пройтись, да и вообще слабый оный пол подробно во всех частях рассмотрению подвергнуть. И знаю также, что, по нынешнему времени, это занятие самое благопотребное, по поводу которого не потребуются даже заглядывать в гостиную, не «шмыгает» ли там кто. Но подумай, однако ж, не презорно ли будет, ежели мы, подобно ретирадникам, погрязнем в одних игриностях, а о прочих сторонах вопроса, уныльных обстоятельств ради, умолчим? Не правда ли, господа?

Мы поспешили согласиться, а Плешивцев в качестве всегдашнего антагониста Тебенькова даже присовокупил:

– Говорил я тебе, что ты, Тебеньков, паскудник и засушина. Вот и попался. Теперь ты соборне в этом звании навсегда утвержден.

– Нет, не будем чересчур строги к нашему общему другу, – продолжал Положилов, – я сам знаю, что Тебеньков немножко паскудник; но это оттого, что его чрезмерно уж угнетает чувство изящного... А сверх того, у него откровенный характер... Вот это и выдает его. Но ведь и все мы, воспитанные в преданиях эстетики, относимся к женщине по преимуществу с точки зрения «атуров» и «игристей». Только мы не столь часто и не столь открыто говорим об этом и, разумеется, хорошо делаем. Ибо как ни привлекательны атуры, но умного в разговорах об них немного. Несмотря на эти разговоры, женский вопрос все-таки существует, и ежели он представляется безвременным и мелким, то, во-первых, потому, что сами женщины покуда еще не умеют разобратся в нем, а во-вторых и главным образом, потому, что на ближайшей очереди стоит великий мужской вопрос. Но, во всяком случае, подражать

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ретирадникам не подходит. Поэтому я предпочел бы женский вопрос обойти; но ежели бы вы желали беседовать на эту тему с должной серьезностью..

Положилов не досказал и тихонько-тихонько на цыпочках направился к двери и заглянул в гостиную. Он сделал это, по-видимому, совершенно инстинктивно, но вышло так наивно, что все мы, не исключая и Поликсены Ивановны, захохотали.

– Оставим! оставим! – произнес Глумов, как только улеглись первые порывы веселости, – ведь это все-таки «вопрос», а вопросы теперь не ко времени. Все стоит твердо, верно, несомненно – так гласит мудрость века сего – зачем же прать против решений ее? Да и каая польза вдаваться в исследования, коль скоро тебя каждоминутно подмывает заглянуть в другую комнату, не шмыгнул ли там кто? По-моему, это предосудительно и даже... некрасиво! А к тому же, и Поликсена Ивановна...

– Что ж я! – вступилась за себя Поликсена Ивановна, – говорите, я ничего! Только ежели вы серьезно будете, так, конечно... не вышло бы чего...

И она, в свою очередь (и тоже, по-видимому, инстинктивно), встала и на цыпочках заглянула в гостиную.

Мы поглядели-поглядели, но на сей раз не рассмеялись, а, помолчав немного, едиными устами возопили:

– Господи! да неужто ж это не кошмар!

Но здесь я должен сделать тяжкое для самолюбия признание: главную причину положиловского и нашего смущения составлял лакей Филипп. Это было какое-то сказочное существо, о котором носились самые загадочные слухи. Говорили, будто бы он репортером при какой-то секретной газетке состоит. Явится будто бы в редакцию ранним утром, вычистив господам сапоги, выложит дневной запас, а там уж и начнут «публицисты» сыскивать. Сколько раз мы убеждали Положилова рассчитать Филиппа, но всегда встречали какое-то необъяснимое упорство.

– Прогонишь этого – другого репортера наймешь! – отвечал он, – а этот, по крайней мере, сапоги ловко снимает.

И при этом, в видах самоободрения, прибавлял:

– Впрочем, с меня, брат, взятки гладки! Хоть до завтра слушай – не боюсь!

Таким образом, и остается Филипп властителем наших дум и регулятором нашей благонамеренности в глазах «Красы Демидрона». И я даже подозреваю, что Поликсена Ивановна отчасти довольна этим: все-таки есть в доме узда, которая сдерживает этих сорванцов-подоплечников.

Между тем из столовой мы перешли в гостиную, и куда Филипп убирал чай, разумеется, молчали. Но когда стук стаканов и ложек наконец утих, то «каверза» снова возымела действие.

– Вот вы, голубушка, сейчас сказали, – обратился Глумов к Поликсене Ивановне, – что и в нынешнее время прожить очень прекрасно можно, а я, невежа, в ту пору даже и не выслушал вас. Так уж простите вы мое невежество, научите, как это, по вашему мнению, «прекрасно прожить можно»?

– Очень просто: рассчитать себя нужно.

– То есть как это... рассчитать?

– Да применяясь к обстоятельствам. О больших размерах позабыть, лишние претензии тоже в сторону отложить да вот в этом роде и подыскать себе дело.

– Или как вот он выражается, – Глумов указал на меня, – на маленьком месте небольшую пользу приносить?

– Так что ж... ах, господа! Сами же вы говорите, что нынче всего больше нужно одно: позабыть! А как же вы «забудете», ежели у вас не будет дела, которое вас от думы отведет? Ведь без дела-то вы только больше да больше будете себя

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru бередить?

– Гм... так, по-вашему, значит, дело... и при сем небольшое... Ежели, например, моционом заняться... одобрите?

Сказав это, Глумов чуть было опять не махнул рукой, но воздержался и в заключение воскликнул:

– Голубушка вы наша!

Однако ж Поликсена Ивановна по неизреченному своему милосердию на этот раз не обиделась.

– Ну, как хотите! – сказала она, – может быть, я и пустое предлагаю, но, по-моему, ведь и в том, как вы проводите время, ничего особенно выспренного нет.

– А как мы проводим время?

– Да соберетесь, хмуритесь, никакого разговора последовательно до конца не можете довести. Посмотришь на вас – точно вы и невесть какие преступники!

– Боимся, значит?

– А что ж... полагаю, что не без того...

– Поликсена Ивановна! да не вы ли сами панику на всех наводите! Не вы ли в соседнюю комнату каждоминутно заглядываете? Не вы ли мужа на французском диалекте предостерегаете: Pavel Ermolaitch... Philippe ici![116]

– Что ж я! Я, как говорит Павел Ермолаич, дама... А ведь с дамы и спросить много нельзя.

Увы! несмотря на глумовские оговорки, я должен сознаться, что Поликсена Ивановна ежели и не прямо вложила персты в язвы, то, во всяком случае, довольно близко нащупала больное место. Мне и самому неоднократно приходило в голову: боимся мы или не боимся? – и всякий раз я не то чтобы уклонялся от ответа, но, по совести, не мог отвечать ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Очевидно, что в душевном недомогательстве, которое угнетало нас, сама по себе заключалась значительная доля неясности, мешавшей назвать его по имени. Прямой, острой боязни не было, но было беспокойство, была тупая боль. Одна из тех болей, при которых, как говорится, не знаешь, где места найти, которые зудят и сверлят весь организм, не давая свободной минуты, чтоб оглядеться и обдумать выход. Неприятнее этой боли представить себе ничего нельзя, тем больше, что подобное тупое недомогательство, однажды овладев человеком, делается как бы нормальным уделом его на все время, пока существуют причины, обусловившие его.

Во всяком случае, мне очень интересно было узнать, что ответит Глумов на замечание Поликсыны Ивановны.

– Так, значит, боимся? – повторил он свой прежний вопрос.

Поликсена Ивановна молчала.

Тогда Глумов принялся объяснять. Но, к сожалению, объяснения эти были столь же сбивчивы и уклончивы, как и те, которые я уж давал себе и о которых только что упомянул выше. И тут оказывалось, что боязни, собственно, нет, а есть будто бы лишь горькое сознание бессилия, которое на все существование, на всю деятельность кладет унылый, почти постыдный отпечаток. Глумов с особенной настойчивостью налегал на этом различии, и для того, чтобы установить его в уме слушателей, на одно объяснение нагромождал другое, третье и т. д., и вследствие этого впадал в многословие, в перифразу. Но разница была, по-видимому, настолько деликатного свойства, что, несмотря на все усилия, различительные признаки вырисовывались слабо и со стороны очень нетрудно было их проглядеть. Вообще выходило, что дело идет только о словах и что Глумову хотелось, собственно, одного: во что бы ни стало устранить паскудное слово «боязнь», которое Поликсена Ивановна, пользуясь своей женской безответственностью, так простодушно пустила в обращение. Так что, когда Тебенюков, в шутовском русском тоне, желая поддразнить Глумова, взял его под мышки и сказал:

– Ну, что уж! признавайся! Ну, стыдишься... унываешь – все это так! но ведь мало-мало есть и тово... Побаиваешься-таки! Ну, грех пополам! – то сделалось как-то тяжело и неприятно, а Глумов, не возражая, досадливо отвел от себя шутника рукой и проворчал:

– Оставь!

Затем все смолкли и, разумеется, через минуту, по установившемуся обычаю, возопили:

– Господи! да неужто ж это не кошмар!

.

– А впрочем, господа, – первый прервал молчание Положилов, – я и с своей стороны не разделяю щепетильности Глумова. Ведь речь идет совсем не о героях, а о массе ординарных, но добропорядочных и мягкосердечных людей, которые любят добро, но не чувствуют призвания «класть свои головы». И вот относительно их-то я и не вижу, почему бы для них представилось обидным или предосудительным сознаться в гнетущем их беспokoйстве. По моему мнению, боязнь играет настолько решительную роль в существовании современного человека, что самое уныние едва ли могло бы так прочно внедриться в общество, если б его постоянно не питало ожидание чего-то непредвиденного. А коль скоро страх существует, то отрицаться от него значит только добровольно обрекать себя на сугубое малодушие, значит отнимать у себя возможность, при помощи анализа этого явления, примириться с своею совестью. Ведь ежели даже этой возможности не будет, то как же существовать? Поэтому-то я совершенно искренно думаю, что ежели у человека – повторяю, не у героя, а у ординарного, но добропорядочного человека – есть бесспорные и осязательные причины ощущать страх, то он имеет полное право без околичностей сказать: да, я боюсь. И совесть самая щепетильная не найдет основательного повода укорить его за это. Не так ли, господа?

– «Право»!.. отлично! превосходно! «Право»! – проворчал Глумов.

– А по-моему, право как право, не хуже и не лучше прочих таковых же. Скажу даже больше: по нынешнему времени и этим правом в полном его объеме едва ли всякому удастся воспользоваться. «Правом бояться»... да! Бояться – ведь это значит «кукситесь», а кукситесь – значит показывать кукиш в кармане. Все это виды и формы темного русского фрондерства, а что гласят об этом в «Вестнике Общественных Язв»? Да-с, современный общественный камертон совсем не к фрондерству наклонен. Камертон этот гласит так: всякий да взирает бодро. Вот это право (право взирать весело) – бесспорное, и всякий может пользоваться им на всей своей воле. И что всего несомненное, этим правом наградила нас не в такой мере жизнь, как литература.

Произнеся последнее слово, Положилов на минуту остановился, как бы выжидая, какой эффект оно произведет на слушателей. Но никакого эффекта не было; скорее, напротив того, можно было предположить, что давно уж это слово у всех на языке и, рано или поздно, неминуемо придется его произнести.

– Если до известной степени, можно согласиться с Глумовым, – продолжал Положилов, – что, с общей точки зрения, страх есть чувство некрасивое и что сознаваться в нем не особенно лестно, то до современной русской литературы это уж ни в коем случае относиться не может. Ее нельзя не бояться; ее должно бояться. Возьмите одни фирмы: «Бодрствующая Упредительница», «Неусыпающий Шалыган», «Изъяснитель Язв»... разве не страшно? Разумеется, прежде всех должны бояться своя же братия, неостервеневшие литераторы. Им, должно быть, особенно трудно, ибо в литературе обойтись без человеческих чувств, без человеческих мыслей, без обобщений, без идеалов, с одною канцелярскою насущностью... что ж это за литература будет! Но не освобождаются от обязанности трепетать и все вообще партикулярные люди, которые почему-либо не сумели уподобить себя зверям. К числу последних я причисляю и себя. И хотя, говоря вообще, я не вполне боюсь, но признаюсь, когда утром начинаю, по привычке, прочитывать печатные строчки, то ощущаю невольную дрожь. Помилуйте! каждый день кого-нибудь предадут суду! Ни талант, ни известность, ни годы тщательнейшего самонаблюдения – ничто не ограждает от внушений самого ехидного свойства! И от кого исходят эти внушения?!

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– И от кого исходят эти внушения?! – словно эхо, повторили мы все.

Но тут со мною случилось что-то загадочное. Несмотря на торжественность минуты, в ушах моих вдруг как-то совершенно явственно прозвучало:

Люди добрые, внимайте
Страданью сердца моего...

Разумеется, я ни с кем не поделился этой пилюлей; однако ж Положилов, по-видимому, угадал, что во мне происходит нечто неладное.

– Нет, ты не шути! – обратился он ко мне, – а обрати внимание! Столько нынче гаду в вашу литературу напозло, столько напозло, что даже вчуже страшно становится! Кружатся, хохочут, ликут, брызжут слюнями... Иной всю жизнь в ретире сидел, заплесневел, отсырел; думал: до гробовой доски мне в сем месте на стенах писать суждено, – и вдруг почувствовал, что момент его наступил! Вы представьте себе эту картину! Выходит оттуда, весь пахучий, и голосом, напоминающим местное урчание, вопиет: а позвольте вас, милостивые государи, допросить, по какому случаю вы унывать изволите?.. Каково вопросы-то эти слушать?

– А разве нельзя ему ответить: угадай! – как-то неожиданно сорвалось с языка у Поликсены Ивановны.

Совет этот был ужасно прост, до того прост, что Положилов на некоторое время даже как бы оторопел.

– Ты, Поликсенчик, всегда... – сказал он с оттенком нетерпения, но вслед за тем спохватился и присовокупил, – а что, ежели и в самом деле... Он – с допросцем, а ему в ответ... угадай?! Ведь это в своем роде...

– Нельзя! – резко прервал Глумов, который, по-видимому, успел уже убедиться (а кто же знает, может быть, и прежде он, только упражнения ради, противное утверждал), что «бояться» не стыдно.

– Почему?

– Чудак! сам же сейчас говорил, что засилие гад взял, – и спрашиваешь! Надо еще удивляться, что хоть по существенным-то пунктам гады решительных побед не одерживают. Ведь ежели их послушать, то все, что в течение последних лет приобретено, все это нужно нарушить и упразднить: земство отменить, суд присяжных уничтожить, цензуру восстановить, крепостное право возродить!.. Ну, этого, однако ж, им не дожидаться!

– Вот видишь! стало быть, есть же и противовес!

– По таким-то пунктам... еще бы! Ну, а подробности там разные, например: ты, я, мы, вы, они – это уж в счет нейдет! этого нельзя и не уступить. Нельзя-с. Потому, засилие гады взяли! Подоплеку угадали! Ах, много еще кровожадности в этой подоплеке таится, куда как много! Вот они ее и эксплуатируют.

– А я так думаю, – возразил я, – что не столько кровожадность играет тут роль, сколько жалкая и скудоумная страсть к начертыванию паскудных словес на стенах нежилых строений, на заборах, скамьях и т. д. Вот она, настоящая-то подоплека, на чем стоит.

– Есть и это. Но, во всяком случае, гад знает, что ему нынче масленица. Попробуй-ка ему сказать: угадай! – он огорчится и сейчас тебе в ответ: измена! А вслед за этим и подоплека завопит: ха-ха, измена!

– Ах, мерзость какая!

– И ведь сам, шельмец, знает, что лжет! знает, что лжет, и все-таки лжет!

Говоря это, Глумов протирал руки и сверкал глазами. В первый раз я в нем эту восторженность видел. Обыкновенно он относился ко всем этим «изменам» скорее иронически, и вот теперь... Это было так странно, что на этот раз я уже не выдержал и явно запел:

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Люди добрые, внимайте
Страданью сердца моего...
И все хором подхватили:

Он меня разлюбил!

Он ее полюбил!

– «Ее», то есть розничную продажу, во имя которой все современные литературные злодеяния совершаются! – пошутил Тебеньков.

А Поликсена Ивановна, совершенно успокоившаяся, с любовью оглянула нас и, вздохнув, присовокупила:

– Ах, бедненькие вы мои! беззащитненькие!

Одним словом, благодаря моей диверсии, чуть-чуть не водворилось в нашем кружке общее благодущие, как вдруг нелегкая дернула Плешивцева сказать:

– Ну вот, теперь все отлично. А то я слушал-слушал, и, признаться, все-то мне думалось: а ведь это они перед Филиппом хотят себя с хорошей стороны зарекомендовать!

Это напомнило о Филиппе и разом всех расхолодило. К тому же, в эту самую минуту, в столовой упал со стола стакан и с шумом разбился. Под влиянием совпадения этих нечаянностей и Положилов и Поликсена Ивановна, оба одновременно на цыпочках устремились к двери, и хотя оказалось, что виновником кутерьмы был кот Васька, но благодущие к нам уже не возвратилось.

– Прежде насчет гаду было лучше! – возобновил разговор Тебеньков.

– Вот как! – удивился Плешивцев.

– Да так. И прежде гад допускался, но строже его держали. Жить – живи, но из указанных природой помещений не выходи.

– Пожалуй, что это и так, – согласился Положилов. – А главное что было дорого: поучений делать не моги! Никто не моги делать поучения, а в том числе не моги и гад!

– А нынче гады подоплеку собой изображать претендуют – оттого и не сладишь с ними! – присовокупил Глумов, – выйдет он из своего места и начнет тебя обыскивать. Там рванет, в другом месте куснет... ах! Волк – тот прямо за горло режет, а гад – во все места расползется... Можете вообразить себе чувство человека, который, по обстоятельствам, вынужден вступать с ним в разговор!

– Господи! да неужто ж это не кошмар!

.

Однако ж оказалось, что это не кошмар. Тебеньков сообщил:

– Был я давеча у одного товарища по школе: сидит и всем естеством радуется. Слава богу, говорит, и у нас публицист нашелся! – Хорош? – спрашиваю. – Да такой, говорит, что ежели ему узы разрешить, так он всю вашу либеральную суматоху на бобах разведет! И представь себе, где нашли – в уединенном месте! Сидит, улыбается и на стенах пишет!

– Любопытно, какие он, этот новоявленный публицист, вопросы разрешать будет?

– Помилуй! Вопрос первый: дозволительно ли мыслить? Ответ: нет, не дозволительно. Вопрос второй: предосудительно ли человеческие чувства выражать? Ответ: да, предосудительно. Этими двумя вопросами вся современная суть исчерпывается.

– Да ведь надо же будет и дальше говорить!

– А дальше он будет распивочным слогом рассказывать анекдоты о стриженных девках, будет на стенах излюбленные словеса писать, акrostихи доброго помещичьего времени, вроде «хвалы достойные девицы», вспомнит... Да и мало ли подходящего

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
матерьяла найдется!

– Знаешь ли что, – предложил мне Тебеньков, – я бы советовал тебе, в отделе беллетристики, все водевили Каратыгина постепенно перепечатать, этак в месяц по одному. Это помогло бы тебе время провести, а читателя-то как освежило бы!

– А ведь это на дело похоже! – поддержал Положилов, – что вы там «сквозь невидимые миру слезы» ехидничаете! гряньте-ка прямо, начистоту... Господа! кто из вас помнит: Задеть мою амбицию... за мной!

И все мы хором подхватили:

Задеть мою амбицию
Я не позволю вам,
Я жалобу в полицию
На вас, сударь, подам!
– Господи! да неужто ж это не кошмар!

Наступил довольно длинный период молчания. В столовую с шумом ворвался Филипп и начал накрывать ужин; из кухни доносился острый запах солонины и приятно щекотал обоняние. Это значительно всех приободрило.

– А мне что пришло на мысль, господа! – предложил Положилов, – давно мы не певали «Gaudeamus». Возьмемтесь-ка дружно за руки и помянем нашу молодость!

Взялись за руки и с увлечением грянули первую строфу всем дорогого канта. Но когда дошла очередь до «Vivat academia», [117] то усумнились. Какая академия? что сие означает? в каком смысле «оное» понимать надлежит? и что сим достигается?

– Не забудьте, господа, что Филипп по-латыни не знает, – напомнил Положилов, – и, следовательно, может истолковать нашу песню в самом превратном смысле. Кто, например, поручится, что он не скажет себе: а! понимаю! медико-хирургическая... превосходно!

Словом сказать, пришлось бросить. К счастью, скоро доложили, что подано ужинать. Это опять всех ободрило. Но и тут Положилов отчасти отравил общее удовольствие, предупредив нас шепотком:

– Господа! за ужином чтобы никаких этих экскурсий в области вымыслов... ни-ни!
Принимая пищу, мудрый о пище же и беседует – так-то!

На что мы, разумеется, ответили:

– Конечно! конечно! неужто ж мы этого-то не знаем!

За ужином все обошлось благополучно. Хвалили солонину, а в особенности не находили слов для выражения восторгов по поводу громадного индюка, присланного Положиловым из деревни.

– Индюка совсем не так легко довести до такой степени манности, нежности и благонадежности, как это кажется с первого взгляда, – объяснял при этом Павел Ермолаич, – нет, тут немало-таки труда нужно положить! Не в том штука, чтобы до отвалу накормить голодную птицу, а в том, чтобы существо, уже до отвращения пресыщенное, целесообразными мерами побудить сугубо себя утучнить, ad majorem hominis gloriam! [118] Это целая система, которую, впрочем, я не буду здесь излагать, дабы Поликсена Ивановна не вывела из моего изложения каких-либо неблагоприятных намеков и применений. Но скажу одно: индюк, воспитанный на точном основании изданных на сей предмет руководств, делается ни к чему иному негодным, кроме как к подаче на стол в виде жаркова.

Поликсена Ивановна слушала эти объяснения и потихоньку радовалась. Мы тоже не без пользы внимали Положилову, потому что объяснения его, так сказать, осмысливали удовольствие, доставляемое нам индюком. Что касается до Филиппа, то он не без лукавства улыбался, как бы говоря: а ведь это они передо мной себя зарекомендовывают!

Повторяю: все произошло отлично, так что Поликсена Ивановна не выдержала и, обращаясь к Глумову, сказала:

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Вот вы давеча не поверили, когда я говорила, что и по настоящему времени прожить прекрасно можно, – ан вот вам и доказательство налицо!

Она обвела всех нас счастливым взглядом и проговорила:

– Прекрасно, тихо, благородно!

Это было так мило сказано и при том с таким теплым участием к нам, измученным невозможностью довести какой-либо разговор до конца, что Глумов крепко пожал ее руку и сказал:

– Правда ваша, голубушка! Именно: прекрасно, тихо, благородно! Лучше нельзя определить.

– И поверьте мне, – продолжала Поликсена Ивановна, – что вся эта суматоха, которая так мучительно на вас действует, чувствуется только в тех сферах, которые чересчур уж близко к ней стоят. А там, в глубинах, даже и не подозревают об ее существовании. Павел Ермолаич не дальше, как вчера, получил из деревни письмо...

– Да, есть из деревни письмо, есть! – отозвался Положиллов, – и ежели угодно, то я могу его прочитать.

И не дожидаясь согласия нашего, он прочитал:

«А у нас, слава богу, благополучно. Только по случаю лютых оных морозов и бесснежия опасаемся, как бы озимый хлеб в полях не вымерз, да травы на низких местах весной не вымокли, да древа и кусты в садах не погибли. Причем, однако ж, остаемся не без упования, что ежели весна будет дружная и бог пошлет дождичков...»

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ
ПЕРВОЕ МАЯ

Я провел ужаснейший месяц. Номо поміні Іупус – вот картина, которая представлялась глазам. Говорилось, выкрикивалось, печаталось нечто неслыханное. Казалось, в целом мире не было уголка, который назойливо, на все тоны и манеры не заполонила одна мысль: что же будет дальше? Эта мысль, бесплодная, полуидиотская, задерживала всякую деятельность, забивала ум, чувство, волю. Эта мысль вызывала наружу все худшие свойства человека, от малодушия до вероломства включительно. Слабые люди отыскивали на дне своей совести что-нибудь пошлое и держались за это пошлое, как за якорь спасения. Какие анекдоты переходили из уст в уста! какие лжи высказывались за истины! Изю всех щелей полезли чудища, московские кликуши словно сбесились.

В последние двадцать – двадцать пять лет чувство человечности сделало несомненные успехи. Не имея таких крупных и высокоталантливых выразителей, как в сороковых годах, оно разлилось в массу общества, обмиршилось, сделалось естественной подкладкой общественных стремлений и отношений. Забылось или почти забылось крепостное право, стал забываться келейный суд, начали проявляться зачатки самодеятельности, период одичания казался близким к концу. И вдруг это самое чувство человечности, о котором думалось, что оно сделалось уже лозунгом жизни, сделалось преступлением. Не человечность нужна, а нужна ненависть! со всех сторон вопили исчадия бараньего рога и ежовых рукавиц. И в довершение всего, в роли Грановских, Крюковых, Кудрявцевых, Пироговых появился профессор Цитович...

Само собой разумеется, что среди этой суматохи я всего менее мог рассчитывать на свидание с Феденькой. Правда, что я не раз видел, как он мелькал в наемной коляске по Невскому, но лицо его смотрело так озабоченно, что мне на мысль не приходилось, чтоб он мог заметить меня. Однажды только он как-то случайно остановил на мне свой взор; я воспользовался этим, чтоб послать ему воздушный поцелуй, он же в ответ поднял правую руку и показал мне все пять перстов. Тогда я не выдержал и махнул ему рукой, чтоб остановился.

– В пяти! – возгласил он с торжеством, когда я подошел к экипажу.

Разумеется, я недоумевал.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– В пяти... комиссиях! – пояснил он и при этом дотронулся рукой до горла: вот, мол, до каких пор.

– Когда же ко мне?

– Не могу, mon oncle! Даже дома почти не бываю... вот! Он вновь указал на горло и вдруг совсем неожиданно прибавил:

– А литература-то ваша... какова! а?

И с этими словами исчез.

Целых две недели после этой встречи я мучился. Что такое он сказал? кажется, про литературу упомянул?... или я ослышался? Ужели подозревается какая-нибудь связь, что-нибудь солидарное, общее?

Я вспомнил «разбойников печати», «мошенников пера», вспомнил первую брошюру Цитовича. В свое время эти потуги заклеить одним каким-нибудь удачным названием живые элементы русской <жизни> казались мне отчасти смешными, отчасти непристойными. Я объяснял это желанием выдумать что-нибудь такое, что затмило бы «нигилизм» и «нигилистов». «Нигилизм» действительно прижился, во-первых, благодаря краткости выражения, а, во-вторых, и потому, что толпа во всякой попытке критического отношения к действительности видит нечто сомнительное и потому очень была довольна, что нашлось выражение, которое дозволило ей огулом отделаться от всяких назойливостей. Даже папе римскому так понравилось это слово, что он в ряду отщепенцев от римской церкви упомянул и нигилистов. Да, «нигилизм» – это выражение удачное и в одно и то же время весьма существенное по своим практическим последствиям. Одни воспользовались им, чтоб наивно прикрыть свою наготу (я убежден, что не будь пущено в ход это слово, не было бы и «нигилистов», то есть людей, похваляющихся неведомо чем); другие были очарованы им, потому что оно избавляло их от необходимости входить в разбор жизненных тонкостей и дозволяло сваливать в одну кучу все личнонеприятное, несоответствующее личным преданиям, темпераментам и проч.

Но «разбойники печати», но «мошенники пера», но «мокрая квартира на девять месяцев» – это длинно и неуклюже и, что всего важнее, не отвечает никакой потребности. Никому не надобны эти выражения, никто не задумывался ни над чем подобным, и потому никто не будет их употреблять. Понятий таких нет. Поэтому-то они только гадки, но совершенно безопасны. Разве что...

То-то вот и есть, что разве что... Обильна, ах, как обильна русская жизнь этими «разве что»! Литература идет своим ходом, убежденная, что процесс литературного мышления представляет известные особенности, не свойственные процессу мышления канцелярского служителя, а ее ждет из-за угла «разве что». Она наивно думает, что ничто человеческое ей не чуждо, что вся природа, все явления мира сего подлежат ее исследованию, – и вдруг вырывается что-то негаданное, непредвиденное и с злобною иронией шипит: «разве что». Вот в эти-то минуты и припомнятся все эти «разбойники печати», «мошенники пера» и «мокрые квартиры». Паскудны они, придурковаты, и при воспоминаниях об них делается жутко. Придется убедиться, что действительно есть в печати и разбойники, и мошенники, и клеветники, и изобретатели паскудных слов. И что литература совсем не тот храм, который заставляет биться всякое честное сердце и без которого свет был бы постыл и бесславен, но клоака. Или, по крайней мере, несомненно, что сбоку этого храма пристроена клоака и что по временам из нее вырываются такие удушливые запахи, которые заставляют забывать о существовании самого храма. Оттуда сыплются на литературу все обвинения, все клеветы, все проклятия, там допускается солидарность ее со всеми неурядицами дня, оттуда денно и ночью раздаются крики дикой радости и торжества, там формулируются требования согнуть в бараний рог, покончить, разом покончить... с чем?

.

Феденька явился ко мне совсем неожиданно – 1 мая. Он воспользовался тем, что в этот день все комиссии отправились гулять в Екатеринбург, и вспомнил обо мне.

– Ну, вот и я, – весело сказал он, входя ко мне в кабинет, – но предупреждаю вас, дядя, что теперь, больше чем когда-нибудь, скромность для меня обязательна. Я думаю, впрочем, что есть почва, на которой мы оба можем чувствовать себя

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
одинаково по себе – и именно почва общих вопросов. Не так ли, mon oncle?

– Конечно, мой друг; мы будем ставить вопросы, будем обсуждать их независимо от условий места и времени, а затем...

– А затем, если вы найдете нужным вывести интересующие вас заключения, то, конечно, в виду высказанных соображений, это не представит для вас особенного труда.

В эту минуту Феденька был очень хорош. Придумавши эту комбинацию, он, я уверен, мнил себя дипломатом, которому в будущем ничего не будет стоить вопрос о проливах разрешить, а ежели потребуется, то и туркину жизнь прекратить.

– Итак, поставим вопрос о литературе, – начал я, – как ты думаешь, украшает она или не украшает?

– Ну, это смотря по тому...

– Прекрасно; ты впоследствии выскажешь свои возражения, если найдешь нужным. Я же утверждаю безусловно: да, украшает. Литература есть воплощение всех духовных сил страны, и ежели ее нет, то это значит, что духовные силы находятся в отсутствии или таятся глубоко под спудом. Общество, не имеющее литературы, не сознает себя обществом; страна, не обладающая памятниками литературы, стоит вне общения и привлекает любопытство только в качестве диковины; об государстве и говорить нечего: оно самым происхождением своим обязано литературе. У вотяков нет ни письмен, ни песен, есть только предание, что была в старину какая-то книга, да ее корова съела, поэтому – то в этом племени так мало устойчивости, что не далеко время, когда оно само, быть может, сделается преданием.

– Но ведь никто, mon oncle, и не отрицает, что литература – одна из функций общественного существования...

– Не «одна из функций», а главная и самая животворящая. Все, что ты ни видишь кругом, – все это дала литература. Квартира, в которой ты живешь, сюртук, в котором ты одет, чай, который ты сию минуту пьешь, булка, которую ты ешь, – все, все идет оттуда. Если б не было литературы, ты ходил бы на четвереньках, обросший шерстью, лакал бы болотную воду и питался бы сырыми злаками и акридами. Но предположим, что это история давнишняя, проследить которую трудно, но даже помимо тех обиходных удобств, которые ты принимаешь как факт совершившийся и не подлежащий обследованию, все удобства, наслаждения и утешения высшего разряда, все, что требует пытливый ум, развитый вкус, чуткое чувство, – все это инстинктивно ищешь в литературе, а не в ином месте. И находишь – вот в чем существенное. Все знания, которые ты имеешь, даны тебе ею, все представления, понятия, суждения, правила, все, чем ты руководишься в жизни, выработано ею. Даже понятие о неблагонамеренности литературы – и то ты почерпал из нее, а непосредственно никак не добрался бы до него, потому что, повторяю, без литературы ты ходил бы в настоящую минуту обросший шерстью и лакал бы болотную воду. Без литературы не было бы ни живописи, ни музыки, ни искусства вообще, потому что она все разложила – и звук, и свет, – и она же все сочтала. Без ее инициативы, без того светоча, который она всюду приносит с собой, и звуки, и краски – все было бы смешение, хаос. Даже техника искусств – и та обязана тою или другою степенью совершенства посредничеству литературы, потому что искусство, само по себе, немо и разъединено, одна литература имеет привилегию «гласить во все концы»; она одна имеет дар всех соединять под сению своею и всем давать возможность вкусить от сладости общения мыслью. Стало быть, опера, которую ты наслаждаешься, картина, которую ты созерцаешь с восхищением, – все это дала тебе литература. Мало того: она дала человеку возможность различать добро от зла, она выработала условия общежития, научила повиноваться, повелевать... Кто поведал тебе:

И дым отечества нам сладок и приятен...

Откуда ты узнал:

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, моя родная,

В рабском виде царь небесный

Исходил, благословляя...

Все там же, все в той же литературе это сказано и запечатлено навсегда, чтобы снять покровы с твоей умственной дремоты, чтоб заставить тебя умиляться сердцем

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и хоть на короткое время дать тебе возможность обратиться к себе, к своей совести! О Федя! ужели всего этого мало для того, чтобы заслужить право на вечную признательность, вечное удивление, не говоря уже об устранении всякой мысли о жестоком обращении?

– Но разве кто-нибудь спорит...

– Нет, пойдем дальше. Снисходя к твоей слабости, я допускаю даже возможным находить удовольствие в обществе кокетки, «дамочки» и т. д. Но эту кокетку – кто тебе ее преподнес? эту «дамочку» – кто ее сформировал? Предположим, что это услуга не особенно ценная (литература даже на такие услуги имеет право, потому что она же и поправляет их), но не будь ее, бегал бы ты теперь на четвереньках за какой-нибудь хавроньей, и те же пакости, которые ты теперь изъясняешь на таком изящном французском языке, ты выражал бы простым хрюканьем. Федя! ужели и за это ты не признателен?

– Mon opcle! вы очень удачно соединили в один фокус те услуги, которые оказывала и продолжает оказывать литература обществу; но вы упустили из виду одно обстоятельство, которое, с точки зрения государственности, имеет несомненно важное значение: вы не упомянули о заблуждениях.

– Это насчет кокеток и дамочек, что ли? Так ведь я уж сказал, что литература даже и не весьма полезные услуги вправе оказывать, потому что она же их и поправляет и даже совсем упраздняет.

– Нет, не об том речь. Я говорю о заправских заблуждениях, о тех, которые подрывают основы общества, – вот об чем.

– А кокетки и дамочки, по-твоему, утверждают основы общества?

– Не уклоняйтесь, mon opcle! Оставим в стороне «дамочек» и будем говорить о настоящих заблуждениях. Будете ли вы так смелы, чтоб утверждать, что литература – не всегда, конечно, но очень, очень-таки нередко – служит проводником заблуждений в обществе?

– Отчего же мне не иметь этой смелости!

– Voyons! [119] Это очень любопытно.

– Прежде всего, повторяю тебе, что литература имеет право давать в своих недрах место заблуждениям, потому что она же и поправляет эти заблуждения. Но и независимо от этого, так сказать, формального права, литература уже потому обязана допускать заблуждения, что они составляют тот трудный подготовительный процесс, в результате которого является истина. Истина – не клад, случайно находимый в поле, и не болид, падающий с неба совсем готовым; она дается ищущему ценою величайших жертв и усилий, ценою долгих и мучительных заблуждений. Кто не искал истины, тот, конечно, не заблуждался, но положение это можно редактировать и так: кто искал истину, тот непременно заблуждался. История всех величайших открытий и изобретений, изменивших физиономию мира, доказывает это. И хлеб не явился прямо в виде той отчетливо испеченной булки, которую ты находишь у Вебера, но прошел сквозь целый ряд заблуждений. Ты возразишь, конечно, что никто и не протестует против заблуждений, в результате которых явились: типографский станок, железная дорога, сила пара и проч. Да, теперь, разумеется, никто не протестует, потому что факт налицо, но в свое время, тогда, когда к истине пробирались путем заблуждений, были и протесты, и насмешки, и злорадство, и голодная смерть. Но ты так любезен, что охотно допускаешь заблуждения в сфере материальных интересов и даже с удовольствием взираешь на вятского мужичка, который посвящает свою жизнь изобретению *perpetuum mobile*. Ты говоришь, что не эти заблуждения вредны, а заблуждения мира духовного, которые бесплодно волнуют мир, не принося за собой никаких улучшений. Сообрази, однако ж: разве дверь в область духовных интересов заперта? Разве природа, сама природа, не держит ее для всех открытою? разве не одинаково свойственно человеку интересоваться как материальным, так и нравственным миром? А коль скоро все это открыто, свойственно и дано человеку помимо его произвола, то каким же образом он, без явного насилия, без дерзости, без бунта, разгородит две эти области? И вот литература входит в эту открытую дверь и все встречающееся за ней подвергает своему исследованию. Но здесь заблуждения еще более возможны и понятны, потому что вопросы мира духовного более сложны и запутаны, нежели вопросы мира

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вещественного. Литература дает им место и не может не дать, потому что в них-то и заключается принцип искания истины. Ты признаешь установившиеся формы общезнания, ты эксплуатируешь их, не нахвалишься ими, стоишь за них горой, но не забудь, что и они когда-то считались заблуждениями и что не пройди они сквозь искус горчайших испытаний, не встреть на пути своем твердых людей, которые вынесли их на плечах своих, – ты, разумеется, не наслаждался бы ими и не был бы коллежским советником на утренней заре твоей жизни, как теперь. Ах, друг мой, друг мой! трудно ведь жить без идеалов из мира нравственного, так трудно, что за недостатком настоящего светоча человек хоть сальную свечку засветит и поставит перед собой. Конечно, я не могу тебе представить, для подкрепления моей мысли, примеры из современного нашего обихода, но поверь мне, что даже любая московская кликуша – и та не сразу пришла к обладанию истиной, которая дает ей возможность отлить литературе «горяченьких», но тоже усердно и достаточно долго заблуждалась. И либеральничала, и потрясала, и подрывала – всего, всего было. Так-то, мой друг!

– Дядя! но ведь эти заблуждения не остаются в недрах литературы, они переходят из нее в общество, волнуют его, и в этом-то именно – ведь все очень хорошо понимают, что только в этом – заключается опасность. Постепенность и своевременность в постановке вопросов мира духовного – вот цель, которую имеет в виду мудрость, а совсем не насильственное прекращение их.

– И на это тебе ответ: ошибочно думают те, которые возлагают на литературу обязанность иметь полицейский надзор за теми последствиями, которые могут иметь место как процесс ее работ, так и окончательные их выводы. Все осязаемое и предполагаемое, доказанное и гадательное – вот задача, которая предложит литературе, и она разрабатывает эту задачу, потому что это ее право, а затем совершенно не знает, что из добытых ею результатов будет взято обществом и что отвергнуто. Ежели общество злоупотребляет этими результатами, то прекращение этих злоупотреблений зависит от установленной власти, а не от литературы, которая не имеет полномочий ни разрешать, ни запрещать. Во всяком случае, литература тут в стороне, и считать ее солидарною с временными общественными неурядицами и вследствие этого призывать на скамью подсудимых – значит не только допускать величайшую несправедливость, но и останавливать всякое развитие жизни. Да и неурядицы, о которых идет речь, – не слишком ли преувеличивают их значение? Общество, конечно, способно увлекаться, и бывают минуты, когда эти увлечения самым нежелательным образом обостряются, но это далеко не исчерпывает всех функций общественной жизни. Напротив, видя неперестающее развитие форм общественной жизни, выражающееся и в смягчении нравов, и в большей доступности тех благ, которые когда-то считались заповедными, имеется полнейшее основание предположить, что истины усваиваются обществом гораздо охотнее, нежели заблуждения. Ведь не инквизиторы одержали победу, а Галилей, не ветхозаветное рабство легло в основании истории человечества, а новозаветная свобода. Стало быть, и на общество тоже много клеветают. А что касается до пресловутой своевременности, то позволь тебе сказать, что это термин чисто административный, и литература не имеет никакого права принимать его в расчет. Помилуй! ежели возложить на нее обязанность следить за своевременностью или несвоевременностью, то одно определение этих терминов, в соображении с целой массой самых разнообразных условий, возьмет столько времени, что всякое дальнейшее движение в разработке истинных, насущнейших задач должно будет остановиться и закоснеть.

Я замолчал. Все до сих пор высказанное мною о праве литературы на безответственность и неприкосновенность казалось мне до такой степени ясным и непререкаемым, что, признаюсь, мне даже неприятно было бы услышать со стороны феденьки какое-нибудь возражение из сферы пресечений и предупреждений. Я страстно и исключительно предан литературе; я признаю ее всецело, со всеми осложнениями и уклонениями, даже с московскими кликушами. Порою эти осложнения бывают очень мучительны, почти нестерпимы, но они пройдут, исчезнут, растают, и только усилия честной мысли останутся незыблемыми – таково мое глубокое убеждение.

Не будь у меня этого убеждения, этой веры в литературу, мне было бы больно жить. Я до того сжился с представлением, что литература есть единственное убежище, где мысль человеческая, даже заблуждающаяся, может оставаться честною, незапятнанною, что всякое вторжение в эту сферу казалось мне жестоким и ничем не оправдываемым. Лично я всем обязан литературе, всеми лучшими минутами в жизни, всеми утешениями и совершенно искренно вижу в ней единственное благо, которое мне было дано испытать в жизни. Да и не я один, но всякий, кто сознает себя

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru человеком, в то же время понимает, что вне литературы нет блага, нет утешения, нет жизни. Даже комиссия на случай могущего быть светопреставления, по-видимому, знает это, потому что она прежде всего предположила открыть это торжество гимном. Она полагала, что, благодаря гимну, разом смягчатся чересчур суровые тоны торжества, и – кто же знает? – быть может, и самого светопреставления не будет.

Кажется, и Феденька заметил охватившее меня волнение и тоже молчал. Это была с его стороны деликатность, за которую я очень ему был благодарен. Вообще этот малый отнюдь не страшен. Он строг, покуда заседает в комиссиях, но в частных отношениях даже приятен.

– Я понимаю, что вы не можете говорить иначе, дядя, – наконец произнес он, – и потому не берусь даже возражать вам. Но я вижу одно неудобство в нашей беседе: вы слишком абстрактно ставите вопрос, тогда как, при настоящих условиях жизни, он стоит гораздо проще и осязательнее. Те отзывы о литературе, которыми вы интересуетесь, совсем не имеют в виду Галилеев, Байронов, Шиллеров, а нашу обиходную, будничную литературу, которая занимается совсем не мировыми вопросами, а обыкновеннейшею злобою дня.

– Но ведь тут разница только в размерах, голубчик. Положим, что современная наша литература не особенно высоко стоит, но, во-первых, тут встречается вопрос, отчего уровень ее так низок, а во-вторых, как бы ни была она малопродуктивна, все-таки она на целую голову выше всего остального.

– Это ваше мнение, *mon opіe*, – мнение очень понятное, потому что вы сами всецело принадлежите литературе, но есть люди, и при том очень компетентные, которые смотрят на подобные мнения, как на преувеличение. Литература наша не оригинальна, не серьезна и не самостоятельна: она даже существованием своим обязана воздействию. Она может увлекаться не действительными потребностями времени и места, но просто эффектно известными положений и восприимчивостью своего темперамента. Вот эта-то склонность к увлечениям и наводит на мысль о необходимости известных руководительных начал.

– Руководительных начал... в каком смысле? В том ли, чтоб помочь литературе сделаться оригинальною, серьезною и самостоятельною? Или наоборот?

– Нет... то есть, конечно... Разумеется, в результате все это придет... Но, с другой стороны, все это придет вооруженное опытом, очищенное от преувеличений, и тогда...

– И тогда, и всегда, и ныне, и во веки веков будут указывать на преувеличения. Всегда будут предостерегать от преувеличений и указывать на вотяцкую мудрость, как на идеал. Известно, что у вотяков даже песен нет. Едет вотяк, видит забор – поет: забор, забор, забор, до тех пор, пока не увидит поля, – тогда начинает петь: поле, поле, поле, и так без конца. Вот это не преувеличение, а настоящая и желательная мудрость. Не гляди ни вперед, ни назад, ни в сторону, а воспевай те предметы, которые встречаются на пути. Ну, что ж? отлично!

– И это, *mon opіe*, опять-таки преувеличение. Напротив, всякий охотно допускает, что литература может даже оказывать помощь, но именно помощь, а не противодействие. Вот это-то и необходимо различать.

– То есть нужно писать дифирамбы и не допускать критики?

– Ах, *mon opіe*!

Очевидно, это был порочный круг. И нужна самостоятельность, и не нужна, то есть нужна «известная» самостоятельность. И нужна критика, и не нужна, то есть нужна «известная» критика. Положим, что Феденька молод и не особенно искусен в диалектике; но ведь он везде бывает, слышит всякие разговоры, – что-нибудь да прилипает к нему. Если он говорит не последовательно, а обрывками – стало быть, и разговоры, которые он слышит, тоже ведутся не последовательно, а обрывками. Существуют люди, которые могут гудеть по целым часам, и все-таки в этом гудении ничего не уловишь, кроме обрывков. Феденька слушает все эти гудения, и обрывки оных запечатлеваются в его памяти. Перед ним не церемонятся, выкладывают все впусе лежащее, потому что он «адепт». И он со временем будет гудеть, и все его сверстники и соратники в деле составления карьер. Кто кого перегудит, тот и возвеличится. Не любовь к стране, не желание ей добра, не знание ее потребностей

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru будет составлять содержание этих гудений, а именно нечто впусте лежащее, к чему, ради пряности, по воле рока, имеет быть пристегиваема злосчастливая русская литература.

Ввиду всего этого я понял, что на почве обобщений оставаться было нельзя. Феденька слишком конкретен, слишком канцелярски мудр, чтоб идти дальше непосредственных результатов и чувствовать какую-либо иную потребность, кроме потребности мероприятий. Поэтому я решился уступить ему.

– Прекрасно, пусть будет так, что все мною высказанное, не что иное, как преувеличение, – сказал я, – будем же говорить прямо, в чем заключаются обвинения, взводимые на литературу?

– Я надеюсь, *mon opcle*, что вы позволите мне говорить лично от себя?

– То есть ты хочешь сказать, что все дальнейшее будет результатом твоих личных мнений?

– Да; я говорю от себя, я никого не компрометирую... Ежели я ошибаюсь, то ошибки эти будут принадлежать мне лично.

– Похвально, мой друг! говори!

Феденька с минуту помолчал и затем каким-то шипящим голосом произнес:

– Дядя, скажите, зачем ваша литература с таким упорством ищет подорвать и осмеять самые священнейшие основы нашего общества?

Я взглянул на него и изумился феномену, который в какую-нибудь минуту произошел передо мной. Лицо его, обыкновенно благодушное, слегка позеленело и смотрело сурово; глаза имели сердитое, чуть не злое выражение; губы побледнели и вздрагивали. Так велика была в этом способном молодом человеке готовность восторгаться чужими восторгами и озлобляться чужими озлоблениями.

– Что ты! Христос с тобой! – воскликнул я, несколько испуганный.

– Нет, если уж вы хотите, чтобы я говорил, то я серьезно спрашиваю вас: с какого права ваша литература так настойчиво нападает на священнейшие основы нашей жизни? В каком виде она изображает семью, собственность... государство?

– На это могу тебе ответить, что я уже достаточно говорил о праве литературы подвергать критическому исследованию все вообще вопросы жизни, и ко всему сказанному могу прибавить только одно, что «исследовать» вовсе не означает ни «подорвать», ни «нападать», ни «осмеивать», ни «представлять». Но так как ты настойчиво возвращаешься к этому предмету, то очевидно, что ты имеешь в виду именно современную русскую литературу. Ты хочешь сказать, вероятно, что литература нарочито и систематически поднимает известные вопросы, что она предвидит те волнения, которые они должны произвести в обществе, что эти волнения ей нравятся; одним словом, что не будь назойливого вмешательства литературы, ни вопросов, ни волнений, по-видимому, не существовало бы. Подумай, однако ж, нет ли тут смешения? Не приписываешь ли ты литературе то, что по праву принадлежит самому обществу или, по крайней мере, той части его, которой специально присваивается это название? Я, по крайней мере, полагаю, что литература вовсе в этом случае ничего не выдумывает, а только констатирует. Не литература же разожгла аппетиты Юханцевых, Кавальчуковых и целого легиона тех, которые в государстве видят лишь пирог с даровою начинкой? Право, не литература. Эти аппетиты разожглись сами собой, вследствие наплыва целой массы праздных людей, оставшихся за бортом с упразднением крепостного права. Конечно, литература заметила этот факт, но разве она имела право пропустить его? – Нет, не имела права, потому что иначе она должна была бы навсегда остаться при анекдотах о пошехонцах. И скажу тебе прямо: ежели литература изображает семью расшатанную, собственность поруганную, идею государства эксплуатируемую всевозможными пройдохами, то этим она не только не подрывает подрытого, но, напротив, пробуждает общественную совесть. И что же это за принципы, которые всякий ежели не прямо преступает, то, по крайней мере, обходит, насколько возможно? Правда, что общество лицемерно и посмеивается над принципами «потихоньку», но разве одним лицемерием общество может жить? Вот этого-то права лицемерить и не признает литература за обществом. Она говорит обществу: или

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru держись унаследованных тобою принципов, или сознайся в своей несостоятельности. И что до меня, то я в этих обличениях <вижу> начало охранительное, а отнюдь не разрушительное, и ежели сетую по временам на нашу литературу, то отнюдь не за смелость и настойчивость ее обличений, а, напротив, за то, что она робка, неустойчива и отнюдь-отнюдь не влиятельна. Помилуй! один езоповский язык чего стоит! Понимаешь ли ты, как это трудно, изнурительно, даже погано? В состоянии ли ты это понять?

– Могу, дядя, и, признаюсь, не печалюсь об этом. Я готов бы был, однако ж, согласиться с вашими оправдательными доводами, если б дело шло только о логике идей. Но, кроме нее, есть еще логика фактов, и вот она-то заставляет меня быть осмотрительным. Я понимаю вашу защиту, но в то же время чувствую, что в ней чего-то недостает, что она не вполне искрення и что-то скрывает. Не так ли, mon oncle?

– Может быть, друг мой. Во всяком случае, значит, мы оба остаемся каждый при своих показаниях. Что бы я ни говорил, ты охотно признаешь справедливость моих доводов, но внутренно будешь «чувствовать», что в них чего-то недостает! Отлично. Стало быть, обвинение первое: колебание основ – остается в своей силе. Дальше?

– Дальше, mon oncle, это направление и подбор статей. Разверните любую книжку журнала, любой газетный листок – и вы увидите, что все, от первой строки до последней, все бьет в одну точку, все твердит об одном и том же.

– А тебе хотелось бы литературного косоглазия?

– Charmant, mon oncle! [120]

– Послушай! Я очень хорошо понимаю, об какой ты точке говоришь, а так как я только что сейчас бесплодно возражал против этого обвинения, то и не считаю нужным повторяться. Ведь не на ту же точку ты негодуешь, в которую бьет, например, господин Цитович?

– Конечно, не на ту. А что ни говорите о Цитовиче, дядя, это человек, который выказал действительное мужество.

– Не знаю, мой друг. Быть может, я сужу легкомысленно, но когда я читал последние брошюры господина Цитовича, мне почему-то представлялось, что он пишет их от имени человека, который ужасно любит засиживаться в ретиранных местах. Другие посещают эти места лишь по необходимости, а он любит зайти, чтоб посидеть, а может быть, и на стенах что-нибудь подходящее написать.

– Charmant! Charmant! Charmant! Но не будемте уклоняться в сторону и возвратимся к направлению. Вы, конечно, уже отчасти возразили на это обвинение; но не совсем, однако ж, mon oncle, не совсем!

– Чего же тебе, собственно, надобно?

– Я настаиваю на подборе статей. Зачем это? Почему бы не разнообразить предлагаемого публике чтения? Почему бы рядом с статьей, трактующей об явлениях неутешительных, не поместить другой, которая изображает оборотную сторону медали? зачем забивать мысль читателя одними будничными перспективами? зачем не освежать ее беседою о предметах возвышенных, вызывающих в человеке парение, а не пригибающих его к земле да к земле?

– Да просто затем, что у всякого времени есть своя задача и свои способы для выражения этой задачи. Ведь и Цитович не бог знает о каких возвышенных предметах говорит, когда извещает публику, что мать, на известном жаргоне, называется «мокрою квартирой на девять месяцев», однако ж, ты одобряешь его?

– Одобряю, потому что знаю, что это высказано под наплывом негодования. Как хотите, mon oncle, а это очень удачно сказано. И ежели Цитович это изобрел, то я понимаю, как должно было играть его сердце, когда эта пакость, так сказать, вдруг снизошла на него. Но литература или, лучше сказать, журналистика наша – это совсем другое дело. С ее стороны, это система, это – предвзятое...

– Да, пойми же, ради Христа, ведь журналы и газеты издают тоже люди, а не

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru типографские станки. Эти люди сходятся не затем, чтоб горланить всякий случайный вздор, но затем, чтобы высказать что-нибудь бесполезное. Они условливаются между собой, и только тогда, когда убеждаются в солидарности взглядов на предстоящее дело, только тогда решаются приступить к нему сообща. Их много, но, в сущности, все они составляют одного человека. Пойми же, как трудно этому собирательному человеку начинать за здоровье и кончать за упокой. Тут не предвзятость совсем, а просто естественное положение вещей, которого, даже в угоду тебе, изменить нельзя. Да, наконец, и в этом отношении разве мало уступок? разве мало розанов насаждают даже те из наших журналов и газет, которые всего менее пристрастны к розанам? Да и переводятся нынче эти розаны и пахнут как-то совсем не так.

– Это не ответ, топ опсе. И розы, и соловьи, и небо – все это есть, и все это мы видим, и слышим, и обоняем, и всем наслаждаемся. Только литература наша считает долгом игнорировать эти возвышающие дух картины и заменять их холодным перечислением язв. Как хотите, а это заговор! Заговор и есть!

Разумеется, не тот, который именуется в законе преступлением, а тот, который испокон веков разлит в воздухе и, говоря по правде, никогда не прекращался. Это заговор, в котором принимает участие не одна литература, а всё и вся. Значит, язвы настолько обострились, что никому не дают ни отдыха, ни срока, значит, не только писать, но и думать ни о чем больше нельзя, значит, до тех пор, пока будут существовать язвы, будет существовать и заговор. Ты думаешь, что у Бореля, Донона, Дюссо нет заговорщиков? что ты и твои сверстники, люди несомненно надежные, только едите и пьете, а не конферируете? Ошибаешься, друг мой! Ручаюсь, что не проходит и десяти минут без того, чтоб ты не почувствовал себя неловко, и совсем не потому, чтобы тебе вспомнилось о соловьях и розах, а именно потому, что там, среди ресторанных татар, в виду улыбающегося соммелье, тебя все-таки настигают язвы. Стало быть, и вы участвуете в заговоре, участвуете тем, что помышляете о предмете его. Вам неприятен этот предмет, вы желаете отогнать его, но он тут и не отстает от вас. Он не оставляет в покое никого – как же ты хочешь, чтоб от него отвернулась литература, для которой исследование явлений жизни составляет *conditio sine qua non*[121] существования? Ты скажешь, конечно, что бывали же в русской литературе и розы и соловьи... бывали, мой друг, все в свое время было! Но теперь ты не найдешь двух литераторов, которые решились бы беседовать о соловьях и розах; даже те, которые некогда пели об этом, – и те ныне пускают шип по-змеиному. Ужели это нарочно делается, чтоб досадить тебе или тем, чьих мнений ты служишь эхом? Ведь со стороны журналов было бы не только не политично, но даже и глупо не поступиться хоть несколькими печатными листами в год, в пользу роз и соловьев, чтобы водворить мир в взволнованных сердцах! Но, во-первых, писателей таких нет, а во-вторых, и читателя для соловьев и роз едва ли сыщешь.

– Стало быть, нашей литературе так и суждено пропахнуть мужиком?

– Вот-вот-вот, этого-то именно я и ждал. Все эти основы, направления, подборы – все это мы охотно бы перенесли, если б не примешался тут, в виде занозы, мужик. Скажу тебе откровенно, мне самому по временам наша литература кажется несколько однообразною, через край переполненною мужиком. Черт возьми! Ведь и я... да, брат, я тоже не чужд соловьев и роз... Но, присмотревшись к делу пристальнее, приходится согласиться, что иначе оно не может и быть. Как ни вертись, а мужик – герой современности. И не со вчерашнего дня, впрочем, это так повелось, а давненько-таки. Ты, разумеется, не был очевидцем «начала», но я не только помню, но даже лично присутствовал при нем. Я помню «Деревню», помню «Антон Горемыку». Это был первый благодетельный весенний гром и первые хорошие человеческие слезы. И с легкой руки Григоровича представление о мужике прочно залегло и в литературе и в обществе, а с половины пятидесятых годов оно сделалось уже господствующим в русской жизни. Все, что ни есть мыслящего в России, отлично понимает, что куда бы ни обратились взоры, – везде они встретятся с проблемой о мужике. Лучшие государственные люди последнего времени все силы свои отдали мужику, и рядом с ними тому же мужику всецело посвящали себя и лучшие представители нашей интеллигенции. Припомни годы «освобождения» и сознайся, что никогда этому слову не придавалось более широкого смысла, никогда интерес, возбужденный им в обществе, не граничил так близко с энтузиазмом. Оказалось, что название «мужик» выражает нечто очень сложное, почти всепроникающее. Всем он нужен, у всех как бельмо на глазу. Помещик, заводчик, фабрикант, подрядчик, одним словом, всякий человек, делающий какое-нибудь дело, понимает, что в этом деле на первом плане стоит мужик. Должна понимать это и литература. Но если мужик так всем необходим,

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru то надо же знать, что он такое, что он представляет собой как в действительности, так и in potentia, [122] какие его нравы и обычаи, с которой стороны и как к нему подойти. И, к удивлению, оказывается, что это совсем не просто и что мир мужицких отношений значительно сложнее и запутаннее, нежели тот, в котором привыкли вращаться мы, люди интеллигенции. Но раз отворивши дверь в эту область загадок, затворить ее уж нельзя. Во-первых, этому воспрепятствует свойственная интеллигентному человеку любознательность; во-вторых, личный интерес каждого будет всеминутно подстрекать: иди до конца, дознайся и определи; а в-третьих, дверь сама просто-напросто окажется неудобозатворимой. Вот отчего современная атмосфера так и насыщена мужиком: очень уж много оттуда лезет, из этой незатворимой двери. Должно быть, мы чересчур уж долго занимались розами, соловьями и вожделевыми помещиками, так что теперь...

На этом слове речь моя была прервана сильным звонком, раздавшимся в передней. Приехал курьер, возвестивший Феденьке, что Иван Михайлыч изволил благополучно возвратиться из Екатерингофа. Мой юный друг начал поспешно прощаться, и я, признаюсь, не удерживал его. Надоело.

ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Физиономия нашей литературы, за последние пятнадцать лет, значительно изменилась, и, надо сказать правду, изменилась в смысле не особенно благоприятном для развития общественной мысли. Значение больших (ежемесячных) журналов упало, а вместо них, в роли руководителей общественного мнения, выступили ежедневные газеты. Вместе с этим, литературная сила, и без того не весьма обильная, раздробилась и измельчала, а отношения литературы к вопросам, занимающим общество, сделались поверхностными, тревожными, непоследовательными. В ежемесячном журнале легко уследить всякую погрешность относительно высказанных однажды принципов; в ежедневной газете это почти невозможно. Газету до такой степени охватывают мелочи дня, что далее самый добросовестный состав редакции не может от времени до времени не впадать в противоречия, а что касается до деятелей прямо недобросовестных, то им тут широкое поле. Какая возможность изо дня в день следить за этою неперемежающею беседою о всем вообще и о каждом предмете в особенности? И какая надобность следить? Кому нужна газета на другой день или даже через час по прочтении ее? Газету можно уподобить блинам, которыми пользуются, пока они горячи; как только блин остыл, это, по выражению казанских татар, уже не блин, а «погана лепешка». Читатель знает это и относится к газетной неустойчивости вполне снисходительно. Во-первых, он понимает, что газета не претендует на деятельность строго литературную, а представляет собой лишь образец литературного проворства; во-вторых, ему неизвестно, что каждый день может привести за собой такой вопрос, о котором человеку неподъяремному и думать-то противно и по поводу которого подъяремная газета должна во что бы то ни стало высказаться, тогда как ежемесячный журнал может и промолчать.

Господство газеты упразднило и критику. Газетный писатель знает хорошо, что его деятельность эфемерная, что он работает только на один час, и потому совершенно равнодушен к отзывам об нем критики. Весь погруженный в срочную работу, он уже позабыл о вчерашней «поганой лепешке» и думает лишь о том, как бы половчее замесить завтрашнюю «поганую лепешку». Для чего ему критика? да и что может она об нем сказать? что вот такой-то X, говоря о таком-то предмете, соврал, – позвольте! когда ж это было? неделю тому назад! помилуйте! с тех пор он об том же предмете успел уж два раза пересоврать, а впереди дней еще много – какая же возможность уследить за ним критике! Да и стоит ли? все это явления до того мелкие, что их даже зашипнуть нельзя. И притом, кто этот X? почему не Y, не Z? Кто тут ответственное лицо? Редактор? Но ведь понятное дело, что редактор не может же сочинять всю газету и что, в большинстве случаев, он только попуститель. За редактором скрывается целая фаланга деятелей, из которых каждый обладает особой физиономией. Вот этих-то деятелей и нет, и никакая критика не уловит их. Критика знает Тургеневых, Островских, Толстых, Добролюбовых, Писаревых, но для нее вполне немислимо интересоваться теми микроскопическими величинами, на обязанности которых лежит забота компоновать газетный номер. Если б даже эти микроскопические величины подписывали под статьями свои имена – все-таки они не перестанут быть иксами, игреками и зетами, потому что их деятельность настолько разбросана и представляется в виде такого измельченного порошка, что нет никакой возможности собрать ее в один фокус. Это делает газетных деятелей, в большинстве случаев, совершенно безответственными, а безответственность, в свою очередь, производит такое равнодушие к отзывам критики, что иному, как говорится, как кол на голове теши, он все-таки не поймет никаких резонов.

Единственная оценка, которую имеет в виду газета и которую дорожит, – это успех в публике. В последние пятнадцать лет успех этот в значительной мере обуславливается розничной продажей, что, разумеется, еще больше подстрекает проворство газетчиков. Речь идет уже не о том, чтобы обсуждать насущные вопросы добросовестно и всесторонне, а только, чтоб «подать горячо». Но и не в розничной продаже главное – отчего же и не сделать газеты доступными для возможно большей массы читателей? – а в том, что с представлением о розничной продаже сопрягается представление об известной карательной мере, и это несомненно самым вредным образом действует на независимость и достоинство газеты. Все мы под богом ходим, но газеты ходят сугубо. Ужасное это чувство – сидеть в своей лавочке и видеть, как из соседней лавочки ежедневно на шесть, на семь лишних пяточков вас переторговывают. Икс! Игрек! Зет! что вы носы повесили! Живо беритесь за перья и пишите такое, чтоб небу жарко было! И берутся за перья, и пишут. Конечно, было бы несправедливо сказать, что это явление обыденное и неизбежное, но что обладание правом розничной продажи или неимение этого права должно влиять на тон газеты – это несомненно! Откиньте в сторону пяточки, и все-таки перед вами останется тот факт, что всякая газета фаталистически должна заботиться о том, чтобы круг ее читателей не был искусственно сокращаем. А это порождает необходимость компромиссов.

Таким образом, употребляя все усилия, чтоб распространить круг своих читателей, газетная печать постоянно видит себя между двух огней. Во-первых, ей нужно удержать за собой розничную продажу, которая дает газете возможность проникнуть в такие закоулки, куда журнал, пользующийся лишь годовыми подписчиками, не может и мечтать проникнуть; во-вторых, ей необходимо оживлять столбцы, потому что иначе ее не будут читать. Очень часто эти две вещи несовместимы, и надо иметь поистине мудрость змеи, чтобы поймать этих двух зайцев. Право на розничную продажу требует сдержанности и хорошего поведения, что, при известной дозе добросовестности, угрожает газете бесцветностью. Напротив, потребность уловить читателя требует «горяченьких». Как согласовать это противоречие? Является вопрос: об чем и как говорить?

Вопрос на первый взгляд очень странный. Кажется, нужна лишь самая небольшая доля внимания, чтобы всякого рода задачи явились во множестве. Все в современной жизни русского общества в высшей степени интересно, все может служить предметом для поучительнейших исследований. Возьмите, например, хоть такое явление, как профессор Цитович. Что могло породить его? какие горькие условия могли вынудить этого «апостола науки» взяться за ремесло городского, ремесло, несомненно, полезное, но все-таки не имеющее с наукой ничего общего? Что заставило этого жреца правды и справедливости обогатить нашу фразеологию целой массой хлестких, образных, но вполне бесчестных выражений? Ужели не любопытно, что на место Грановских, Крюковых, Кудрявцевых, Пироговых выступают такие ратоборцы, как Цитович, Богдановский (одесский), Цион и проч.? Разве не изумительно, что читатель, знающий, например, отношения Шевырева и Никиты Крылова к Грановскому и другим и столько раз негодовавший по поводу этих отношений, теперь восклицает: о Шевырев! о Никита Крылов! о благороднейшие! о скромнейшие! И что же! разве это явление разъяснено? – Ничуть не бывало. Все дело ограничилось выписками из брошюр Цитовича и отчасти похвальными, отчасти же гневными отзывами по их поводу. Но что породило г. Цитовича – это так и осталось покрытым мраком неизвестности, а так как Цитович «прейдет», не оставив за собой ничего (ex nihilo nihil[123]), то потомство будет в этом явлении видеть только неприглядную случайность, тогда как, в сущности, это один из чудовищнейших отпрысков, совершенно достаточный для того, чтобы характеризовать время, в которое он появился, словами Нибура: «В это несчастное время злое начало в человеке пришло к полному и спокойному сознанию самого себя» (Нибур, Характеристика персов во время войн Александра Македонского. См. соч. Грановского, т. II, стр. 119).

Или другое явление: всеобщее, повсеместное равнодушие к общественным интересам – разве оно разъяснено? Конечно, в любой газете вы встретите упреки по адресу русского общества в равнодушии к своим собственным делам, но разве такое явление излечивается упреками? Разве интерес к общему делу предписывается? Разве можно убедить человека, сказав ему: ты не лишен способностей, имеешь силу, ум – иди и баллотируйся в земские гласные! Ведь ежели он наделен этими дарами природы, то он и сам должен понимать, что лучше, ежели общественное дело стоит прочно, и что, следовательно, содействовать этой прочности не только обязательно, но интересно, приятно. Несмотря на это, он, однако ж, предпочитает жаться к стороне; ничто его не влечет, ни на что он не возлагает надежд и на самого себя

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru смотрит, как на отрицательную величину. Наконец ежели он, сдаваясь на убеждения, и кидается в омут так называемых общественных интересов, то в самом скором времени возвращается оттуда еще более обескураженный, почти ошеломленный и хорошо еще; ежели не заподозренный. Разве все это разъяснено?

Еще явление. В самые скорбные исторические минуты, когда сердце всякого добродетельного и честного человека должно болеть и истекать кровью, – у нас, наоборот, просыпаются самые злые инстинкты, и изо всех щелей выползают самые вредные и пагубные элементы. И чем печальнее факт, тем сильнее дикая радость этих человеконенавистников. Они мстят за свое недавнее отчуждение, они угрожают в одну минуту стереть всякий след успеха, добытого ценою долгих усилий... Разъяснила ли русская печать это явление? Протестовала ли она против него?

Затем следуют: казнокрадство, чуть не ежечасное расхищение общественных сумм, банкротства, отсутствие всякого понятия о самой формальной честности и это бесконечное, беззаветное поклонение Ваалу, одному Ваалу. Червонные валеты, Юханцевы, Гулак-Артемовские, Ландсберги – вот истинные герои современности, вот те, которым жилось хорошо, которым, по крайней мере, есть чем помянуть прошлое! Правда, что рука прокурора достала их, но разве она достигла каких-нибудь результатов, покарвав их? Разве что-нибудь предупредила? Ведь не имена важны, а факты. Что породило эти факты? Откуда эта повсюдная алчность к наслаждениям наиболее грубого свойства, сопоставленная с повсюдным же равнодушием к общественному делу? Разъяснено ли все это?

Увы! все эти вопросы и великое множество других так и остаются открытыми вопросами. Печать констатирует их существование, но дальше не идет, или же если и разъясняет кой-что, то или совсем по-детски, или уж до того нелепо-злостно, что лучше бы уж и не касаться.

<<КОГДА СТРАНА ИЛИ ОБЩЕСТВО...>>

Когда страна или общество слишком продолжительное время прообразует собой осиновую рощу, в которой ничего не слышно, кроме шума трепета, то из этого возникает два одинаково нежелательных последствия. Во-первых, расплодится великое множество льстецов и, во-вторых, поселится в обществе склонность к вероломству.

О льстецах писано довольно. К лестии преимущественно прибегают или проницательные люди (чиновники, в виду вакантного места, люди, желающие попасть на службу к Полякову, Варшавскому и т. д.), или лакомки (приживальцы, рассказчики сцен из народного быта и т. д.), или, наконец, люди до того пристигнутые, что под иглом невзгод и животолюбия сделались как бы умалишенными (литераторы, либералы, чиновники контрольного ведомства в те времена, когда их подозревали в конституционализме и т. д.). Обыкновенно льстят грубо и неумно, да иначе, впрочем, и нельзя. Чтобы лесть имела право назваться умной, необходимо, чтоб она совпадала с истиною, но тогда, уже очевидно, она перестает быть лестью. Поэтому лесть глупа и незатейлива в самом существе своем, и нет ничего легче, как распознать ее. Так, например, человеку, которому говорят, что он красавец, стоит посмотреть в зеркало, чтоб убедиться, что это ложь; человеку, которому говорят, что он мудрец, стоит только припомнить, как он сейчас только что был глуп, чтобы понять, что двери премудрости и в будущем закрыты для него навсегда. Но на счастье льстецов, объектом их льстивых слов обыкновенно служит так называемый «баловень фортуны», то есть человек или вполне глупый, или вполне ошалелый от счастья. Поэтому грубая лесть ему как нельзя больше впору. Он сидит, хлопает ушами и млеет.

Хотя лесть сама по себе равносильна пошлости, тем не менее она не исключает и примеси трагических элементов. Но трагедия здесь изменяет свой центр, смотря по тому, какие действующие лица занимают сцену. Ежели льстят чиновники, жаждущие мест, или рассказчики сцен из народного быта, то трагизм следует искать не в них (они плавают тут, как рыба в воде), а в той среде, которая порождает подобные явления. Чувствуется, что среда эта насквозь прогнила, и фундамент и стены, и что в этой насыщенной гнилью атмосфере непременно должны задохнуться не только сами лгущие, но и те, которые горьким насильем судьбы поставлены в соприкосновение с нею. Трагедия тем более мрачная, что обыкновенно она не имеет конца. Лгущие процветают, прикосновенные мечутся в тоске – вот и все. Развязкой может быть только светопреставление, то есть акт, который прикроет развалинами и льстецов, и баловней фортуны, и прикосновенных людей. Справедливо ли это? Но когда льстят литераторы и контрольные чины, тогда трагизм сосредоточивается по

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru преимуществу около них. Какое лютое горе пристигло этих людей? какая масса страхов скопилась над ними? что разбудило в них с такой силой инстинкты животолубия? и какой род смерти они изберут впоследствии, когда очнутя и припомнят? Отомстят ли они хотя в отдаленном времени или без дальних слов покорятся? – Ясно, что эти вопросы могут быть разрешены только в смысле трагедии.

Но трагическое в пределах исключительно лести редко всплывает наружу. Во-первых, драматический сценарий здесь сочиняется <и> направляется «баловнями фортуны», которые очень охотно ликуют и вовсе не желают огорчаться. Поэтому ежели и случаются, в течение представления, какие-нибудь умертвия, то они происходят за кулисами. Во-вторых, лесть вообще вынослива. Она долго терпит и до последних крайностей воздерживается от трагедий, ибо знает, что впереди у нее имеется всегда готовый трагический выход – вероломство. Только «баловни фортуны», то есть объекты лести, и направители представления этого не понимают и не предвидят. И это очень удобно, ибо если б они предвидели, то могли бы приготовиться и наслаждаться без конца. И тогда где же была бы справедливость? Но эта самая непредусмотрительность, давая меру глупости и ошалелости «баловней фортуны», служит объяснением, почему

Уж столько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна – и все не впрок...

Не впрок, потому что лесть сладка, а вероломство стоит где-то за горами. Во всяком случае, несомненно одно: что о льстецах писано много и бесплодно. О вероломстве же, как об язве, в известные исторические моменты точащей общество, писано до такой степени мало, что его даже почти не принимают в расчет. А его непременно надобно принимать в расчет, ибо без этого немисливо общественное оздоровление.

Итак: трепетательная практика родит лесть, а лесть родит вероломство. Вот краткая генеалогия той нравственной смуты, которая от времени до времени омрачает страницы истории. Всему корень – трепет; за ним следует лесть, то есть изыскание способов, дабы и среди трепетательной практики можно было сказать: жив есмь и жива душа моя! За лестью, как неизбежное последствие и венец всего, – вероломство. Но главное все-таки – трепет, трепет и трепет. Это общий извечный враг; это сатанинское исчадие; это «отец лжи», на которого должны быть устремлены все взоры и к истреблению которого должны быть направлены все усилия. Так что, в сущности, и вся эта многоактная трагедия должна носить одно общее название: «Трепет».

Вероломство, как я уже сказал выше, составляет последнюю часть этой развратной трилогии. Вступая в область вероломства, мы, так сказать, видим себя в самом сердце трагедии. Тут все трагическое: и вещи и лица. Льстецы – мстители; «баловень фортуны» – жертва. И что всего ужаснее: жертва, не возбуждающая ни малейшей симпатии. Никто не умеет мстить так жестоко, как человек, воспитанный в школе трепета, и никто так бесследно не исчезает, как человек, который пользовался благоприятно сложившимися обстоятельствами, чтоб излить из себя трепет. Это закон, который необходимо помнить. В сущности, и этот закон, и причина, его породившая, и последствия, из него вытекающие, – все это до того бесплодно и постыло, что самая мысль, стоящая на этой почве, представляется как бы постыдною. Но делать нечего, надобно в подобных случаях преодолеть себя и, несмотря на отвращение, сколь возможно чаще напоминать себе об этих постылостях; надо иметь в виду одну цель – необходимость упразднить трепет и преследовать ее без устали. Потому что, в противном случае, он иссушит почву истории.

Мы, русские, очень часто употребляем такие выражения, которые в благоустроенных странах уже давно вышли из употребления. И не потому там выражения эти не допускаются, чтобы они были грубы и неучтивы, но потому, что понятия, им соответствующие, давным-давно исчезли. Так, например, сплошь и рядом случается в нашем домашнем быту слышать: такой-то «выскочил», а следом за тем: такой-то «полетел»; или: такой-то «пролез», и потом – такой-то «шарахнулся». И это говорится в применении не к грибам или клопам, а в применении к так называемым «баловням фортуны».

В благоустроенных обществах нельзя ни «выскочить», ни «пролезть». Там всякое положение выработывается и заслуживается. Человек является на арену публичной деятельности с несомненными правами, и ежели найдется тьма людей, которым не

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сочувственны руководящие начала его деятельности, то все-таки никому не придет в голову спросить его: откуда ты пришел? Пришел – значит, завоевал, заработал свое право прийти. Поэтому же там и «шарахнуть» и «полететь» нельзя, а можно только оказаться не на высоте вновь возникших в обществе требований и вследствие этого быть поставленным в необходимость уступить место другому, более соответствующему этим требованиям. Но ежели нельзя выскочить и пролезть, то, стало быть, нет основания для возникновения касты завистников и льстецов; ежели возможно уйти с публичной арены (на время или навсегда) без участия шараханья и летанья, то, значит, нет надобности ни в подсиживаниях, ни в вероломствах, ни в ругательствах, обыкновенно посылаемых вдогонку. Процесс обновления производится спокойно, правильно, без сюрпризов. Самое выражение «баловень фортуны» в благоустроенных обществах имеет совсем иной смысл. А именно, оно означает человека, счастливо одаренного природою, но никак не счастливого прохвоста.

Исключения из этого правила бывают, но редко и обыкновенно мотивируются очень сложным сцеплением всевозможных горьких недоразумений, в числе которых главное место занимает фаталистическое омрачение общественного сознания, вследствие чего страна временно превращается из благоустроенной в неблагоустроенную. Так, например, о Наполеоне III можно было сказать, что он «пролез» и потом «шарахнулся».

Во всяком случае, нельзя похвалить то общество, в котором слова «пролезть» и «шарахнуть» составляют как бы принадлежность обыденного разговорного языка и в котором понятия, соединенные с этим выражением, являются понятиями нормальными, никого не удивляющими. В подобных обществах и самое выражение «баловень фортуны» становится равносильным выражению «непомнящий родства», хотя громадное большинство и не подозревает этой равносильности. А необходимо, чтоб это было хотя до известной степени понято и усвоено, потому что, в противном случае, скоро сделается совсем неопытно жить. Я очень хорошо понимаю, что нельзя изгнать из сердец целую систему глубоко укоренившихся привычек и представлений; но ежели из сердец нельзя изгнать, то можно хоть на язык быть воздержнее. Не все урчания встревоженного желудка предьявлять, но некоторые оставлять и для домашнего потребления.

Что такое «непомнящий родства»? – Это человек, который на все вопросы о своем далеком и близком прошлом одинаково отвечает: не знаю, не помню. – Где ты родился? – не помню. – Кто твой отец? – не знаю. – Как же ты жил? – где день, где ночь, как придется. – Где же ты, наконец, вчерашнюю ночь ночевал? – в стогу. Явление это первоначально завещано было нам той стариной, которая еще помнила выражение: «страна наша велика и обильна», и когда вследствие княжеских усобиц, а потом татарского меча приходилось искать «вольных кормов» на окраинах. В то время еще «вольные кормы» существовали. Потом это же явление усердно поддерживалось крепостным правом. Не знаю, существует ли оно теперь, но в пору моей молодости оно процветало во всей силе. Я помню еще ребенком, с каким страхом папенька и маменька выслушивали доклад о том, что там-то во ржи заметили «человека», и как принимались меры, чтоб этого «человека» не раздражить, а как-нибудь или спровадить, или вероломным образом сцапать. Я помню также великое множество этих людей, оканчивающих свои скитания в острогах, и помню даже, что от них никакой «правды» не добивались, а только производили так называемый формальный сыск. Публиковали во всех губернских ведомостях, с объявлением «примет», подобно тому, как публиковали о пойманных лошадях. И затем, по окончании сыскных сроков, – в Сибирь.

Вот именно все это невольно приходит мне на мысль, когда я думаю о наших «баловнях фортуны». Все мне кажется, что если ему предложить серьезно вопрос: где ты вчерашнюю ночь ночевал? – то он непременно должен ответить: в стогу! Если же он ответит иначе, если скажет, что ночевал в своей квартире, то это будет наглая ложь.

А ежели он ночевал в стогу, ежели он на все вопросы о своем прошлом ничего не может ответить, кроме: где ночь, где день, – то какие же могут быть его требования от жизни? У него нет даже смутного представления об отечестве, а следовательно, не может быть и ни малейшего участия к его судьбам. У него нет ни присных, ни друзей, ни единомышленников, а следовательно, не может быть и идеи о каких-либо узах, связующих между собой людей. У него, наконец, нет вчерашнего дня, а следовательно, не может быть и уроков, завещанных прошлым. В прошедшем он помнит только стог, в котором его изловили за несколько часов перед тем и вместо того, чтоб поступить по всей строгости законов, одели в виссон и посадили под

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru образа. В настоящем ему представляется только пирог, который чудесным образом очутился перед ним. Что же касается до будущего, то и в этом отношении ему доступно только [смутное] опасение, как бы не лишиться этого пирога. Я говорю: смутное опасение, потому что даже в этом смысле он настолько чужд всего человеческого, что не может себе с ясностью определить, откуда и в какой мере угрожает ему беда.

Поэтому он приходит на сцену деятельности богатый только инстинктами низшего разряда. Он плотояден, напыщен и жесток. Он доверяет лести не потому, чтобы отождествлял ее с правдой (он даже не может отличить правду от лжи), а потому, что она представляется самым естественным *modus vivendi*. [124] Ah, vil flatteur! [125] – говорит он льстецу и нимало не возмущается этим, потому что в его сознании «льстец» есть нечто вроде должности, которая назначена по штатам, нет резону ей оставаться вакантною. И затем обеспеченность или необеспеченность «пирога» регулирует все его действия. Ежели он чувствует обладание пирогом обеспеченным – он добр, весел и охотно бросает псам крохи с своего стола. Если он чувствует себя необеспеченным в этом смысле, он суров, нелеп и жесток. Во всяком случае, он уже забыл, что у него нет ничего назади, кроме стога, и охотно задумывается над какими-то «правами». И чем дальше ему «пускают», тем глубже и глубже укореняется в нем мысль о «правах». И вот тут-то, когда уж он окончательно начинает веровать в свою «звезду» и полный этой веры начинает зевать по сторонам и «плошать», – вдруг из другого стога приходит другой непомнящий и говорит: а не хочешь ли, курицын сын, шарахнуть вниз?

Все это происходит внезапно, и, что всего приятнее, без шума, беспрекословно. Возражать нельзя, потому что нечего отстаивать. Если нельзя сказать: я пришел сюда вот затем-то, стало быть, нельзя и спросить: по какому же случаю меня гонят отсюда? И пришел – так, и уходи – так. Пошел вон. Лети стремглав на дно ямы и старайся только об том, чтоб не разбить головы.

Вот тут-то именно и выступает вперед вероломство. Оно никогда не дерзает идти в упор счастью и редко даже принимает участие в интриге. Оно знает, что люди, пришедшие из стогов, подозрительны, жестоки, что они нередко по одному подозрению способны измучить, вытянуть жилы. Всего этого вероломство боится, и потому, повторяю, не только почти никогда не участвует в интриге против «баловня фортуны», но в большинстве случаев даже предупреждает, ограждает. Но зато задним числом вероломство действует удивительно развязно и смело. Когда не осталось сомнения, что «баловень фортуны» шарахнулся, когда он лежит распростертый у ног нового пойманного в стогу счастливец, а этот счастливец топчет его – о! тогда вероломство чувствует, что и для него настал момент торжества! Подобно горячей лавине, по всем стогам разливается его ликование, и горе падшему прохвосту, ежели он не обладает достаточной быстротой ног, чтобы юркнуть в пучину, которая навсегда потопила бы его в глубинах своей безвестности. Тут вспомнится все: и вчерашний трепет, и вчерашнее молчание, и вчерашняя вынужденная лесь. И заодно уж предвосхитится и завтрашний трепет, и завтрашняя лесь. Потому что, растоптавши ногами вчерашнего непомнящего родства, мы тем самым приветствуем сегодняшнего непомнящего родства.

Повторяю: это такого рода жизненный процесс, в котором не за что уцепиться. Ни идеалов, ни поступков – ни на что указать нельзя. Была одна блажь, которая не оставила по себе никакого следа, кроме загадочных восклицаний: откуда? каким образом? за что? Эти же самые восклицания останутся в своей силе и завтра. И завтра они будут заставлять людей метаться и трепетать за право существования, будут мутить их совесть, пугать воображение. Но завтра они будут прикованы к человеку, которому случай дал в руки силу и который заставит выносить эти вопросы; зачем же думать о том, что заставляло выносить их вчера? Скорее надо растоптать, раздавить, уничтожить это вчерашнее пугало, чтоб оно не лежало лишним гнетом на душе; скорее надобно отомстить на нем всю горечь прежних обид и унижений, насладиться хоть одним моментом отмщения, чтоб хоть в этот момент сознать, что не все человеческое еще погибло.

Руководствуясь всем изложенным выше, никогда не следует говорить: какой был идол, а как шарахнулся! Потому-то он и шарахнулся, что был идол, и если б он имел хоть каплю человеческого естества, его не постигла бы эта участь.

Идолы – множество, целая, так сказать, иерархия. Карабкаешься-карабкаешься по жизненной лестнице – и всякую ступеньку сторожат идола. И всякий идол повыше

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ступенью заводит себе несколько второстепенных идолов, которые обязываются сначала одурять своего принципала лестью, а под конец учинить над ним вероломство. Эта процедура до такой степени неизбежна, что составляет почти обряд. Едва привели идола из стога и посадили под образа, как сейчас же всем делается ясно, что никакого резона тут искать нельзя. Что с идиолом не об чем говорить, что не существует той почвы, на которой можно бы застать его не врасплох, и что, стало быть, следует только угобжать его и льстить ему.

И льстят. Но так как потребность, заставившая отыскивать в стогу идола, есть потребность эфемерная, так как идол очень скоро выдыхается, надоедает, делается нимало не забавным, то, после непродолжительного торжества, является какое-то страстное желание спустить его с лестницы, и с течением времени делается настолько настоятельным, что даже самые вероломные личности не могут долго выдержать, чтоб не поддаться искушению. И тогда поднимается общий гам, крик, ликование, вой. Можно себе представить, какую воспитательную школу проходит общество, на глазах у которого так естественно происходит вся эта процедура?

Я уж не говорю о том, как все эти вероломства бесплодны, безнравственны, но, кроме того, они и беспричинны. Стоит ли вероломствовать, стоит ли торжествовать над каким-то выходцем, нечаянно пойманным в стогу? Я понимаю, что торжество человека партии, убеждения, знания, школы над человеком тоже партии, убеждения, знания и школы – должно быть лестно. В глазах восторжествовавшего это не просто личная его победа, но победа его дела, не столько плодотворная для него самого, сколько для общества. В такой победе понятно ликование и посторонних. Но ликование по поводу падения непомнящего родства, на смену которому грядет другой непомнящий родства, – помилуйте! неужто это прилично?

Нет, это в высшей степени неприлично и даже просто постыдно. Постыдно не только участвовать в ликованиях, но даже быть свидетелем их. Потому что всякий очевидец, который не может протестовать или, по малой мере, бежать за тридевять земель от этого позорного зрелища, должен сознавать себя рабом.

Больнее, унизительнее этого сознания нет ничего на всем безграничном пространстве нравственного мира...

Я знаю, мне скажут, что я повторяюсь. Что, в сущности, мои речи суть бесконечные варьации на тему о стыде и рабских поступках. Ну да, это правда, я повторяюсь. Я говорю о стыде, все о стыде, и желал бы напоминать о стыде всечасно. По-моему, это главное. Как скоро в обществе пробужден стыд, так немедленно является потребность действовать и поступать так, чтоб не было стыдно. С первого взгляда этот афоризм кажется достаточно наивным, но он наивен только по форме, а по существу в высшей степени правилен и справедлив. Стыд есть драгоценнейшая способность человека ставить свои поступки в соответствии с требованиями той высшей совести, которая завещана историей человечества. И рабство тогда только исчезнет из сердца человека, когда он почувствует себя охваченным стыдом. Стыдом всего, что ни происходит окрест: и слез, и смеха, и стонов, и ликований. Ни к чему нельзя прикоснуться, ни о чем помыслить без краски стыда.

Вот почему я повторяюсь и буду повторяться. Хотелось бы, чтоб чувство стыда перешло из области утопии в действительность. Быть может, я никогда ничего не достигну в этом смысле, но ведь, по справедливости говоря, когда человек мыслит так или иначе, он очень редко имеет в виду, что из этого непременно должен выйти практический результат. Он просто мыслит так, потому что иначе мыслить не может.

Постыдные явления, о которых я повел свою речь, сделались у нас так обыкновенны, что мы даже не оборачиваемся на них. Мы льстим идолу выскочившему и накладываем в шею идолу шарахнувшемуся почти бессознательно, совершая как бы обряд. Мы даже не хотим думать, что нуль равен нулю, и в оправдание свое ссылаемся только на нашу подневольность. Но это неправда. И у подневольности есть выход – это стоять в стороне, не льстить, но и не «накладывать», не петь дифирамбов, но и не кричать вдогонку: ату его! ату! И у подневольности есть оружие: она имеет возможность презирать.

Повторяю: напоминать о стыде не только полезно, но всего более в настоящее время нужно. Стыд – это своего рода учение, это целая система; разница только в том, что в учении могут быть замечены разного рода внезапности, которые могут дать ретирадникам повод для подсиживаний, а в стыде никаких так называемых превратных толкований и днем с огнем отыскать нельзя. Взывать к стыду, будить стыд,

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пропагандировать, что лезть вредно, а вероломство паскудно, – помилуйте! что же тут «превратного»?

«ГОВОРЯ ПО ПРАВДЕ, ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТОРА...»

Говоря по правде, положение русского литератора нельзя назвать ни блестящим, ни даже благоприятным. Напротив того, это одна из самых непрочных, воздушных и низменных профессий, какие только существуют на свете. Всякий самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное; русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых. А затем уж и тем, как бы, между страхами, что-нибудь шепнуть. Существуют, правда, три-четыре личности, которые стоят особняком, всеми признанные, всеми одинаково чествуемые, но это уж, так сказать, идола. А большинству живется ужасно скверно, и не столько в материальном смысле, сколько в нравственном. Именно в последнем по преимуществу.

Разумеется, я говорю о литераторах убежденных и честных, а не о тех, которые понаползли в литературу из ретиранных мест и с подлым сердцем в груди и балалайкой в руках прижились в ней. Этим всегда жилось, живется и будет житья отлично.

И это воздушное житие повелось лишь с недавнего времени, именно с тех пор, как литература, по-видимому, сделалась в полном смысле слова настоятельнейшей потребностью общества, когда она начала постепенно проникать и в массы. Казалось бы, что тут-то и масленица русскому литератору, сумевшему проползти даже «в хижину бедную, богом хранимую», а вышло наоборот. Читает ли его в хижине, богом хранимой, – этого он доподлинно еще не знает, но в собственной нехранимой квартире он получает только щелчки.

Прежде, сказывают, было не так. Прежде на литературную профессию смотрели как на престижное для ума и сердца отдохновение, а в литераторах видели гордость и украшение. Разумеется, однако ж, до поры, до времени... А то как же!

А нынче – щелчки, щелчки и щелчки! И кому щелчки! – Человеку, который никаких других прав не добивается, кроме права мыслить, права отыскивать истину!.. Поистине, нет слов, чтобы выразить, до какой степени это подло!

Главную причину того, что прежний взгляд на литературу был несколько иной, следует искать в том, что литературная профессия считалась и была профессией исключительно дворянской. Сами министры бряцали, а за ними следом безвозбранно бряцали и другие, хотя не столь высокопоставленные, но не менее гордые своим дворянским происхождением. Так что, когда явился мужичок Ломоносов и тоже изъявил желание бряцать, то и его поскорей произвели в дворяне, дабы не произошло в общем хоре какофонии. Ну, а дворянин ведь свой брат, и потому пустить ему вдогонку, например, «мерзавца» или «злоумышленника» не всегда-таки удобно. У него есть бабушки, тетеньки, кузины, которые могут обидеться за родственника. А потому, если некоторые из Ломоносовых и заблуждались, то на них смотрели не как на «мерзавцев», но как на лиц, которые, по окончании курса наук в кадетских корпусах, получили вкус к заблуждениям. И в согласность с сим, старались исправить виновных домашними мерами, говорили: ну, что тебе стоит «Клеветникам России» написать? И хотя это было до крови больно, но так как тут же к стати на том же настаивали все бабушки, тетеньки и кузины, то делать нечего, приходилось брать в руку цевницу и бряцать.

Некоторый перелом во взгляде на литературную профессию последовал в самом конце сороковых годов. В это время на Западе совершилось столько неключимостей, что неволью приходило на ум, не заразилась ли ими и русская литература. Оказалось, что заразилась. Но так как, за всем тем, и тогда литература продолжала быть профессией чисто дворянской (за малыми исключениями), то дело ограничилось только тем, что поставлены были серьезные внешние препоны собственно для вредных влияний, но все-таки никому не приходило на мысль, что название злоумышленника или мерзавца есть наиболее русскому литератору свойственное. И литература наша, к чести ее, поняла, что ей нужно оправдаться и удержать за собою свой прежний рыцарский характер.

Большим подспорьем для нее было то, что она сразу получила готовую тему, которая помогла ей обелить себя. В то время у чародея Излера, на минерашках, в большом ходу была песня о том, как Ванька Таньку полюбил. Вот эта-то песня и показала путь, по которому следовало идти.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Литература с жадностью накинута на эту тему и страстно разрабатывала ее в течение целых восьми лет. Какое разнообразие типов, какое богатство содержания извлекла она из этого, по-видимому, обнаженного факта – это в настоящее время почти непостижимо. Все произведения ума человеческого этого короткого периода были написаны на эту тему, и все они были непохожи друг на друга. Коли хотите, это был разврат, но, во-первых, разврат благонадежный и, во-вторых, доказывающий, что человеческая мысль, даже доведенная до одурения, в самой этой дурости найдет возможность вывернуться и поддразнить: а я все-таки жива! Да, она и осталась настолько жива, что дошла даже до нас. Почему дошла? – а потому, милостивые государи, что, несмотря на общее затмение, все-таки никому не приходило на мысль, что тут главное – то преступление литературы составляет существование ее, то есть пребывание ее в живых. И даже тогда, когда к концу этого периода Ванька прихотливо потребовал конституции, то и тут поняли, что речь идет не об настоящей конституции, а только о каком-то новом любовном приеме, который ловко пущен Ванькой в ход, дабы заставить Таньку сдать на капитуляцию.

Но в конце пятидесятих годов дворяне оплошали, а в то же время в литературу в бесчисленном множестве вторгся различный элемент. Уничтожение крепостного права сказалось и тут: с осуществлением его устранился досуг. А с исчезновением досуга исчезла и возможность культивировать «благородные» идеи. Даже выпренившая сторона эмансипации, та, ожидание которой заставляло трепетать и сладостно волноваться целые поколения «мечтателей», – и та немедленно уступила место так называемому «резвеному» отношению к делу. Не «благородные» мысли требовались, а мысли, указывающие на практический выход, открывавшие двери в область компромиссов. Словом сказать, литературную арену заполнили мысли практические, будничные, между которыми было достаточно полезных, но множество было и положительно подлых. И по какому-то необъяснимому недоразумению полезные мысли оказались «опасными», а подлые – благонадежными... хотя все-таки подлыми. Или, говоря другими словами, никто из новых литературных деятелей никакого «дворянскому званию свойственного» парения не предъявил.

Отсюда прискорбное смешение «опасного» и «подлого»; отсюда безразличное применение того или другого эпитетов, смотря по требованиям темперамента. Литература уже перестала служить убежищем «сладких звуков и молитв» и сделалась лишь досадной необходимостью, в которой всякий искал подтверждения своих, так сказать, утробных поползновений. Ежели писатель говорит в унисон тому, что думает утроба читающего, – это значит, что он писатель подлый, но полезный; ежели писатель расходится в мнениях с утробой читающего – это значит, что он писатель подлый и опасный. А так как в основании того и другого определения все-таки стоит слово «подлый», то есть не могущий ни оду на взятие Хотина на струнах разыграть, ни «Бедную Лизу» написать, то из этого выводится прямое заключение, что и полезный писатель в силу своей подлости может сделаться опасным. Стоит только хорошенько его поманить, доказать, с счетами в руках, что опасным писателем выгоднее быть, нежели полезным.

Вот почему часто приходится слышать, как мерзавцы, самые несомненные, называют литературу скопищем разбойников и мерзавцев. И, к сожалению, не менее часто случается, что сами литераторы не только не протестуют против этого, но даже помогают формулировать полуграмотные бормотания ненавистников литературы.

Этого нет нигде. Везде литература ценится не на основании гнуснейших ее образцов, а на основании тех ее деятелей, которые воистину ведут общество вперед. Везде литература есть воистину благороднейшая и драгоценнейшая выразительница народного гения. Везде она составляет предмет народного культа, народной гордости. У нас – не так. У нас она знает только один девиз: держи ухо востро! – И она действительно держит ухо востро, и не жалуется, и даже не мечется. Право, ведь это до крови обидно. Это такая неизбывная обида, которая и в самое бесконечно доброе сердце может забросить жажду мести и жестокости.

Правда, указывают на публику: там, дескать, пускай ищет себе литератор оценки, сочувствия и защиты. Но что же такое эта публика? кому она нужна? более ли она самостоятельна, нежели сама литература? кто принимает ее в расчет и кого она может защитить?

Публика... га!!!

Вот почему я повторяю, что положение русского литератора нельзя назвать ни

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
благоприятным, ни прочным.

И между тем я... литератор!!!

Однажды, в провинции, я был свидетелем такого случая. Был у нашего принципала близкий человек, который пользовался всем его доверием и, следовательно, делал, что хотел. Определял и увольнял, заключал мир и объявлял войну, решал и вязал, казнил и миловал, высылал и водворял. Словом сказать, производил все операции, какие столпу, от лица власть имеющего поставленному, производить надлежит. Понятно, какая у него была свита льстецов и поклонников, которые не только удивлялись его мудрости, но находили, что еще он мало в шею накладывает, и называли в глаза и за глаза красавцем. В числе подобных поклонников был и мой хороший приятель, господин Чушкин, который очень усердно нюхался с баловнем фортуны и почти ежедневно сообщал мне о подвигах его неподражаемой мудрости. Впрочем, называя господина Чушкина моим приятелем, я должен оговориться, что в провинции на приятелей нет свободного выбора: тот и приятель, с кем связало дело или случайная встреча.

И вдруг, в одно прекрасное утро, над городом взвился целый столб пыли. То пал баловень фортуны. Пал он неизвестно от какой причины. Все действовал вольным аллюром, все простирали руки и нахальствовал, нимало не остерегаясь, – и вдруг как-то не остерегся, наступил на мозоль... Сколько тут оказалось мусору и смраду – это ни в сказках сказать, ни пером описать. И вдруг вся эта свора льстецов и почитателей, которая за ним ходила по пятам, рассыпалась и брызнула во все стороны, озираясь и высматривая, не появится ли на горизонте новый баловень фортуны, перед которым тоже предстоит подличать и льстить.

Я помню, что через несколько дней после этого мы шли с Чушкиным по улице, и вдруг совсем неожиданно из переулочка вынырнул бывший баловень фортуны. Обтрепанный, оципаный, смотрящий долу, он близко прошел мимо нас, как бы уклоняясь от удара, и господин Чушкин не только не приветствовал его, но облил взглядом, полным неизреченного презрения.

Я помню, это в то время до такой степени меня поразило, что я не выдержал и тогда же выразил мое негодование.

– Господин Чушкин! – сказал я, – позвольте мне сказать вам, что вы поступили, как негодяй. Покуда этот человек был в случае, вы низкопоклонничали и малодушествовали перед ним; теперь же, когда он низринул с высоты, наполнив смрадом вселенную, вы не только не приветствуете его с счастливой улыбкой на устах, но даже как бы игнорируете самое существование его! Жду ваших разъяснений.

Но господин Чушкин смотрел на меня во все глаза и, очевидно, ничего не понимал.

– Но что же, собственно, я должен разъяснить? – спросил он наконец.

– Я желаю знать причину вашего двоедушия относительно лица, которое, еще несколько дней тому назад, пользовалось в здешнем обществе титулом баловня фортуны. Почему вы, за неделю перед сим, не знали, какую достаточно преданную улыбку вызвать на лицо, чтоб выразить вашу радость при встрече с ним, теперь же не нашли ничего другого, кроме взгляда, исполненного равнодушия и даже презрения?

– Извольте! – ответил он. – Начну с того, что ежели я чествовал господина, о котором идет речь, то чествовал его не как человека, а как положенное по штату лицо («баловень фортуны»: по должности – в 6-м классе, по мундиру – в 6-м классе, по пенсии – в III разряде), от которого зависело прекращение моего существования или продолжение оного. Это первое. Во-вторых, запас преданности и ее изъявлений, который обязывается иметь партикулярный человек, желающий, чтобы существование его было продолжено, имеет свои определенные границы, дальше которых изобретательность человеческого ума не идет. А так как должность «баловня фортуны» не нынче-завтра будет замещена, то ясно, что и для вновь определенного лица я должен иметь в готовности ту же сумму преданности, какую я вынуждался предъявлять и его предместнику. Отсюда, в-третьих, ежели я свойственную мне сумму преданности буду раздроблять между бывшим и действующим «баловнями фортуны», да при сем, пожалуй, еще прихвачу будущего «баловня

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «фортуны», пришествие которого тоже провидя, то ясно, что на долю каждого из них попадает такой ничтожный клочок этой преданности, что ни один из них не ощутит никакого удовольствия. И, наконец, в-четвертых, вы ошибаетесь, обвиняя меня в каком-то неслыханном и чрезмерном вероломстве. Сравнительно я поступил еще довольно мягко, а случись на моем месте другой...

Он не досказал, как поступил бы на его месте другой, но с меня и этого было достаточно. Тем не менее рассуждение господина Чушкина не удовлетворило меня, и я долгое время не мог вспомнить об этом случае, не воскликнув: какая, однако ж, мерзость! О, если б «баловни фортуны» знали, что происходит в чушкинских глубинах в то время, когда чушкинские уста изрыгают льстивые словеса! С какой мудрой предусмотрительностью они начертали бы: существовать воспрещается!

Но, быть может, они всё это отлично знают и понимают, но в то же время понимают и то, что, не будь Чушкиных, с кем же бы стали они размыкивать свое величие, да и кто удостоверял бы их, что их величие есть, действительно, величие, а не кошмар?

И что всего удивительнее, сам отставной «баловень фортуны» не понимал, сколько ненормального и презренного заключается в отношении к нему господ Чушкиных. По-видимому, он видел в этом нечто обыденное и вполне естественное. В эти первые минуты, когда не рассеялся еще смрад от его падения, он, конечно, страдал и ощущал довольно существенные неудобства, но в то же время он, наверное, внутри себя уже говорил: перемелется – мука будет. И точно, прошел месяц, другой – и бывший баловень фортуны вдруг, как ни в чем не бывало, явился в клуб и спросил себе порцию сосисок с капустой (прежде он не садился за стол без шампанского, которым обыкновенно наливали его господ Чушкины). Потом, потихоньку да полегоньку, устроил себе партию по маленькой и, не упоминая о бывшем величии, сумел настолько снискать в общественном мнении, что даже вновь определенный «баловень фортуны» начал прибегать к нему за советами.

Но повторяю: меня это поразило до крайности; и хотя, впоследствии, я очень часто имел случай видеть примеры подобных внезапных низвержений, сопровождаемых точь-в-точь такими же вероломствами, но никогда не мог привыкнуть к этим явлениям, всякий раз преисполняясь по поводу их негодованием. Так что, долго спустя, когда уже я окончательно покинул провинцию, я и тогда не раз вспоминал об этом и совершенно искренно желал себе разрешить, естественно ли это или неестественно.

Однажды я имел об этом очень серьезный разговор с Глумовым, к которому, как известно, я имел обыкновение обращаться во всех моих недоумениях. И, к удивлению моему, вовсе не встретил в нем такого пламенного негодования, какое испытывал сам.

– Как бы тебе сказать, – ответил он, когда я объяснил ему в подробности поступок господина Чушкина, – конечно, с точки зрения людей свободных, вот как мы, например, с тобой, поступок господина Чушкина представляется не только предосудительным, но и достойным шпицрутенов; но ежели взглянуть на дело с точки зрения людей подневольных...

– Помилуй, мой друг! – возмутился я, – о каких тут разнообразных точках зрения может идти речь! Тут может быть только одна точка зрения, которая говорит: подло! – и больше ничего.

– Постой! Повторяю: и ты и я – мы, благодарение богу, люди свободные, и потому очень понятно, что для нас в делах подобного рода может существовать только одна точка зрения, безотносительная. Но окупись мыслью в хляби крепостного права, представь себя на минуту рабом, и ты, наверное, отыщешь и другую, относительную, точку зрения, которая заставляет действовать господ Чушкиных. Чушкины – рабы, и этим все сказано. Но они не те наглухо заколоченные рабы, которые не чувствуют цепей на своих руках, для которых жизнь, что бы в ней ни происходило, есть лишенная света темница, но рабы, отчасти уже вкусившие жизненных благ и растревоженные ими. Эти люди не могут не вожелеть однажды испытанных благ, и так как последние даются лишь тем, кто умеет ласково просить, то они и пресмыкаются в прахе. Но в то же время они очень хорошо понимают, какая масса унижений заключается в этом пресмыкании, и не могут не желать отмщения. И вот наступает момент, когда он припоминает все... И то, как он ползал, и то, перед кем он ползал. Ведь этот «баловень фортуны» – кто он такой? ведь это человек, с

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru которым ему, Чушкину, говорить, по-настоящему, никакой надобности нет, на которого смотреть ему тошно! А он ползал перед ним, восхищался его мудростью, называя красавчиком! Он кувыркался перед ним, представлял комедии, паясничал, в чайные сорвать с уст благосклонную улыбку! Он проделывал все это, потому что сознавал себя червем, потому что понимал, что одного движения «баловня фортуны» достаточно, чтоб раздавить его! И ты думаешь, что он не отмстит! Ах, ведь это целая трагедия, и, к довершению всего, трагедия, которая длится иногда бесконечные годы! Каждую минуту, в течение этих бесконечных лет, Чушкин глотает обиду за обидой, выжидает, терпит, сдерживается... И чтоб он не припомнил этого в благоприятный момент, чтоб он не отмстил! Нет, воля твоя, я совершенно согласен с господином Чушкиным – очевидно, он был раб, – он поступил еще слишком мягко! Другой на его месте...

– Послушай! Положим, что он отомстит, но как? Ведь он не самостоятельно отомстит, а за спиной другого! Ведь потому только и получит возможность отомстить старому «баловню фортуны», что у него есть налицо новый «баловень фортуны», перед которым он вновь пресмыкается и ползает... Ведь это наконец бесконечный порочный круг!

– Именно так и есть, но это не изменяет факта, а делает его еще более трагичным. Расскажу тебе историю из воспоминаний моей юности. Была у нас соседка барыня, и имела она влечение к фаворитам. Фавориты эти выбирались из дворовых и менялись довольно часто. Бывало, приедешь в Ярцево (ее усадьба) и видишь, в лакейской саженный холуй сидит – это, значит, новый фаворит. Так вот при смене этих фаворитов происходили поразительные сцены, а однажды дело даже до суда дошло. Был у этой барыни в дворне живописец один, малый талантливый, и ходил он обыкновенно по оброку, только как-то позапутался, незаплатил вовремя денег, и вызван был в деревню. Разумеется, застал холуя и вынужден был, наряду с прочими, ему льстить. Льстил долго и усиленно, льстил с сознанием собственного превосходства, и достиг наконец того, что получил право существовать и даже пользоваться некоторыми льготами. И вдруг из барыниной спальни распоряжение: фаворита – в пастухи, а пастуха – в фавориты! Надо было видеть, какая вдруг метаморфоза совершилась в живописце. Он подстерег гиганта из-за угла, ловко сшиб его с ног и начал топтать ногами. И, постепенно остервеняясь, стал бить его каблуком в лицо, так что через четверть часа гигант представлял собой бездыханную окровавленную массу. Так вот этот самый убийца на вопрос: с какого повода он так остервенился против человека, которому накануне льстил и который, в сущности, ничего, кроме благосклонности, ему не показывал, – отвечал: Помилуйте! мало ли он измывался надо мной! мало ли я сам над собой измывался, чтоб только утешить его, угодить! Ужели ж так ему это и подарить!

– Так вот оно, рабье-то дело какое! – присовокупил Глумов, – и представь себе, во время этой сцены барыня стояла у окна и смотрела, и только когда уж все кончилось, молвила: никак, он Макарку-то убил! Свяжите его да отвезите в город...

ПРИМЕЧАНИЯ КРУГЛЫЙ ГОД

Цикл «Круглый год» задуман как хроника происходящего, дающая ежемесячный обзор событий социально-политической жизни. Однако сами события остаются на заднем плане, они, не всегда названы, лишь угадываются читателем. Салтыков стремится передать общественную атмосферу, которая определена этими событиями и, в свою очередь, определяет их. Для очерков характерна значительная степень обобщенности и художественной типизации.

Современники рассматривали новый цикл как своеобразный дневник «за тяжелый 1879 год, но дневник не гнетущих событий, быстро следовавших одно за другим, а дневник тех скрытых, назойливых и мучительных дум, которые каждый мыслящий человек должен был переживать в это время». [126]

1879 год был поистине тяжелым, «страшным годом», по словам самого Салтыкова. После длительного перерыва (с покушения Березовского в 1867 г.) возобновилась серия покушений на Александра II. 2 апреля А. К. Соловьев стрелял в царя. 19 ноября была совершена попытка взорвать царский поезд. Покушения вызвали новую волну реакции, ожесточенных преследований не только революционеров, но и малейших проявлений свободолобивой, неофициальной мысли. Любая независимая точка зрения казалась властям подозрительной. Произведения демократической литературы, правдиво воспроизводящие жизнь, воспринимались еще в большей степени, чем ранее, как «потрясение основ», как «крамола». В реакционной печати раздавались призывы,

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
топить «умников», студентов, интеллигентов. [127]

Создавая и публикуя свои очерки в обстановке крайней реакции, писатель вынужден был менять их первоначальный замысел.

В известном письме к Е. И. Утину, написанном по поводу его статьи о «Круглом годе» – «Сатира Щедрина», Салтыков раскрывает суть той задачи, которую он перед собой ставил, создавая цикл. Идеалы «семьи, собственности, государственности», утверждал он, исчерпали себя, в «наличности» их уже нет. Но во имя этих призрачных «основ», по словам Салтыкова, попирается «идеал свободного исследования как неотъемлемого права всякого человека». В ряде названных им произведений писатель раскрывал несостоятельность «основ» современного социально-политического устройства. Обличению «принципа государственности» посвящен цикл «Круглый год».

Возражая Утину, который пытался комментировать с либеральных позиций его отношение к «идеалам», истолковать «Круглый год» в духе борьбы за конституционное устройство, сатирик разъясняет идейно-художественные принципы, цели и задачи своей сатиры, [128] которыми он руководствовался и в работе над циклом «Круглый год».

Салтыков защищает право писателя не «выставлять иных идеалов», кроме тех, которые исстари волнуют человечество. [129] Не желая связывать свое творчество с узкоутилитарными задачами различных партий, их практическими целями, писатель в очерке «Первое октября» противопоставил собственную литературную деятельность периоду «Губернских очерков» – «тщеты обличения» своему более позднему творчеству, задача которого – исследование и раскрытие фиктивности «основ», «самоновейших принципов современности», широкая социальная сатира. Отвергая защищавшийся им прежде принцип «пользы», он считает, что, «по нынешнему времени, говорить можно именно только без пользы, то есть без всякого расчета на какие-нибудь практические последствия». Целью литературы он считает пробуждение сознательности, содействие «нравственному оздоровлению» человечества, разъяснение «причин» общественного «недуга», возможности их устранения. Такой подход расширял рамки сатиры, позволял давать глубокий анализ устоев современного общества, порождающих определенные типы («Воистину болото родит чертей, а не черти созидают болото»). Считая, что останавливаться на «практических идеалах» «значит добровольно стеснять себя», Салтыков остается верен широким идеалам революционно-демократического наследия.

С такими идейно-художественными установками писатель начинал «Круглый год». Но осуществить свой замысел полностью ему не удалось. Осуждение принципа «государственности» было, пожалуй, с официальной точки зрения особенно крамольным. Цензура всегда крайне придирчиво преследовала малейшие намеки на несовершенство государственно-бюрократической машины. Салтыков же намеревался в своих очерках доказать полную несостоятельность идеи государственности в той ее форме, в которой она была или могла быть реализована в самодержавной России. «В первоначальном намерении беседы эти должны были отражать в себе злобу дня, – сказано в фельетоне «Первое ноября», – и, в то же время, служить примером для воспроизведения некоторых типов, которые казались мне небезынтересными. Я должен, однако ж, сознаться, что ни того, ни другого я не выполнил».

После событий 2 апреля писатель приостанавливает работу над циклом, собираясь выступить как публицист, дать прямой отпор идеологам реакции, с новым остервенением набросившимся на демократическую печать. Невозможность такого выступления заставляет Салтыкова вернуться к «Круглому году», попытаться использовать его для злободневной публицистической борьбы. Попытки подобного рода отражены в вариантах очерка «Первое мая». Они в значительной степени определяют содержание и более поздних фельетонов, усложняя первоначальный замысел. Да и вообще обстановка 1879 года не благоприятствовала анализу и изобличению принципа «государственности», влияния его на духовную жизнь, на идеологию, на человеческие типы.

Несмотря на неблагоприятные условия, все же Салтыкову удалось передать атмосферу дня, порождаемые ею явления.

Созданные писателем сатирические образы – художественно убедительное выражение сущности дворянско-буржуазной государственности. Салтыков открывает новые типы «столпов государственности»: сановника Ивана Михайловича, «провиденциального

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мальчика», «кандидата в фельдмаршалы» Феденьки Неугодова, ренегата Саши Ненарочного. С современным состоянием «государственности» связывает Салтыков и появление таких рептильных литераторов, как Филофей Иванович Дроздов.

«Знаменем времени» является тот факт, что одним из «столпов» «государственности» оказывается ренегат Саша Ненарочный. Ренегатство многих вчерашних революционеров – одна из характерных примет семидесятых годов. Ненарочный как бы предвосхищает путь видного деятеля народничества Л. А. Тихомирова, автора брошюры «Почему я перестал быть революционером?». Возможно, что история Ненарочного – отклик на циркуляр министра народного просвещения Д. А. Толстого (опубликовано в июне 1875 г.) и на записку министра юстиции К. И. Палена, где речь шла о «преступной пропаганде» революционной молодежи среди народа.

«Родословные» Неугодова и Ненарочного, одного – от Неугодовых, издавна где-то «сидевших» и «целовавших крест», а другого Аракчеева, еще более наглядно подчеркивают связь новых «столпов государственности» с «основами» дореформенной России. Все три принципа (семьи, собственности, государства), во имя которых ведется «обуздание», даны в «Круглом годе» в неразрывном единстве. История продажи имений семейства Неугодовых связывает проблемы «государственности» и «собственности». В действительности защитники «основ», «столпы государственности» сами подрывают собственность, за которую они на словах ратуют. Салтыков вводит в «Круглый год» образ Дерунова – персонажа «Благонамеренных речей». Делая карьеру Феденька Неугодов, сановник, будущий министр, и кулаки, кабатчики Дерунов с Колупаевым, оказываются людьми, действующими хотя и на разных поприщах, но во имя одинаковых своекорыстных целей. Знаменательно и то, что намечается близость между Феденькой, ревнителем принципов «государственности» и «собственности», и героями громких уголовных процессов о присвоении чужой собственности.

Образ «куколки», Nathalie Неугодовой, изображение Демидрона связывают проблемы «государственности» и «семейственности».

По мысли Салтыкова, прежде все же имелись какие-то основы, пусть нелепые, в незыблемость которых верили и те, которые давили, и отчасти те, кого давили; ныне «основы» разложились, превратились в фикцию. Новыми «деятелями», «выскачками», движет лишь одно стремление – стремление к собственному преуспеянию, к карьере, к получению чинов и наград, любой ценой, во имя какой угодно цели, при помощи любых средств.

Салтыков продолжает развивать в «Круглом годе» ряд проблем, намеченных в цикле «В среде умеренности и аккуратности» («Отголоски»). Фельетоны «Круглого года» органически связаны с очерками «Отголосков»: «День прошел – и слава богу», «На досуге», «Тряпичкины-очевидцы», «Дворянские мелодии», «Чужой толк» (вопрос об отношении к фактам «самоотвержения», «о безобидной сатире», об изображении народничества в романе Тургенева «Новь», о соотношении литературы 40-х и 70-х годов, о псевдопатриотизме).

Большое место в «Круглом годе» уделено вопросам литературы. Уже в фельетоне «Первое мая» встречается одно из самых глубоких суждений Салтыкова о литературе («...литература не умрет, не умрет во веки веков!»). Под влиянием исключительных обстоятельств (террористические акты против монарха и вызванные ими репрессии) на первый план выдвигается особый аспект рассуждений и образного повествования: литература (сатира) и власть, государство; литература и общество. Кажется, ни в каком другом произведении Салтыков не говорил так веско, так проникновенно, так серьезно и ответственно о литературе, о ее общественном предназначении, о ее нравственном пафосе и о своем писательском (идейном и художественном) «кредо», как это он сделал в «Круглом годе». В цикле отразились пессимистические раздумья писателя-демократа, усомнившегося в действенности своего слова, вынужденного в сложной ситуации конца 70-х годов давать отпор не только идеологическим противникам, но порой сталкиваться и с непониманием читателей-друзей, литераторов-единомышленников (например, сотрудников «Дела», см. стр. 771). Цикл «Круглый год» характеризуется многообразием типов писателей: сам автор, литератор революционно-демократического лагеря, «дядя» – рассказчик, «бывший» литератор с его «рондо» и «триолетами», «ретирадные» писатели и публицисты, репортер «Красы Демидрона», Дроздов. В цикле имеется и полемический подтекст, направленный против Тургенева и Достоевского.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Салтыков использует в очерках обычный для его сатиры прием, ведя повествование от лица «дяди», литератора умеренных либеральных воззрений, сформировавшегося в 40-е годы. «Дядя», критически относясь к существующему режиму, к реакции, стремится в то же время приспособиться к ним. Образ «дяди» является одновременно и объектом сатиры, и оружием в обличении существующего порядка, представляющегося невыносимым даже умеренному либералу. Этот образ удобен и в цензурном отношении, давая возможность Салтыкову вкладывать в уста «дяди» собственные мысли, рассуждения, а в случае необходимости иметь повод отмежеваться от них. При этом переход от маски «дяди» к голосу самого сатирика почти неуловим.

Родственные отношения «дяди» с Неугодовыми и Ненарочными позволяют придать диалогам, переписке, всему повествованию характер непринужденной интимной беседы, в ходе которой происходит саморазоблачение персонажей цикла. [130] Одной из особенностей цикла «Круглый год» является его подчеркнута диалогический характер. Атмосфера дня передается через устойчивые понятия-формулы, используемые Салтыковым на протяжении всего цикла («провиденциальные мальчики», «партикулярные люди», «трепет», «подоплека»), повторяющиеся как лейтмотив слова: «Господи! Да неужели это не кошмар!» К подобным понятиям-формулам относится и термин «внутренняя политика», как символ правительственных репрессий.

В «Круглом годе» много литературных героев, заимствованных Салтыковым и из своих и из чужих произведений. «Свои» герои (Дерунов, Тебеньков, Плешивцев и др.) воспроизводятся обычно без какой-либо трансформации их. Повторное обращение к таким образам имеет цель более полно раскрыть определенные общественные типы, порожденные действительностью, ставит эти типы в новые ситуации. Подобное обращение подчеркивает преемственную связь между произведениями Салтыкова, между изображенными в них жизненными явлениями.

«Чужие» литературные герои, как правило, комедийные (Скотинин, Митрофан) сохраняют в цикле «свое лицо». Они демонстрируют живучесть социального зла, отрицательных жизненных явлений и типов. Другие, «чужие» герои, обычно «лишние люди» (Рудин, Лаврецкий), существенно отличаются от их привычного первоначального облика, как бы обобщают эволюцию дворянской интеллигенции от либерализма к благонамеренности. Сближение героев типа Скотинина и типа Рудина еще более подчеркивает эту эволюцию. [131]

«Круглый год» звучит суровым, бескомпромиссным осуждением правительственной реакции, общественного ренегатства, «основ» собственности, семейственности, государственности, в том их понимании, которое присуще Неугодовым и Ненарочным. И если Салтыков не видит реальных практических путей преобразования системы социально-политических отношений царской России, он хорошо понимает несостоятельность путей иллюзорных.

Современная критика встретила «Круглый год» относительно доброжелательно, но сути его содержания не раскрыла. Лучшая из посвященных циклу статей – Евг. Утина – «Сатира Щедрина». Автор ее солидаризовался с Салтыковым в оценке положения русского общества периода оголтелой реакции, в рассуждениях о роли и судьбах литературы. Утин отвергал обвинения в пессимизме, отсутствии ясных целей, выдвигаемые противниками Салтыкова: «когда писатель изображает бесправие русского общества и целого народа, когда он рисует в лицах узкий, тупой бюрократизм, отравляющий своим прикосновением все, до чего он дотрагивается <...> за этими отрицательными идеями скрываются весьма ясные и положительные идеи относительно необходимости более правильного общественного строя». [132] Но Утин не понимает отношения Салтыкова к «основам» и истолковывает «Круглый год» как произведение, ратующее за свободу печати, за конституционно-демократическое устройство в рамках существующих «основ». [133]

Подобное истолкование, с более или менее резкой оценкой современного положения, характерно для большинства других сочувственных откликов на «Круглый год». К таким откликам относится неподписанная статья в «Сыне отечества» (1880, № 1), в которой утверждалось, что 1879 год – «один из тяжелейших, один из безотраднейших в русской жизни годов». Автор хвалил Салтыкова за правдивое изображение обстоятельств этого года.

Довольно много писалось о полемике Салтыкова с Тургеневым в связи с фельетоном «Первое марта». Сравнительно доброжелательно отзываясь о «Круглом годе» в целом, рецензенты резко осуждали его автора за намеки на Тургенева (см., например, в

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru газете «Новости» статьи В. Чуйко «Лит. хроника», обзор «Русск. печать», 1879, №№ 74, 85, 112). В последнем обзоре полемика с Тургеневым объясняется, в частности, «впечатлением тургеневского триумфа» и силой «традиционного антагонизма представителей бывшего «Современника» к Ивану Сергеевичу». Знаменательно, что похвалы Салтыкову определены и здесь восприятием его сатиры как либерального обличительства: изображение деятельности «комиссий» в фельетоне «Первое марта» сопоставлено с критикой в газете «Голос» бездеятельности подобных комиссий.

Аналогичное истолкование встречается в неподписанной статье «Среди газет и журналов» (НВ, 1879, № 1249).

Отдельные публицисты пытались истолковать «Круглый год» в духе защиты «основ», политики правительственных реформ, как критику уклонений от правильного понимания принципов семьи, собственности и государства.

Буренин в фельетонах «Литературные очерки» (НВ, 1879, №№ 1259, 1322, 1343; 1880, № 1383 и др.), положительно отзываясь о «Круглом годе», отметил в нем «юмористические тирады», талант, но при этом отверг идейный пафос произведения, то, что он называл «либеральной закваской» (№ 1259). Буренин стремился доказать, что Салтыков «разменял» свой талант, что в его «умилительных жалобах» на невозможность осуществить первоначальный замысел, «может быть, невольно для него самого, звучит сознание той жертвы, какую его крупный талант волей-неволей обязан нести на алтарь мелкой срочной журнальной деятельности» (№ 1383).

О возникновении замысла и начале работы над циклом «Круглый год» точных сведений не имеется. Он печатался в разделе «Совр. обозр.» журнала «Отеч. записки» как ряд очерков, объединенных общей идеей, которые должны были выходить ежемесячно с января по декабрь 1879 года. После появления в январской, февральской и мартовской книжках журнала трех первых очерков – «Первое января», «Первое февраля», «Первое марта» – печатание цикла прекратилось вплоть до августовского номера, в связи с усилением правительственного террора и преследований прогрессивной журналистики.

В течение апреля – июля 1879 года Салтыков работает параллельно над будущими очерками «Круглого года» и незавершенными публицистическими статьями: «Приличествующее объяснение», «Когда страна или общество...», «Говоря по правде, положение русского литератора...», связанными с проблематикой цикла. В 1879 году в августовской книжке печатаются сразу два очерка под общим заглавием «Первое апреля. – Первое мая».

Для того чтобы завершить цикл к концу 1879 года, Салтыков объединил оставшиеся девять частей попарно (за исключением «Первого октября») и в дальнейшем готовил для каждой книжки по два очерка. Цензура помешала публикации июньской и декабрьской частей цикла. В сентябрьской книжке под заголовком «Первое июня. – Первое июля» опубликован только очерк «Первое июля», в декабрьской – под заголовком «Первое ноября. – Первое декабря» помещена только одна первая часть.

Первые семь очерков («Первое января» – «Первое июля») опубликованы под псевдонимом Нето, а остальные – за подписью Н. Щедрин.

Окончательный текст цикла установился в первом отдельном издании: Круглый год. Сочинение М. Е. Салтыкова-Щедрина. СПб., тип. А. С. Суворина, 1880. Вып. в свет между 16 и 23 июня 1880.

В этом издании впервые появилось общее заглавие цикла, напечатан очерк «Первое июня», вырезанный цензурой из сентябрьской книжки «Отеч. записок» 1879 года, в качестве декабрьского помещен очерк «Вечерок», вырезанный цензурой из февральской книжки «Отеч. записок» за 1880 год и напечатанный под заглавием «Не весьма давно (Осенние воспоминания)» в апрельской книжке за 1880 год. При подготовке этого издания Салтыков сделал значительное количество изменений, как стилистических, так и по содержанию, восстановил вырезанные цензурой очерки «Первое июня» и «Первое декабря» и устранил из текста все, что имело специфически журнальный, злободневный характер, в частности полемику с Достоевским в «Первом октябре» и «Первом ноябре».

В помещаемой ниже таблице отражены изменения в заглавиях очерков, произведенные в первом отдельном издании по сравнению с журнальной публикацией. Название очерков

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

в журнальной публикации Изд. 1880

Первое января. – ОЗ, 1879, № 1 Первое января

Первое февраля. – ОЗ, 1879, № 2 Первое февраля

Первое марта. – ОЗ, 1879, № 3 Первое марта

Первое апреля. – Первое мая (первая часть
объединенного очерка). – ОЗ, 1879, № 8 Первое апреля

Первое апреля. – Первое мая (вторая часть
объединенного очерка). – ОЗ, 1879, № 8 Первое мая

Первое июня. – Первое июля (первая часть
объединенного очерка). – ОЗ, 1879, № 9

(вырезано цензурой) Первое июня

Первое июня. – Первое июля. – ОЗ, 1879, № 9 Первое июля

Первое августа. – Первое сентября (первая часть
объединенного очерка). – ОЗ, 1879, № 10 Первое августа

Первое августа. – Первое сентября (вторая часть
объединенного очерка). – ОЗ, 1879, № 10 Первое сентября

Первое октября, – ОЗ, 1879, № 11 Первое октября

Первое ноября. – Первое декабря. – ОЗ, 1879, № 12 Первое ноября

«Не весьма давно (Осенние воспоминания)». –

ОЗ, 1880, № 4. Первоначально «Вечерок» – ОЗ,
1880, № 2 (вырезано цензурой) Первое декабря («Вечерок»)

При жизни Салтыкова вышло еще одно издание:

Круглый год. Соч. М. Е. Салтыкова (Щедрина). Изд. 2-е. СПб. (изд. книгопродавца
Карбасникова), тип. А. А. Краевского, 1883. Вып. в свет между 1 и 8 июня 1883.

В текст Изд. 1883 автором внесены некоторые изменения, преимущественно
стилистического характера. Текст изобилует типографскими погрешностями.

Все сохранившиеся немногочисленные рукописи «Круглого года» находятся в Отделе
рукописей ИРЛИ.

В настоящем издании «Круглый год» печатается по тексту Изд. 1883, с исправлением
ошибок и опечаток по всем прижизненным изданиям и сохранившимся рукописям.

ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ

Впервые – ОЗ, 1879, № 1 (вып. в свет 20 янв.), «Совр. обозр.», стр. 73–80.

Подпись: Нето.

Рукописи и корректуры не сохранились.

При подготовке очерка для Изд. 1880 в текст внесены некоторые изменения
стилистического характера, а также в ряде случаев усилена сатирическая
направленность. Приводим два варианта.

Стр. 408, строка 2 сн. Вместо: «потом тайный, потом трещина вдоль черепа... фу,

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что это, однако ж, какой я вздор говорю! Нет, право» – в ОЗ было: «потом тайный, потом... Нет, право».

Стр. 411, строка 7. Вместо: «Мрачно было, мой друг, в наше время <...> и ничего-то бьющего в глаза!» – было:

Мрачно было, мой друг, в наше время, но однообразно и невозмутимо. Живешь, живешь, бывало, «в объятьях сладкой тишины» – и ничего-то интересного, ничего бьющего в глаза наглостью и хвастливостью.

В фельетоне затрагивается тема современных «деятелей», молодых бюрократов типа Феденьки Неугодова, пришедших на смену «старым драбантам». Этот тип разработан в большинстве фельетонов цикла и связан с рядом больших социальных тем (вырождение и обнищание дворянства, аморальность общества и др.). За подобными новыми «деятелями» Салтыков наблюдал с начала 60-х годов, с момента их появления на арене общественной жизни. Многие роднит таких «деятелей» с администраторами дореформенного типа, прежде всего – презрение к массам, уверенность, что искусство управления заключается в умении «подтягивать». Характерной чертой «провиденциальных мальчиков», с точки зрения Салтыкова, является их полный аморализм, желание не только «грабить», по и «дразнить», убежденность, что «известные жизненные условия... это те самые условия, лучше которых нет и не будет».

Уже по этому первому очерку, подписанному псевдонимом, критика, единодушно его одобрявшая, сразу же определила его принадлежность Салтыкову.

Стр. 407. Conseiller de college... – чин довольно высокого (6-го) класса, соответствующий военной чину полковника. Феденька получает этот чин, несмотря на свою молодость.

Стр. 408...много денег в Ницце надо... – О Ницце писал Салтыков 21 декабря 1875 года А. Н. Еракову: «Все отребье, какое есть на свете, собралось сюда». «И везде виллы, в коих сукины дети живут, – сообщал он Некрасову 29 октября того же года. – Это беспредельное блаженство сукиных детей, их роскошь, экипажи, платья дам – ужасно много портят крови».

Стр. 408...статский советник <...> действительный, потом тайный – чины высоких классов табели о рангах (5–3).

...трещина вдоль черепа... – гротескный образ. Такой трещиной наделяются у Салтыкова администраторы, занимающие высшие места на служебной лестнице.

Стр. 409...в благотворительных обществах служишь. – Участие в благотворительных обществах считалось в светском кругу хорошим тоном. Для «молодых людей» типа Феденьки такое участие являлось одновременно средством завязывать знакомство с «дамочками» и делать карьеру.

Юноны – здесь: неприступные, недотроги (образ из римской миф.).

Стр. 410...с одной стороны, конечно <...> но с другой стороны... – часто встречающаяся у Салтыкова пародия на канцелярскую фразеологию, усвоенную и либералами (см. т. 7, стр. 369, т. 10, стр. 181–182).

...сирота, так сказать... государственный! – О «государственных младенцах», об их воспитании см. т. 7, стр. 361–397, т. 10, стр. 172–174. В «Круглом годе» слова «государственный сирота» имеют и новый оттенок. Видимо, Самогитский – незаконный сын какого-то высокопоставленного вельможи, может быть, самого царя.

Стр. 411...даже при Бироне... – то есть в годы наиболее сильного террора и реакции.

Стр. 412...либо в масоны поступил, либо псалмы в стихи перекладывает – то есть начал вести богобоязненную, добродетельную жизнь, по крайней мере внешне. Масоны – члены религиозно-политической организации с мистическими обрядами, провозгласившей своей целью нравственное совершенствование. О стремлении к такому совершенствованию, о набожности и праведной жизни должно свидетельствовать и переложение в стихи псалмов.

Стр. 413...скучно на свете жить. – Видимо, перефразированная концовка гоголевской

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Скучно на этом свете, господа!»

Стр. 414...государственный человек – не из остзейских, а из настоящих немцев... – Из остзейских (прибалтийских, населяющих Эстляндию, Лифляндию и Курляндию) немцев в значительной степени формировались ряды высшего чиновничьего аппарата России.

Транспортировать – употреблять в переносном смысле; здесь – отнести притчу к Феденьке (от франц. transporter).

ПЕРВОЕ ФЕВРАЛЯ

Впервые – ОЗ, 1879, № 2 (вып. в свет 21 февр.), «Совр. обозр.», стр. 236–245.
Подпись: Nemo.

Рукописи и корректуры неизвестны.

В Изд. 1880 выправлены опечатки журнального текста и сделаны изменения стилистического характера, а также следующее исключение из текста:

Стр. 419, строка 7. Вместо: «до того вами напуганы» – было:

до того вами (или, точнее, не вами в действительности, а вашими похвальбами) напуганы.

Фельетон посвящен раскрытию несостоятельности официального толкования понятий «отечества», «патриотизма», неразрывно связанных с принципом «государственности». В фельетоне высказана очень важная для революционных демократов мысль о том, что «патриотизм» «провиденциальных» «мальчиков», опирающийся на «государственность», не имеет ничего общего с настоящей любовью к родине и народу. Такому официальному «патриотизму» Салтыков противопоставляет подлинных патриотов, людей, считающих, «что отечеству надлежит служить, а не жрать его». Служение же родине, в понимании писателя, означает непримиримое отрицание «основ», борьбу за осуществление революционно-демократических идеалов.

Важное место занимает в фельетоне вопрос о «призрачности» мира Неугодовых, о том, что этот «фантастический мир» должен исчезнуть «при первом появлении солнечного луча», также и о том, что «эти призраки не только не бессильны, но самым решительным образом влияют на жизнь».

Очерк не вызвал значительных отзывов критики. «Сын отечества» в статье «Русская литература» дал положительный отзыв, еще раз подтвердив уверенность в авторстве Салтыкова. [134]

Стр. 415...à tout les coeurs <...> est chère... – цитата из трагедии Вольтера «Танкред», неоднократно используемая Салтыковым (см. т. 7, стр. 62 и прим.).

Стр. 416. Rien n'est sacré pour un sapeur... – французская шансонетка, исполнявшаяся в 70-е годы в Петербурге (см. «Каскадный мир. Сборник французских шансонеток...», СПб. 1873, стр. 12).

Стр. 417. Халдоватая – грубая, нагловатая.

Стр. 420...избранных сочинений по части митирогнозии. – Так Салтыков иронически именуется грубую уличную брань. Слово образовано по образцу научной терминологии, от греческих корней: мать и познание.

Стр. 420. Опекунский совет. – См. прим. к стр. 11.

Стр. 421...в стенах «заведений», которые охраняют вашу юность... – Салтыков неоднократно описывал привилегированные учебные заведения, формирующие «мальчиков» типа Феденьки (например, в «Господах ташкентцах»). Об использовании при этом автобиографических эпизодов лицейской жизни см. Макашин, стр. 95–170.

...от татар Борелева ресторана... – В модных ресторанах того времени (Бореля и др.) прислуга набиралась преимущественно из татар.

Стр. 422. Взгляните на портреты наиболее прославившихся «сгибателей»... – Ср. с портретом Угрюм-Бурчеева, наделенного внешним «портретным» сходством с Николаем

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
I (см. т. 8, стр. 399).

Стр. 425... «сидел» какой-то Неугодов <...> целовал крест... – Упомянув о древности дворянского рода Неугодовых («сидели» в боярской думе, целовали крест на верность), Салтыков при помощи игры слов сближает Неугодовых с «сидельцами» (приказчиками в лавках) и «целовальниками» (кабатчиками).

ПЕРВОЕ МАРТА

Впервые – ОЗ, 1879, № 3 (вып. в свет 20 марта), «Совр. обозр.», стр. 111–123.

Подпись: Nemo.

Рукописи и корректуры неизвестны.

В Изд. 1880 в текст внесены многочисленные мелкие изменения стилистического характера.

Фельетон вводит в цикл проблему отношений «государственности» и литературы.

Взглядам властей на литературу противопоставлено отношение к ней самого автора. Рассказчик – «дядя», пропев подлинный гимн во славу литературы, выражает в данном случае наиболее задушевные чувства Салтыкова.

Салтыков затрагивает вопрос о литераторах – «действующем» и «бывшем». Слова о «действующем» и «бывшем» литераторах перекликаются и с некрасовским противопоставлением «незлобивого поэта» и писателя, «чей благородный гений стал обличителем толпы, ее страстей и заблуждений» («Блажен незлобивый поэт»). Речь идет об очень важной для революционных демократов вообще и для Салтыкова в частности проблеме подлинного патриотизма, «любви – ненависти», служения родине «враждебным словом отрицанья».

Сравнение «бывших» и современных литераторов сатирически направлено и против реакционной печати, пытавшейся использовать наследие писателей прошлого в борьбе с демократами, «новейшими Катонами» (см., например, МВ, 1879, № 249, «Дорожные заметки», где утверждалось, что Карамзин «критиковал, оспаривал любя, а не ненавидя»).

Характеристика «бывшего» литератора содержит намеки и на Тургенева, отражает критическое отношение Салтыкова к роману «Новь», к той ситуации, которая создалась весной 1879 года во время приезда Тургенева в Москву и Петербург. Салтыкову, видимо, казалось, что по возвращении из-за границы Тургенев держал себя нескромно, а общество чествует его больше, как писателя, порвавшего с «заблуждениями» (см. письмо Салтыкова к Михайловскому от 27 июня 1888 года). Итоговую оценку Тургенева как писателя Салтыков дал в некрологе «И. С. Тургенев» (см. т. 9, стр. 457–459 и 610–612).

Стр. 426...воскликнуть: довольно! – Намек на рассказ Тургенева «Довольно», впервые напечатанный в 1865 г.

...лишало бы его утешения рассказывать, каким путем он был приведен к необходимости написать свой первый триолет... – В 1874 году С. А. Венгеров обратился к Тургеневу с просьбой передать ему его ранние юношеские поэтические произведения. Тургенев ответил резким отказом (см.: Тургенев, Письма, т. X, стр. 256). В вышедшей в 1875 году книге Венгерова «Русская литература в ее современных представителях. Критико-биографические этюды. Иван Сергеевич Тургенев» автором были опубликованы выдержки из его переписки с Тургеньевым на эту тему. Подробнее см.: М. О. Габель, Щедрин и Тургенев. – «Ученые записки Харьков. гос. пед. ин-та», 1947, т. X.

...триолеты прошлого... – Видимо, имеются в виду последние произведения Тургенева «Сон» и «Рассказ отца Алексея» (1877).

...тузулуком... – рассолом.

Стр. 428. Например, Державин... ода «Бог», «Фелица»... – Имеется в виду факт истолкования поэзии Державина в официально-благонамеренном духе, тенденция противопоставления ее творчеству писателей-демократов (см.: А. В. Западов, Проблема Державина в журналистике 60-х годов. – Сб. «Из истории русской журналистики второй половины XIX века», М. 1964).

Вечер красавицы-девицы.. – Неточная цитата из стихотворения Державина «Мельник».

...подобно анекдотическому пошехонцу, способен «в трех соснах заблудиться». – О глупости и бестолковости пошехонцев ходили анекдоты (см., например, В. Даль, Пословицы русского народа, М. 1957, стр. 542: «Тащи корову на баню, травы много»). В примечании к «Пошехонской старине» Салтыков писал, что под Пошехоньем он понимает всякую местность, жители которой «в трех соснах заблудиться способны».

...забыться и заснуть... – Из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».

Стр. 429...кончит тем, что займется литературой. – Возможно, намек на конкретные решения следственной комиссии по делу Каракозова, под председательством Муравьева, приписывавшей покушение, «разложение» молодежи и т. п. «вредному направлению» журналистики к литературы.

Стр. 430. Коммеморативный – обед, данный в честь какого-либо памятного события (от франц. commémoratif).

...об этом мы поговорим в следующий раз... – Так часто завершались редакционные статьи либеральных «С.-Пб. ведомостей» (см. т. 10, стр. 416 и прим.).

Стр. 431. Об отыскании «корней и нитей». – Корни и нити – постоянно употребляемое Салтыковым ироническое обозначение «распутываемых» полицией «революционных связей» (см. т. 8, стр. 172–173, 317 и прим.). Возможно, восходит к рассуждениям Каткова о «корнях», «интригах», «зле» в связи с покушением Каракозова (см. т. 10, стр. 70 и прим.).

...судьба заперла меня на целых полгода в Ницце. – В октябре 1875 – апреле 1876 года Салтыков лечился там.

Стр. 432...два государственных младенца... – См. прим. к стр. 410.

...Бюффе-Брольи <...> Бюффе-Дюфора – де-Брольи, Бюффе – премьер-министры антиреспубликанского толка, возглавлявшие один за другим реакционные правительства первых лет президентства Мак-Магона. В феврале 1876 года, под давлением республиканских сил, премьер-министром стал Дюфор (1876, 1877–1879), возглавивший так называемое министерство республиканского центра. Создавая свои вымышленные имена из смешения имен трех реальных премьер-министров, Салтыков тем самым подчеркивает несущественность разницы между французскими правительствами различных оттенков, свое ироническое отношение к ним. Аналогичный смысл имеют насмешки над сменой «Макмагонии» «Гамбеттией» (см. прим. к стр. 441).

...который высоко держит знамя России! – Видимо, намек на упоминание о «знамени» в статье Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» (см. стр. 696).

Стр. 434. Монтаньяр – якобинец, «красный», сторонник крайних радикальных действий (от франц. montagnard – горец). Ниже Салтыков иронизирует над «радикализмом» прокурора и ему подобных, замечая, что «у нас радикалы своеобразные; у нас радикалами называются преимущественно те, которые особливую пользу приносят по части пресечения и предупреждения».

...литераторов же водворить в уездный город Мезень... – то есть сослать. Мезень – небольшой в то время городок бывшей Архангельской губернии, место административной ссылки.

Варнавин – уездный город бывшей Костромской губернии.

Гулящие русские люди. – См. прим. к стр. 393.

...газеты «Чего изволите?»... – Подразумевается газета типа «Нового времени» Суворина.

Стр. 435...с какою готовностью наша литература усваивает точки зрения, указываемые ей благожелательными лицами. – Ирония над официальными изданиями, над попытками властей «направлять» литературу и журналистику.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 436. Подчасок – здесь: нижний полицейский чин.

Долгогривые – здесь: неблагонамеренные, «нигилисты», часто являющиеся выходцами из семинаристов, из духовного звания и носившие бороды и длинные волосы (ср. т. 11, стр. 59 и т. 7, стр. 20).

Стр. 437...мер простого искоренения... – то есть обычных цензурных мер.

Стр. 438. Все десять шаров были положены направо... – Положить шар для голосования направо означало утвердить предложение или кандидата, налево – отвергнуть.

Обремизить – поставить в тяжелое положение, заставить проиграть (от карточного термина «ремиз» – недобор нужного числа взяток).

Стр. 439...его превосходительство (должно быть, по классу занимаемой должности)... – По своему чину Феденька еще не имеет права на титул «ваше превосходительство», присваивавшийся действительным статским советникам (чин 4-го класса).

Бертрам (и упоминаемые далее Алиса и Рембо) – персонажи оперы Мейербера «Роберт-Дьявол» (либретто Э. Скриба и Ж- Делавиня).

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ

Впервые – ОЗ, 1879, № 8 (вып. в свет 19 авг.), «Совр. обозр.», стр. 229–314, в качестве первой главы объединенного очерка «Первое апреля. – Первое мая» с примечанием автора: «См. «Отеч. зап.» за март 1879 г. По обстоятельствам, лично касающимся автора, в фельетонах этих последовал перерыв. Извиняясь в этом перед читателями, автор постарается к концу года довести дело до 1-го декабря включительно». Подпись: Немо.

Сохранилась черновая рукопись первоначальной редакции, анализ которой дает основание предположить, что очерк мыслился как самостоятельный и лишь позднее, непосредственно перед публикацией в августе 1879 года, к нему была присоединена вторая часть – «Первое мая» – и сделано примечание, в котором содержалось более конкретное указание на «четырёхмесячный перерыв», а вместо: «довести дело до 1-го декабря включительно» – было: «[наверстать пропущенное] выполнить все предположенное». В верхней части первого листа имеется зачеркнутый текст начала статьи «Приличествующее объяснение» (см. стр. 787).

За последние четырнадцать – пятнадцать лет физиономия нашей литературы значительно изменилась. Значение больших (ежемесячных) журналов видимо упало, а вместо них, в качестве руководителей общественной мысли, во множестве выступили ежедневные газеты. Вместе с этим литературные силы, в которых и без того не было излишка, разбросались и измельчали, а отношения литературы к вопросам, выдвигаемым жизнью, сделались поспешными, тревожными, непоследовательными.

Работая над рукописью, Салтыков исключил из текста ряд деталей, например:

Стр. 440, строка 22. Вместо: «Да... нет... не то! <...> ну хорошо, успокойся» – было:

Да... нет... нет, нет! – оправдывался он. – И Державин был литератором, и Дмитриев... Державин, Дмитриев, Карамзин, le prince wiasemsky, [но...], ах, если б вы!

Стр. 445, строка 15. Вместо: «Взойдешь невзначай в комнату <...> пополам переломится» – было:

А помнишь, бывало, взойдешь невзначай в комнату, а он вдруг где-нибудь взуглу взовьется в виде приветствия, а потом отвесит поклон, словно пополам переломается? И еще как он лгал, что он покойному Филарету племянником приходится... помню! помню!

Стр. 448, строка 16 сн. После: «хотя бы они самого Ксенофонта в подлиннике прочитали» – было:

Единственное исключение, это когда нехорошенькая может быть полезной. Ну, тогда и с ней будешь поневоле любезен.

Стр. 449, строка 2 сн. Вместо: «вечером у нас <...> слушают и зевают в руку» – было:

вечером у нас [Данковский полное собрание своих сочинений] Бутлерова о медиумизме читать будет. Ну-с, я пришел. Умно, что и говорить, умно! Серьезно, тихо, чинно; господин [Данковский] Бутлеров читает [господин Голумбецкий], мушкетеры в руку зевают.

Стр. 450, строка 9. После: «и не люблю случайных знакомств» – было:

полагаю, что в жизни необходимы и дружба, и любовь, но не вижу надобности разменивать эти чувства как попало и по мелочам. По наружности я человек одиличный, а ты – общительный. У меня очень ограниченный круг знакомств, и я почти не показываюсь в публике; напротив, ты – знаком с целым городом и почти вездесущ. Но ежели разобрать дело хорошенько, то окажется, что общительность не на твоей стороне, а на моей. Ты тип одиличного человека, а не я. Ты, мелькая всюду, нигде не бываешь, зная всех, никого не знаешь. Такой, по крайней мере, мой взгляд. А может быть, я и не прав.

Журнальный текст дополнен рядом деталей, отсутствующих в рукописи.

В Изд. 1880 существенных изменений в тексте не было сделано. Отзывы критики см. стр. 764.

Напечатанный после длительного перерыва, в политической обстановке, последовавшей за покушением 2 апреля, фельетон в какой-то степени связан с проблематикой предыдущего, здесь также развивается тема зависимости литературы от произвола «верхов», ставшая особенно актуальной ввиду репрессивных мер, последовавших за выстрелом А. К. Соловьева.

Раскрывая сущность типа «куколки» (ср. с образом Ольги Сергеевны Персиановой, т. 10, стр. 83–84 и прим.), Салтыков намечает развернутую в следующих фельетонах проблему несостоятельности семейного принципа (отношение Nathalie к сыну, а сына к ней, нарисованная со злой иронией история ее «любви» к Филофею Ивановичу).

Стр. 440. и державин был литератором, и Дмитриев... – См. прим. к стр. 428.

«Бог» – ода Державина.

Клиши – тюрьма в Париже для несостоятельных должников.

Стр. 441. Да ведь за долги, кажется, уж не сажают? – Указом Александра II сенату от 7 марта 1879 года отменено личное задержание как средство взыскания с несостоятельных должников (см. МВ, 1879, №№ 70, 71).

...живем в стране благоустроенной, а не в какой-нибудь Макмагонии, которая не нынче-завтра превратится в Гамбеттию! – С 1873 по январь 1879 г. президентом Франции был маршал Мак-Магон, лелеявший мечты о восстановлении монархии. Гамбетта – лидер республиканцев, находившихся в оппозиции к Мак-Магону. Многие прочили Гамбетту на пост президента республики, но этим планам не суждено было осуществиться. Однако в 1879 году казалось, что «Макмагония» должна смениться «Гамбеттией».

Стр. 443...в Систове очутилась... – Систово – городок в Болгарии, на Дунае. В турецкую кампанию (1877–1878) – один из прифронтовых центров, где подвизались разного рода авантюристы, мошенники, женщины легкого поведения.

Стр. 444. Смирительные <...> заведения. – Заключение в Смирительный дом было одной из форм наказания (в частности, за нарушение обязанностей детей в отношении к родителям), среднее между ссылкой и тюрьмой.

Стр. 445...суда милостивого и скорого... – Ирония по поводу указа Александра II о введении судебной реформы (см. т. 10, стр. 185 и прим. к ней).

...сим и оным... – этим и тем; старославянизмы, характерные для казенно-бюрократического стиля.

Телиш – болгарская деревня; во время войны 1877–1878 годов один из центров деятельности различных авантюристов.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
...с корпией от дамского кружка... – Во время русско-турецкой войны дамы «из общества» щипали корпию – надерганные из тряпок нитки, которые употреблялись в качестве перевязочного материала, вместо ваты.

Стр. 446...берлинский трактат ее не удовлетворил... – Берлинский трактат – мирный договор, заключенный в июне 1878 года между Россией и Турцией. Реакционные круги находили, что, подписывая его, русское правительство пошло на излишне большие уступки.

...по вопросу о проливах, говорит, настоящего решения не добились – то есть не добились передачи России Босфора и Дарданелл, на чем настаивали «патриоты». В «Дорожных заметках» (МВ, 1879, № 242) приводится, например, разговор, который слышит автор во время поездки на пароходе: «Статский выражает сожаление, что не овладели Дарданелльским или хотя Босфорским проливом; военные доказывают, что это невозможно было сделать».

Стр. 447. Архистратиг – военачальник. Православной церковью «чин» архистратига присвоен архангелу Михаилу, возглавлявшему небесные силы в борьбе с дьяволом.

Бельом – красавец-мужчина (от франц. *belle homme*).

...в Плоештах... – В румынском городе Плоешти во время кампании 1877–1878 годов находилась резиденция штаба главнокомандующего русскими войсками.

...в Египет к хедиву отправился. Одни говорят, в качестве *chef de cuisine*, другие – министром финансов. – В газетах 1879 года много писалось о правителе Египта (хедиве), об его финансовых затруднениях, долгах Египта европейским государствам. Хедива принудили взять «ответственным» министром Нубар-пашу, ориентировавшегося на правительства Англии и Франции. Нубар-паша назначил министрами англичанина Вильсона и француза де Блиньера. Новые займы еще более ухудшили финансовое положение Египта. В Каире возникли волнения, приведшие к отставке Нубар-паши. Англия и Франция заявили, что волнения подстроены самим хедивом, желающим освободиться от опеки. Они добились от Турции, которой был подчинен Египет, чтобы хедив был низложен (см. МВ, 1879, №№ 44, 58, 153 и др.). Салтыков иронизирует над «заботами» европейских государств о финансах Египта.

Стр. 448. Шато-Лафит – местность на юго-западе Франции (департамент Жиронда), славящаяся производством вин. Невежественный Харченков считает, что Шато-Лафит – имя производителя вин.

примёры появились... – ранние овощи, фрукты (от франц. *primeur*); здесь – свежий «товар».

...об турецких неистовствах рассказывать будет. – Рассказы о турецких зверствах были чрезвычайно популярны во время русско-турецкой войны. Массовая публикация таких рассказов началась летом 1876 года и явилась подготовкой к объявлению войны (см., например, МВ, 1876, №№ 130, 141, 143, 153, 166 и др.).

Стр. 449. «Кувыркком». – См. прим. к стр. 55.

...никакая интернационалка не выдумает! – О представлениях обывателей о Международном товариществе рабочих, Первом Интернационале, см. т. 10, стр. 448. Реплика «дяди» имеет иронический характер. [135]

Исполать... – на многие лета (греч.), здесь: хвала тебе.

Стр. 450...к «Наполеоновой вдове»... – к Евгении Монтихо, вдове Наполеона III. Эмигрировав в Англию после смерти мужа, побуждала к действию бонапартистов Франции, стремясь посадить на престол своего сына, принца Наполеона.

Стр. 451...московские кликуши начинают выкликать... – здесь – московские публицисты реакционного лагеря, сотрудники изданий Каткова (см., например, МВ, 1879, № 90, «Голос русского», № 97, «С берегов Невы» и др.).

...петербургские трудолюбцы выступают на сцену с иносказаниями и оправданиями... – Подразумеваются сотрудники петербургских умеренно либеральных газет, выступавшие иногда против «крайностей» реакционной печати, против необоснованных обвинений, но в то же время резко осуждавшие революционеров.

...«со времени крестьянской эмансипации отечественное земледелие вступило в знак Рака»... – Мысль о том, что после реформы сельское хозяйство России находится в упадке, встречалась и в демократических изданиях, и в крайне консервативной «Вести». Рак как символ развития послереформенной России был изображен, например, в «Искре» (1863, № 29, стр. 392, карикатура «Конь прогресса»).

Стр. 452...предложить г. Майкову написать, на случай светопреставления, гимн... –А. Майков, после покушения Каракозова, написал стихотворения «4-е апреля 1866 г.» и «Благодарственный гимн о спасении жизни государя императора 4 апреля 1866 г.». Аналогичные стихи Майков сочиняет и после покушения 2 апреля 1879 года. Они были переложены на музыку и 5 апреля исполнялись в присутствии Александра II воспитанницами Павловского института (см. МВ, 1879, № 87).

ПЕРВОЕ МАЯ

Впервые – ОЗ, 1879, № 8 (вып. в свет 19 авг.), «Совр. обозр.», в качестве второй части объединенного очерка «Первое апреля. – Первое мая», стр. 299–326, подпись: Нето.

О своих работах этого времени Салтыков писал Г. З. Елисееву 17 августа 1879 года:

«Пишу с трудом, хотя все-таки пишу (не к Вам, а в «Отеч. зап.»). И для сентябрьской книжки отдал кое-что. Выходит как-то неуклюже, видно, что человеку противно. И ведь как противно-то, если б Вы знали! Тянуть канитель из месяца в месяц – поневоле начнешь подражать самому себе».

Сохранились две черновые рукописи очерка:

1. Неполная черновая рукопись первой редакции в качестве второй части объединенного очерка «Первое апреля. – Первое мая» от слов: «В пяти... комиссиях! пояснил он...» – до слов: «Какие ужасные нравы!» Часть текста (начало) утрачена. Этот вариант очерка создавался первоначально, по-видимому, как самостоятельный и лишь позднее был объединен с очерком «Первое апреля» (см. стр. 758). Рукопись содержит ряд вариантов, не вошедших в журнальный текст. Приводим наиболее существенные из них.

Стр. 454, строка 6 сн. Вместо: «Хочется и им <...> или попробовать отразить» – было:

Хочется сказать что-нибудь усугубляющее, что-нибудь такое, что убило бы сразу всякую литературную конкуренцию и установило бы вождевленное единоторжие. Хочется... и ничего не выходит. Почему? Почему «нигилизм» пришелся ко двору, а [все] прочие упражнения в этом роде сейчас же канули в бездне забвения? А потому, милостивые государи, что слово «нигилизм», во-первых, привлекает сердца своею краткостью, а во-вторых, потому что оно дает людям толпы возможность сваливать в одну кучу все лично-неприятное, не соответствующее личным преданиям, темпераменту, словом, тревожащее. Люди толпы во всякой попытке отнестись критически к действительности видят нечто сомнительное, тревожное, но, по неразвитости своей, не знают, как отразить эту попытку.

Стр. 456, строка 16. Вместо: «и мошенники, и клеветники <...> мир был бы постыл и бесславен» – было:

и мошенники, и клеветники, и изобретатели паскудных слов.

А ежели такие элементы существуют, то, стало быть, литература совсем не тот храм, вид которого заставляет биться невинные и честные сердца, и без которого самый мир был бы постыл и бесславен, но отчасти и клоака. Может статься, это два здания отдельных, не имеющих внутренней связи, но несомненно, что клоака стоит тут же, близко, и что по временам (именно, когда выдается «случай») из нее вырываются такие удушливые запахи, которые заставляют забыть о существовании самого храма. Оттуда польются на литературу все обвинения, все клеветы, все проклятия, там будет доказываться солидарность ее со всеми неурядицами дня, оттуда денно и ночью будут раздаваться клики дикой радости и торжества, там будут формулироваться требования согнуть в бараний рог, покончить, разом покончить... с кем и с чем?

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Покончить с Грановским – и на место его поставить Г. Цитовича; покончить с Белинским – и на место его поставить [одного] из выкликающих учеников покойного Ивана Яковлевича Корейши; покончить с литературой и на место ее водворить [канцелярское усердие] хождение по делам. Одним словом, посадить Закхееву смоковницу, и под сенью ее уснуть в сладкой уверенности, что никакого плода она не принесет... Какие ужасные нравы!

2. Черновая рукопись второй редакции от слов: «Я провел ужаснейший месяц» – до слов: «и я, признаюсь, не удержал его. Надоело!»

Текст этой рукописи значительно отличается от журнального и печатается полностью в разделе «Из других редакций».

В Изд. 1880 в «Первое мая» внесено наибольшее количество поправок, главным образом стилистического характера, а также сделаны вычерки:

Стр. 469, строка 16. После «из Екатерингофа» – было:

- Есть мало-мало...тут – спросил мой юный друг, щелкнув себя по галстуку.
- Должно полагать, что была накладка...
- Ну, значит, будем всю ночь напролет работать! – рассудил Феденька и начал торопливо прощаться со мной.

Фельетон направлен против осатаневшей после покушения 2 апреля реакции, против публицистов охранительного лагеря, которые в обстановке резко обострившейся общественно-политической борьбы «словно взбесились», призывая к жестокой расправе с революционерами, с демократической печатью, обвиняя последнюю в солидарности «со всеми неурядицами дня», в пропаганде идей, вызвавших выстрел Соловьева.

Салтыков защищает право литературы на критику и сатиру, на правдивое изображение действительности, на отказ «дифирамб писать». Он не мог открыть прямую связь «воплей» реакционных публицистов, их «программы» с проводимой правительством политикой в области идеологии, литературы. Однако в очерке нарисована подлинная картина отношения властей к литературе критического направления.

Писатель провозглашал право литературы на «неприкосновенность», полагая, что даже возможные ее «заблуждения» не оправдывают административного произвола. «Литература имеет право допускать заблуждения, – заявлял он, – потому что она же сама и поправляет их».

Очерк «Первое апреля. – Первое мая» вызвал сочувственные отзывы прессы. Особенно привлекло внимание критики выступление сатирика против «тех беззастенчивых господ, которые в различных комиссиях... воздвигают против литературы обвинения в том, что она занимается «подрыванием основ»». [136]

Позже К. Арсеньев в статье «Русская общественная жизнь в сатире Салтыкова» писал: «Сильнее всех подобных картин действуют на нас, однако, те места «Круглого года», в которых слышится активный протест против заподозриваний, науськиваний, против ближайших причин «общей пригнетенности» <...>. Автор «Круглого года» доказывает не право литературы на снисхождение, даже не полную ее невинность, он доказывает, что она вовсе не может быть виновата, что заблуждения ее необходимые ступени к истине, что ей принадлежит будущее». [137] П. Вейнберг («Молва», 1879, № 232, 4 августа) указывал, что «ближайшее родство с щедринскою манерою пробивается, как и во всех прежних фельетонах этого псевдонима, так явственно, что с нашей стороны будет, надеемся, нескромностью считать Щедрина и Нето за одно лицо».

Стр. 453...не имеет крупных и высокоталантливых выразителей, как в сороковых годах... – Подразумеваются Белинский, Герцен, Грановский и др. люди сороковых годов.

...доктринеры бараньего рога и ежовых рукавиц... – Эзоповские формулы сатиры Салтыкова, характеризующие идеологию реакции и политику административно-полицейских репрессий.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 454. А литература-то ваша... какова! – В откликах реакционной печати на покушение 2 апреля постоянно повторялись нападки на литературу и журналистику. В статье «Голос русского» (МВ, 1879, № 90) писалось: «Возьмем печать. Чем полны наши газеты и журналы?.. посягательствами на семейную жизнь, домашний очаг или издевательством над соблюдением церковных обрядов».

...успех, полученный некогда изобретением «нигилизма»... – Салтыков имеет в виду широкое использование этого слова реакционным лагерем для дискредитации передовых демократических идей.

Стр. 454...римский папа – и тот прельстился этим словом... – Подразумевается энциклика (папское послание всем католикам) римского папы Льва XIII от 28 декабря 1879 года, вся посвященная теме борьбы с революционными идеями. В ней говорилось о «смертельной чуме» учений, распространяемых сектой людей, «которые называются различными и почти варварскими именами социалистов, коммунистов и нигилистов» («Гражданин», 1879, № 2–3, стр. 47). О папской энциклике с одобрением отзывались русские реакционные издания (см., например, МВ, 1879, № 7, «Из Рима»).

Этимологи – здесь: изобретатели кличек, имевших целью ошельмовать революционеров и радикально настроенную молодежь («свистуны», «нигилисты» и т. п.).

Угобжать – убогавать (церковнослав.).

Стр. 456...ничто человеческое ей не чуждо... – ставшие поговоркой слова из комедии Теренция «Самоистязатель».

...вопрос о проливах разрешить <...> и туркину жизнь навсегда прекратить. – См. прим. к стр. 446.

Стр. 457. «Сочинитель и Разбойник» – басня Крылова, направленная против идей французской революции, Вольтера, его единомышленников.

...об Дюма-фисе, о Белло, о Монтепене – то есть о тех французских писателях, которые, несмотря на различие таланта и стиля, являлись поставщиками легковесного, пряного, «щекочущего нервы» чтения для «дамочек» и их поклонников.

О Росс! о род непобедимый – неточная цитата из оды Державина «На взятие Измаила». У Державина: «О Росс! – О род великодушный!»

Стр. 460. Табель о рангах. – О введенной Петром I иерархии чинов см. т. 8, стр. 574.

Стр. 462. Вот идет вотяк, видит забор – поет: забор! забор! – Рассуждение о «вотяцкой мудрости», ограничивающейся лишь констатацией явлений, перекликается с оценкой Салтыковым писателей-«натуралистов» в цикле «За рубежом»: «...Я не идеолог, а реалист; я описываю только то, что в жизни бывает. Вижу забор – говорю: забор; вижу поясицу – говорю: поясица» (т. 14).

Стр. 463...подай то, неведомо что, иди туда, неведомо куда. – фольклорный сюжет из сказок о «чудесной задаче» (см. «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева», т. 2, м. 1957, стр. 134).

Стр 464...аппетиты Юханцевых, Ландсбергов, Ковальчуковых. – К. Н. Юханцев – отставной коллежский советник, чиновник по особым поручениям министерства финансов, кассир Общества взаимного поземельного кредита, растратил более 2 миллионов руб. Дело против него возбуждено в марте 1878 года. Слушалось оно в январе 1879 года (см. МВ, 1879, №№ 20, 22–29). К. Х. Ландсберг – отставной гвардейский офицер, убийца (см. прим. к стр. 469). М. С. Ковальчукова – жена харьковского врача А. И. Ковальчукова. Ее любовник, отставной подпоручик Г. А. Безобразов, убил мужа, чтобы завладеть его деньгами и жениться на Ковальчуковой. Дело слушалось в октябре 1878 года (МВ, 1878, №№ 271, 277). Реакционная печать пыталась отнести Юханцева к «новым людям», к «молодому поколению», отрицающему нравственность во имя утилитаризма. Салтыков сблизает все три преступления, видя в них свидетельство деморализации «верхов» общества, разложения «основ», глубокого падения нравов.

Стр. 464...праздных людей, оставшихся за бортом с упразднением крепостного права...

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– то есть разорившихся дворян-помещиков.

...при анекдотах о пошехонцах. – См. прим. к стр. 428.

Стр. 465. Литературные золотари. – Этим и подобными эпитетами («ретирадники», граждане «литературно-ретирадных мест») Салтыков награждал сотрудников реакционной прессы.

Стр. 466. Боскеты – рожи (от франц. *bosquet*).

Стр. 467...даже те, которые когда-то считались мастерами в этом роде, – и те ныне пускают шип по-змеиному. – Подразумеваются поэты «чистого искусства», выступившие с нападками на демократический лагерь, например, А. К. Толстой («Поток-богатырь», «Порой веселой мая») и Фет («Псевдопоэту», «Крысы»).

Стр. 468...с легкой руки Григоровича... – Повести Григоровича «Деревня» (1846) и «Антон Горемыка» (1847), проникнутые сочувствием к крестьянину, правдиво изображавшие народную жизнь, во многом определили обращение русской литературы к крестьянской теме. О знакомстве Салтыкова с Григоровичем, об отношении его к «Деревне» и «Антону Горемыке» см. Макашин, стр. 255, 264.

...лучшие государственные люди нынешнего царствования... – Подразумеваются активные участники правительственной подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г., такие как Я. И. Ростовцев, С. С. Ланской, Н. А. Милютин, А. И. Левшин и др.

ПЕРВОЕ ИЮНЯ

Впервые – Изд. 1880, стр. 91–109.

По требованию цензуры очерк был вырезан из «Отеч. записок» (1879, № 9), где должен был быть опубликованным в качестве первой части объединенного очерка «Первое июня. – Первое июля». Вместо вырезанного текста в журнале напечатано:

Мая совсем не было. Не знаю, как это случилось, но только, проснувшись 1 – го июня, я убедился, что припомнить, а стало быть, и писать – не об чем.

В архиве С.-Петербургского цензурного комитета сохранился подробный доклад цензора Лебедева, в котором сообщалось, что очерк Салтыкова «заключает в себе протест против мер строгости, принимаемых правительством для устранения тех ненормальных явлений, которыми отличается у нас последнее время» (ЦИГАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 60, лл. 332–333–336).

17 сентября председатель цензурного комитета Петров конфиденциально сообщил исполняющему обязанности начальника Главного управления по делам печати Варадинову о необходимости вырезать из «Отеч. записок» помимо отрывка в статье «Finis Монрепо» (см. стр. 732–734) весь очерк «Первое июня». В тот же день постановление было утверждено и сообщено Салтыкову, который сейчас же обратился в цензурный комитет с официальной просьбой о разрешении сделать необходимые исправления. 19 сентября вырезки были сделаны (см. стр. 734).

Сохранились: 1. Черновая рукопись, представляющая собой первую главу объединенного очерка «Первое июня. – Первое июля», от слов: «Так ты думаешь, что нужно подтянуть» – до слов: «побрел вдоль по аллее по направлению к выходу». Копия первопечатного текста в конверте из архива журнала «Русск. старина» с пометой на конверте: «Недозволенные цензурой и вырезанные по ее распоряжению из августовской книжки «Отеч. записок» 1879 г. из фельетона страницы. Списано с печатных вырезанных осьмушек, добытых в цензурном комитете». [138]

Копия «Русск. старины» показывает почти полное совпадение изъятых журнального текста с Изд. 1880, за исключением нескольких незначительных разночтений стилистического характера.

Сравнение черновой рукописи с печатным текстом обнаруживает большое количество разночтений, многие из которых продиктованы соображениями автоцензуры. Приводим наиболее значительные рукописные варианты.

Стр. 476, строка 1 сн. Вместо: «жестоко, по-татарски <...> делать нечего, пусть так» – было:

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru жестоко, совсем по-татарски, но что же делать? Если по высшим соображениям это необходимо, если из этого должно выйти возрождение, то делать нечего, пускай будет так!

Стр. 478, строка 6 сн. Вместо: «и что еще больше выдает их с головой <...> массы-то эти собираешься подтянуть» – было:

и что, следовательно, это еще больше выдает их с головой. Я знаю, что ты даже охотно сошлешься на Московский Охотный ряд. Ничего я против этого не имею; думай так, как сложились твои убеждения, и ссылайся на все, что найдешь для себя пригодным. Но зачем же ты Охотный-то собрался стеснить?

– Но чем же я могу его стеснить?

– Любезный друг! разве это не видно? Разве не ясно, что голова твоя полна мероприятий не частных, а именно общих, забирающих возможно обширную область? Разве я не читаю на твоём лице: непременно надобно, чтобы они знали, как Кузьку зовут. За что?

– И опять-таки повторяю: ничего мне на мысль не приходило. Ни об каком «Кузьке» я никогда не думаю, но говорю и утверждаю, что решительные меры все-таки необходимо принять.

– Да ведь об этом-то и речь идет, что то, что ты разумеешь под именем решительных мер, совсем не туда.

Стр. 479, строка 2 сн. Вместо: «я к тебе обращаю мою речь <...> и говоришь: потрудись сам!» – было:

я к тебе обращаю речь мою, к тебе, человеку, полному жизни, человеку, до краев переполненному проектами об упрочении твоей карьеры при помощи подтягиваний; я обращаюсь к тебе с советом о том, что именно для тебя было бы полезно иметь в виду, а ты все это перевертываешь самым предательским образом и говоришь: потрудись сам!

Стр. 480, строка 10. Вместо: «я ничего не критикую, а лично тебе говорю: стыдись!» – было:

не критикую, а прямо говорю: твой образ мыслей обнаруживает в тебе положительно вредного человека! Извини.

Стр. 481, строка 21. Вместо: «C'est la fatalité <...> какое может быть преуспеянье!» – было:

– Помилуйте! да я никогда и не думал трогать ни добросердечных, ни «средних» людей – пускай их живут, Христос с ними.

– Пускай живут... Если при таких идеалах, какие ты в себе воспитал, возможно жить! Помилуй, голубчик, какое же может быть преуспеяние.

Фельетон направлен против репрессивных мер, предпринятых правительством в связи с покушением 2 апреля, против принципа «государственности», олицетворенного в типах, признающих «подтягивание» универсальным средством управления страной. Именно так и оценила его цензура, потребовавшая изъять этот фельетон из «Отечественных записок» (см. стр. 732).

Стр. 469...весело ли бодрствуют дворники. – После покушения Соловьева, отвечая на поздравления гласных петербургской городской думы, Александр II сказал: «Нужно, чтобы домовладельцы смотрели за своими дворниками и жильцами. Вы обязаны помогать полиции <...> Посмотрите, что у нас делается. Скоро честному человеку нельзя будет показаться на улице» («Правит. вестник», 1879, № 77). В постановлении петербургского генерал-губернатора от 8 апреля указывалось, со ссылкой на высочайшее повеление, на необходимость постоянного дежурства дворников: «У ворот каждого дома в С.-Петербурге должен находиться во всякое время, как ночью, так и днем, дежурный дворник» (МВ, 1879, № 90).

...Ландсберг, которого имя в эту минуту занимало все умы... – дело офицера Ландсберга слушалось в начале июня 1879 года (см. МВ, №№ 171, 175), но арестован

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru он был в начале июля. Ландсберг убил своего знакомого Е. Власова и его служанку, чтобы взять свою расписку на 5000 рублей и тем самым избавиться от уплаты долга. Кроме расписки Ландсберг похитил у Власова процентные бумаги на сумму около 14 000 рублей. Приговорен к пятнадцати годам каторжных работ.

Стр. 472. «Афины» – дешевая греческая кухмистерская.

...регуловским геройством... – Имя римского героя Регула, ставшее символом самоотверженности и преданности отчизне, у Салтыкова употребляется в ироническом смысле.

Стр. 474...ежели кто в былое время английскими порядками восторгался... – Намек на Каткова, его англофильство в 50-х годах.

Стр. 475...«а завтра – где ты, человек?»... – См. прим. к стр. 26.

Стр. 476...«от хладных финских скал до пламенной Колхиды»... – Из стихотворения Пушкина «Клеветникам России». У Пушкина: «От финских хладных скал...»

Стр. 480. A Provin Trou-la-la-la... – неоднократно упоминаемый в сатире Салтыкова французский «романс» из каскадного репертуара (см. т. 10, стр. 91 и прим.).

Стр. 482. А ерунда всего опаснее... – На языке реакции «ерунда» – символ революционных идей.

...в стране зулусов, в качестве сестры милосердия при принце Наполеоне. – Летом 1879 года газеты много писали о принце Наполеоне, единственном сыне Наполеона III, претенденте на французский престол, нашедшем убежище в Англии и принявшем участие в английской экспедиции против зулусов в Африке.

ПЕРВОЕ ИЮЛЯ

Впервые – 03, 1879, № 9 (вып. в свет 22 сент.), «Совр. обзор.», стр. 119, под загл. «Первое июня. – Первое июля». Подпись: Nemo.

Сохранилась неполная черновая рукопись первоначальной редакции от слов: «Почти весь июнь я посвятил семейным радостям» – до слов: «Оставалось пустить это дело на волю судеб».

Очерк не вызвал существенных откликов прессы. Положительную характеристику дал «Сын отечества», подчеркнув, что «в образе» «дамочки-куколки» Nathalie автор выставил на вид целый разряд людей с их странным воззрением на литературу».[139] Не всеми критиками правильно была понята сатирическая направленность очерка. Так, рецензент газеты «Дон» назвал образ Nathalie «бессмыслицей, очевидно, претендующей на сатиру».[140]

Стр. 487...однажды распорядился... – то есть велел высечь (ср. с рассказом Тургенева «Бурмистр»: «Насчет Федора... распорядиться»).

Стр. 488.. «Бедная Лиза» – повесть Карамзина.

Стр. 488. «Марьяна Роща», «Вадим Новгородский» – повести Жуковского. В «Дворянских мелодиях» Салтыков иронически отзывался о «ворковании школы Карамзина и Жуковского» (см. т. 12).

...да ведь ты картонная! – Ср. с мартовской хроникой «Нашей общественной жизни» за 1863 год (т. 6).

Стр. 490...если при этом Henri-Cinq... – то есть надежды на реставрацию во Франции Бурбонов. Под именем Генриха V роялисты надеялись возвести на престол графа Шамбора.

Не знают, что будет впереди... – Подразумевается неопределенность перспектив борьбы, которая велась во Франции после поражения Парижской коммуны до 1880-х годов между легитимистами (приверженцами Бурбонов), бонапартистами, орлеанистами (сторонниками орлеанского дома, к которому принадлежал Луи-Филипп) и республиканцами.

«Паризьена» – гимн свободе, написанный во время июльской революции 1830 года

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
поэтом Делавинем.

ПЕРВОЕ АВГУСТА

Впервые – ОЗ, 1879, № 10 (вып. в свет 18 окт.), «Совр. обозр.», стр. 240–253, в составе объединенного очерка «Первое августа. – Первое сентября» (первая часть).

Рукописи и корректуры не сохранились.

В Изд. 1880 вошло с некоторыми незначительными изменениями стилистического характера.

Об отзывах критики см. стр. 775.

В очерке передана атмосфера подавленности и страха, порожденная правительственным террором. Салтыков намечает характерные признаки времени, деморализующего личность, требующего от нее рабской покорности, бессловесного угодничества; упоминаются способы такого «гожения» (посещения трактира Палкина, Демидрона и т. п.), перекликающиеся с описаниями времяпрепровождения героев «Современной идиллии».

Основная тема очерка – отповедь идеологам реакции, обвинявшим автора в «беллетристическом двоедушии», объяснение Салтыковым принципов своего творчества, причин «полезной сдержанности», особенностей «рабьей манеры», эзоповского языка. Исследователи указывают, что аллегорическая манера Салтыкова, определяемая отчасти давлением цензуры, приводила к художественно выразительным приемам создания сатирических образов. Это не означает, что «рабья манера», эзопов язык не ограничивали писателя, не тяготили его. Но это было единственно возможным способом легализации запрещенных идей, позволявшим «показывать некоторые перспективы». В эзоповской манере Салтыкова широко использован и общий «коллективный» язык, аллегорическая символика, созданные писателями демократического лагеря. [141]

Писатель точно определяет свою позицию, позицию революционного демократа, занимаемую им в общественно-литературной борьбе, заявляя, что он не консерватор и не либерал. Он противопоставляет свой метод либеральному обличительству, утверждая, что сатира его направлена не против частных лиц, а против всего общественного уклада, что его «резкость имеет в виду не личности, а известную совокупность явлений».

Вследствие этого он в фельетоне вступил в полемику с сотрудниками журнала «Дело» Н. Шелгуновым и Н. Ткачевым, с их представлениями о его творчестве. Шелгунов (псевд. Н. Языков) в статье «Горький смех – не легкий смех» [142] обвинил автора «Благонамеренных речей» в отсутствии идеала, «искреннего негодования», «активного протеста», в желании только «смешить ради смеха». Резкость сатиры Салтыкова, писателя, по его словам, «без ясного к строго определенного мировоззрения», Шелгунов объяснял его раздраженностью на весь мир, тем, что он будто бы пишет с ненавистью, и когда создает свои типы, «фигуры», то «лепит и бьет ее (то есть «фигуру». – П. Р.) по щекам, бьет и хохочет, хохочет холодно, злорадно, точно сам радуется своей собственной злости». П. Н. Ткачев (псевд. П. Никитин) в статье «Безобидная сатира» [143] в сущности повторил мнение Шелгунова и в «Круглом годе» нашел только «веселый, бесшабашный смех». Отвечая на эти упреки, Салтыков писал в фельетоне: «Я никого не бью по щекам...»

Стр. 497... в брошюрах одесского профессора Цитовича... – Одесский профессор уголовного права Цитович являлся автором нескольких брошюр, отличавшихся вульгарной демагогией и резкими нападениями на революционную молодежь. Он пользовался скандальной известностью. В 1878 году вышла брошюра «Новые приемы общинного землевладения», вызвавшая отповедь Михайловского («Письма к ученым людям», ОЗ, 1878, № 6, 7). В том же году Цитович выпустил «Ответ на «Письма к ученым людям», с пасквильными нападениями на «детей «нигилистов». В 1879 году он издает «Объяснение по поводу внутреннего обозрения «Вестника Европы» (1878, № 12), где вновь обрушивается на «нигилизм», на роман Чернышевского «Что делать?», на русскую журналистику последних двух десятилетий. В брошюре имелись прямые выпады в адрес Салтыкова, да и вообще нападки Цитовича в первую очередь имели в виду «Отеч. записки». В том же году вышла брошюра Цитовича «Хрестоматия нового слова. Что делали в романе «Что делать?», полная клеветы на роман Чернышевского. В ней, между прочим, «новые люди» сближались с «героями» уголовных процессов. Брошюры Цитовича отвечали «веяниям дня». Они выдержали в короткое время ряд

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru изданий (например, «Ответ на письма...» вышел в восьми изданиях), с ними солидаризовалась реакционная периодика (см., например, МВ, 1879, №№ 15, 153, 200).

Стр. 498. Ты, фортуна, украшаешь... – Из стихотворения Сумарокова «Перевод Руссовой оды на фортуну».

Стр. 499...мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь... – Из народной песни «По улице мостовой».

А завтра – где ты, человек? – См. прим. к стр. 26.

Стр. 501. Фьюить! – выражение, постоянно употребляемое Салтыковым как символ правительственного произвола вообще и административной ссылки в частности.

«Ямщик лихой, он встал с полночи». – Из стихотворения Ф. Глинки «Сон русского на чужбине», часть которого стала народной песней.

Стр. 504. Риторика Георгиевского – «Руководство к изучению русской словесности» (см. т. 10, прим. к стр. 117).

...будь я менее сдержан – из этого непременно произойдет для меня молчание. – Подразумевается постоянная угроза цензурных репрессий.

...против наплыва неблагонадежных элементов! – Намек на последнюю фразу статьи Безобразова, имевшую доносительный характер: «не мешает, однако, зорко следить за теми неблагонадежными материалами, которые сылятся с разных сторон втесниться в новое государственное здание, зорко следить за неблагонадежными понятиями, распространяемыми в общественной атмосфере» (РВ, 1869, № 10, стр. 486).

Стр. 507...я тогда же обратился к...публицисту... – Со статьей «Человек, который смеется» (см. т. 9, стр. 696).

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Впервые – ОЗ, 1879, № 10 (вып. в свет 18 окт.). «Совр. обозр.», стр. 253–266, в составе объединенного очерка «Первое августа. – Первое сентября» (вторая часть). Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры не сохранились.

В Изд. 1880 текст подвергся незначительной стилистической правке.

В очерке раскрывается близость принципов «семейного» и «государственного». Обитательницы публичного дома, «штучки» – наиболее рьяные приверженцы государственного принципа, устраивают триумфальную встречу ренегату, Саши Ненарочному. Демидрон является цитаделью не только благонамеренных «патриотических» чувств, но и официальной нравственности. В нем находит осуществление «семейный союз». Именно девица Филиппо, одна из примадонн Демидрона, воспитала «похвальные» качества Саши Ненарочного, посеяла в его сердце «семена благодетельности», принесшие столь «благие» плоды. Описание триумфа Саши в Демидроне превращается в едкий гротеск, раскрывающий полную несостоятельность «основ». [144]

Объединенный очерк «Первое августа. – Первое сентября» вызвал разноречивые отклики прессы. Подробный его разбор сделал Е. Е. Картавцев в газете «Киевлянин». [145] Он указал, что «в летние и осенние месяцы со стороны московских органов «людей порядка» было сделано несколько заявлений и проведено несколько мыслей, сущность которых заключалась в вопросе: «Действительно ли «Отечественные записки» и их редактор признают и готовы поддерживать принципы, на которых зиждется собственность, семейство и государство». Из самой постановки вопроса видно было, что делавшие его готовы были отвечать отрицательно». Далее автор рецензии отмечает, что Салтыков в своих последних произведениях «с необыкновенной силой поставил и разъяснил сомневающимся вопрос о взгляде журнала на три «основы» современной жизни – семейство, собственность и государство».

В. Чуйко в «Лит. хронике» газеты «Новости» отметил значение образа Саши Ненарочного, показывающего, «откуда могут явиться подобные господа, у которых самоуверенное невежество и хлыщеватая легкость в разрешении самых сложных

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru общественных вопросов играют такую выдающуюся роль». [146]

Подробный разбор и положительные отзывы были помещены во многих других газетах. [147] Резко отрицательную характеристику Салтыков получил в «Лит. очерках» Буренина как автор «лицемерно-либеральничавших» «Отеч. записок», которые вместе с Елисеевым и Михайловским «желают дать понять <...>, что они люди, во-первых, идейные и, во-вторых, невинные и нимало не опасные для отечества». [148]

Стр. 513...пользовался секретным доверием местного штаб-офицера... – то есть был осведомителем местного жандармского офицера.

...секретно утирать слезы. – По преданию, когда граф Бенкендорф, назначенный управляющим III Отделением, только что учрежденным, обратился к Николаю I с вопросом о своих обязанностях, тот протянул ему носовой платок и сказал: «Вот, отирай слезы вдов и сирых».

Стр. 513...на случай телесного озлобления... – Из «Скрижали» Арсения Грека.

Стр. 514...дидактической сферой... – Здесь: духом поучения, назидания.

Стр. 518. Это случилось тому назад пять лет – то есть в разгар хождения в народ.

Стр. 519. Ждал к пасхе Владимира 3-й, а получил корону на св. Анны... – Согласно «Установлению об орденах» орден Анны занимал самое «демократическое» место. Для повышения значения этой награды было введено изображение императорской короны, помещавшейся над орденом (см.: И. Г. Спасский, Иностранные и русские ордена, Л. 1963, стр. 17).

Стр. 520...на Страстной бульвар... – Там помещалась редакция «Моск. ведомостей».

...подарили «Полный греческо-русский словарь»... – Здесь высмеивается приверженность издателей-редакторов «Моск. ведомостей», Каткова и Леонтьева, к классическому образованию, к древним языкам.

Стр. 526...статистических сведений... – «Статистикой» Салтыков иронически именуется сведения, собираемые полицией о «неблагонадежных элементах» (ср. «Современную идиллию»).

ПЕРВОЕ ОКТЯБРЯ

Впервые – ОЗ, 1879, № 11 (вып. в свет 16 нояб.), «Совр. обозр.», стр. 107–116. Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры неизвестны.

В Изд. 1880 вошло с некоторыми стилистическими изменениями. Кроме того, был снят следующий «Postscriptum» к очерку, вставленный в журнальный текст в ответ на выпад Достоевского против Салтыкова в третьей главе восьмой книги «Братьев Карамазовых». [149]

Р. С. Последние строки были уже написаны, как я прочитал в романе «Братья Карамазовы», соч. писателя Достоевского, следующую тираду, произносимую некоей г-жой Хохлаковой: «женское развитие и даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем – вот мой идеал. У меня у самой дочь, и с этой стороны меня мало знают. Я написала по этому поводу писателю Щедрину. Этот писатель мне столько указал, столько указал в назначении женщины, что я ему отправила прошлого года анонимное письмо в две строки: «Обнимаю и целую вас, мой писатель, за современную женщину, продолжайте». И подписалась: «мать». Я хотела было подписаться: «современная мать» и колебалась, но остановилась просто на матери: больше красоты нравственной, да и слово «современная» напоминало бы им (?) Современник – воспоминание для них (?) горькое, ввиду нынешней цензуры...» Такого письма я не получал, и вся эта «выдумка», очевидно, сочинена салопницей Хохлаковой для того, чтоб напомнить: был, дескать, журнал «Современник», так вот не он ли устами «писателя» Щедрина продолжает говорить. Ах, эти салопницы! То из старой одежды чего-нибудь на бедность просит, а то вдруг, ни с того ни с сего, съезвит глупо, беззубо, но в то же время ужасно противно, хоть форточки отворяй! Вот хоть бы в данном случае: об чем докучает салопница Хохлакова? – об том, чтоб я продолжал писать о назначении современной женщины. Но я об этом-то

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru именно предмете всего менее и писал, а следовательно, не только не мог «столько» указать г-же Хохлаковой, но просто ничего. Вот если б вы, салопница Хохлакова, поблагодарили меня за изображение людей, «которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси» – такой благодарности, быть может, я заслуживал бы. Подобных людей я действительно изображал и надеюсь изображать и в будущем без ваших просьб. Останетесь довольны.

Не удовлетворившись этим ответом, Салтыков продолжил свой спор с Достоевским и в фельетоне «Первое ноября». Скрытая полемика между обоими писателями велась на протяжении десятилетий. Конкретные обстоятельства, побудившие Достоевского в «Братьях Карамазовых» открыто выступить против Салтыкова, остаются невыясненными. При подготовке отдельного издания «Круглого года» Салтыков исключил из текста оба полемических отрывка. Подробнее см.: С. Борщевский, Щедрин и Достоевский, Гослитиздат, 1956, стр. 314–322.

Салтыков затрагивает в фельетоне проблему взаимоотношений писателя с читателем-другом, раскрывая свое понимание задач общественно-литературной деятельности (см. стр. 747).

Письма литературных героев к рассказчику – «дяде» раскрывают ироническое отношение Салтыкова к признанию «основ», провозглашенному в фельетоне «Первое августа».

Стр. 526. Наглотавшись от представителей современного русского критиканства разных эпитетов... – Так, например, в «Дорожных заметках» (МВ, 1879, № 249) о Салтыкове говорилось следующее: «Мне случилось прочесть эту переписку <видимо, письма Карамзина, Батюшкова и Вяземского> вслед за какой-то статьей Щедрина. Господи, что за различие! Точно я перескочил в благоуханный сад из псарни, наполненной смрадом, визгом и свистом арапника!»

Стр. 527. Ведь настоящего-то слова <...> все-таки не выговоришь... – Намек на цензурные препятствия.

Стр. 528. Наступил период затишья... – Речь идет, возможно, о 1864–1867 годах, когда Салтыков оставляет литературные занятия и вновь служит в провинции.

Стр. 529. Дар напрасный, дар случайный... – Из стихотворения Пушкина.

Стр. 530. Выморочное имущество – имущество, оставшееся после умершего, не имеющего наследников и не сделавшего завещания; на него никто не может предъявить претензий, и оно поступает в собственность государства.

Стр. 531. Митрофан, Тарас Скотинин <...> Простакова... – персонажи комедии Фонвизина «Недоросль».

Стр. 532. Рудин <...> Лаврецкий – герои романов Тургенева «Рудин» и «Дворянское гнездо».

Стр. 534. Кунавино. – См. прим. к стр. 381.

Стр. 535. А о святой церкви и служителях ее... позабыл? – Письмо «иерея» (священника) как бы включает и религию, церковь, в ряд «основ», «краеугольных камней», обличаемых в цикле.

ПЕРВОЕ НОЯБРЯ

Впервые – ОЗ, 1879, № 12 (вып. в свет 20 дек.), «Совр. обозр.», стр. 228, под заглавием: «Первое ноября. – Первое декабря». Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры неизвестны.

В Изд. 1880 автор устранил всю начальную часть очерка, содержащую следующее продолжение полемики с Достоевским, начатой еще в октябрьском очерке.

Остановлюсь на минуту на г-же Хохлаковой, которую г. Достоевский так некстати и неуклюже подсунул мне в прошлом месяце. Письма, возвещенного ею, я не получал.

Очевидно, она лгала, говоря, что написала его. Зачем она лгала? Хохлакова – тип не новый. Гоголь, который так много прозрел в русской жизни, прозрел и несметное

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru хохлаковское воинство, олицетворив эту язву в двух незабвенных личностях: даме просто приятной и даме приятной во всех отношениях. Обе эти дамы представляют самое полное воспроизведение того неотвязного пустодушия, которым почти поголовно обуреваются общество в известные исторические моменты. В женщинах это пустодушие как-то особенно обостряется, потому что, по самым условиям своего общественного положения, они всегда витают в пространстве, не пристроенные ни к какому делу, и, вследствие этого, легче, нежели мужчины, утрачивают представление о пределах оглашенности и халдовства.

Жизнь этих дам есть сплошное лганье во всех формах и видах, начиная от простого пускания пыли в глаза и кончая несомненным предательством. Сначала лганье составляет как бы принадлежность «умения жить»; к нему прибегают для поддержания светских связей, им прикрывают зависть, тщеславие и желание под внешним блеском схранить от посторонних глаз всяческое домашнее убожество. Но, мало-помалу, лганье до такой степени входит в жизненный обиход, что самое общение с этой лгущей средой уже представляется какою-то гнилою фантазмагорией. Лгут непрестанно и по привычке, не потому, чтобы это было нужно для достижения каких-нибудь целей, а просто потому, что правда сделалась противной. Народ очень своеобразно и метко заклеил подобных женщин именем «шлюх». Действительно, ничего другого и сказать об них нельзя.

К числу таких «шлюх» принадлежит г-жа Хохлакова. Г. Достоевский, как один из наиболее чутких последователей Гоголя, не мог не воспользоваться этим типом: до такой степени он жизнен. Нужно, однако ж, сознаться, что в данном случае он разработал его не совсем удачно. С одной стороны, он утрировал его до степени полоумия, с другой – снабдил свойствами совершенно ему чуждыми и даже пристегнул к этому типу какие-то полемические цели. Все это в значительной степени затемнило тип, первоначально начерченный Гоголем с поразительной ясностью.

Я охотно соглашаюсь, что Хохлакова, как и всякая другая «приятная» дама, есть не что иное, как проезжий шлях, который всякий может топтать ногами: и мудрец, и глупец, и человек убежденный, и человек, стучащий мертвыми дланями в пустые перси, и человек добра, и изувер, мечтающий о кострах. Ее можно заставить и фригийский колпак надеть, и облечься в костюм сердобольной – все это она сделает, и притом непременно уладится так, что оба костюма будут ей одинаково к лицу.

Все это я допускаю, но, в то же время, думаю, что независимо от этой шляховой общедоступности, у нее есть и другая собственная ее, интимная подоплека, которую наблюдатель тоже должен принять в соображение, если не желает попасть впросак. По мнению моему, эту интимную подоплеку составляет инстинктивное отвращение к какой бы то ни было работе мысли, отвращение, которое даже больше, чем шляховая общедоступность, дает окраску ее жизни и перед которым представляется тщетным всякое усилие, направленное с целью поднять ее умственный и нравственный уровень.

Хохлакова никак не может сосредоточиться – вот в чем ее горе. А потому все серьезное (а в том числе и серьезная подлость) противно ее природе. В силу своей беспутной подвижности она ко всему прислушивается и присматривается, но ежели это слышанное и виденное хотя сколько-нибудь выходит за пределы самой несомненной низменности, то она положительно ничего не поймет. Поверьте, Гоголь не напрасно заставил свою приятную во всех отношениях даму говорить о фестончиках и только о фестончиках: это единственный разговор, который она может вместить. Конечно, в крайнем случае, и ее можно заставить вытвердить фразу более или менее сложную, но все-таки это будет предприятие очень рискованное, потому что она, наверное, либо слова переставит, либо что-нибудь пропустит, либо от себя нечто присочинит. И в конце концов, никого не убедит, а только сконфузит и выдаст того, кто ее научил.

Поэтому, если писателю нужно, чтоб Хохлакова произносила «страшные слова», то надлежит выбирать таковые исключительно из замоскворецкого лексикона. Например: «жупел», «кимвал», «металл». Такие слова по плечу Хохлаковой, потому что они приобрели право гражданства в той среде, в которой она вращается. А если б она даже и переврала их, переставила один слог на место другого, то и тут большой беды нет: кому какое дело, так или иначе то или другое глупое слово произнесено? Но писатель поступит несогласно с истиной и совершенно бестактно, если в уста Хохлаковой вложит «страшные слова» иного, замоскворецкого пошиба. Таковы, например: «прозелит», «преуспяние», «Современник» и другие. Перед этими

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru словами Хохлакова может только трепетать, но произносить их отчетливо, безошибочно и притом самостоятельно она не в силах. Она наверное перепутает, смешает: «прозелита» с «протодиаконом», «преуспевание» с «успением», «Современник» с «Временем» или «Эпохой». Да и с какой стати ей придет в голову такое, например, мудреное слово, как «Современник»? Где она могла слышать это слово? а если даже случайно и слышала, то правдоподобно ли, чтоб ее необузданно-легковесная память могла задержать его? Повторяю: ничего подобного даже случиться с г-жою Хохлаковой не могло. Так что, ежели первую половину ее фразы (о письме ко мне) она солгала *motti proprio*, [150] то вторую половину (о «Современнике») г. Достоевский заставил ее вымолвить совершенно вопреки тому верному художественному чутью, которое составляет отличительное достоинство произведений этого талантливейшего из последователей Гоголя. Нет, не о «Современнике» она хотела дать намек, а о «Времени» или об «Эпохе», этих своего рода «жупеле» и «кимвале», вполне доступных разумению Хохлаковой.

Таким образом, если уж непременно требовалось потревожить прах «Современника» и сопоставить его с моею фамилией, то, мне кажется, г. Достоевский поступил бы несравненно целесообразнее, возложив это поручение на старика Карамазова. Этот развратный и насквозь прогнивший старикашка, действительно, должен быть сердит на меня, и так как он, по природе своей, на всякие предательства способен, то, конечно, мог и в данном случае соорудить что-нибудь воистину язвительное. Я думаю даже, что он не ограничился бы напоминанием о «Современнике», но при сем присовокупил бы, что мои сочинения нужно сжечь рукой палача или что я проповедую презрение к России, а потом, помаленьку да полегоньку, пустил бы, пожалуй, букетами и по части событий, которые, в последнее время, так глубоко взволновали Россию. Конечно, все это клевета, сплетня и самая бесшабашная подлость; сам старец Карамазов очень хорошо это сознает, но так как он клеветник по природе, то никакие сознания не могут его остановить на доблестном пути инсинуации. Г. Достоевский очень тонко подметил в своем герое одно гнусное качество, которое он назвал «сластничеством», но он упустил из вида, что рядом с «сластничеством» в этом протухлом сердце свило гнездо еще и человеконенавистничество. Благодаря этому последнему свойству старый гнуснец никогда так не бывает доволен, как в те минуты, когда он думает, что ему удалось утопить ближнего в ложке воды. Повторяю: если бы г. Достоевский какую угодно выходку, даже самую омерзительную, относительно меня внушил не Хохлаковой, а старику Карамазову, я не только не увидел бы в ней ничего неожиданного или бестактного, но, напротив того, нашел бы ее вполне резонною, злопытательному сердцу свойственною и с обстоятельствами дела согласною...

Но страшную, даже и в карамазовских устах, я все-таки ее не нашел бы.

В этом смысле я могу совершенно искренно заверить карамазовскую семью, что «страшные слова» давным-давно утратили в моих глазах всякий престиж. Я знаю, конечно, что легкомысленное хохлаковское воинство (обою пола) и донныне не упразднилось, а следовательно, у Карамазовых всегда найдется готовая к их услугам аудитория, которую они могут, по своему усмотрению, повергать в суеверный трепет; но я знаю также, что наряду с хохлаковским легковесным воинством уже существует достаточное количество и таких людей, в которых такие личности, как гнилой старик Карамазов, ничего, кроме отвращения, возбудить не могут. В самом деле, что такое Карамазов? – это не человек, а оборотень; это нечистое животное, которому горькая случайность дала возможность восхитить человеческий образ. Вот истина, которая сделалась понятною уже для очень многих, как равно и то, что у оборотня ничего другого и быть не может на уме, кроме первородного свинства. А коль скоро это достаточно ясно, то весьма естественно, что против карамазовских каверз никакого другого корректива и искать не требуется, кроме того, который указывается в общеизвестной мудрой русской пословице: «Бог не попустит – свинья не съест». Именно так: не съест свинья – только и все.

Помилуйте! если бы бог попускал, чтобы свиньи одолевали людей, где ж была бы справедливость?

Ведь эти прозорливые животные вскорости истребили бы весь человеческий род, и в таком случае ужели они управляли бы вселенною?

Возможно ли представить себе такой ужас: человеческое слово упразднилось, а вместо него повсеместно водворилось свиное хрюканье?

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Ведь таким образом мы будем, пожалуй, лишены возможности читать стихотворения Майкова и наслаждаться произведениями Г. Достоевского! Да, наконец, и некому будет читать и наслаждаться! Нет, бог не попустит подобной несправедливости.

Я твердо верю этому и не страшусь. Вот уж шестой десяток живу я на свете, а в том числе с лишком тридцать лет действую в литературе. Вижу я, правда, особенно в последнее время, как бродят около меня нечистые животные и обнюхивают меня... Ужасно противно это обнюхивание – с этим я, конечно, не согласиться не могу, но ежели нечистые животные полагаются по штатам самой природы, то делать нечего, приходится примириться с этой необходимостью. Но чтобы они так-таки съели, потому что такова их свиная фантазия... помилуй бог!

Нет, не съедят они, не съедят никого. Бог не попустит этого. Вот почему я нимало не сомневаюсь и в ответ на отвратительные обнюхивания уверенно восклицаю: жив есмь и жива душа моя!

Кроме того, Салтыков изъясил два авторских признания, относящихся к обстоятельствам подготовки очерка для публикации в журнале.

Стр. 541, строка 20. В «Отч. записках» после слов: «ни того, ни другого я не выполнил» – было:

Я даже вынужден был изменять обязательной в работах этого рода аккуратности, то есть не каждый месяц являлся с моими беседами и, следовательно, не мог сообщить содержанию их характер современности. Да и вообще, не имел охоты писать, а писал потому только, что надо было как-нибудь довести до конца раз начатое дело.

Стр. 543, строка 19. После «едва ли мыслимы» – было:

Как бы то ни было, но, прощаясь с читателями до будущего года, вновь повторяю: я выполнял задачу моих ежемесячных бесед очень слабо и далеко не в том объеме, в каком предполагал. И прошу в том великодушно меня простить.

В фельетоне затрагивается проблема соотношения литератур 40-х и 70-х годов, к которой Салтыков возвращался неоднократно. О ней шла речь в статье «Один из деятелей русской мысли» (см. т. 9), в цикле «В среде умеренности и аккуратности» («Дворянские мелодии», см. т. 12). Сама постановка проблемы определялась литературно-журнальной борьбой вокруг наследия «сороковых годов» и связана была у Салтыкова со стремлением преодолеть ограниченность «утилитарной» сатиры. [151]

Не случайно сторонники такой сатиры, с какой бы точки зрения они ни исходили, обвиняли Салтыкова в идеализации «сороковых годов» (см. статьи Ткачева «Безобидная сатира» и «Заметки «о том, о сем», «Лит. меланхолия». – «Дело», 1878, № 1, 1880, № 1; статью Б. Н. «Лит. летопись». – «Русск. курьер», 1880, № 39).

Литература «сороковых годов» вовсе не являлась идеалом Салтыкова, видевшего, по словам Михайловского, и связанность ее по рукам и ногам, и многие внутренние изъяны, и особенно изолированность ее от практической «злобы дня». [152] Салтыков уверен, что общение с жизнью «всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы». Но он предпочитает литературу «сороковых годов», с ее убежденностью, со стремлением «отыскать известные идеалы добра и истины», современной буржуазно-либеральной, реакционной литературе, занимающейся разработкой «пустяков», для которой «общие принципы – недоступны».

Заключительная часть фельетона содержит упоминания о цензурных и политических обстоятельствах, в которых создавался цикл и которые вынудили изменить его первоначальный замысел.

Следует учитывать и то, что отношение «дяди» – рассказчика, воспитанного на идеалах «сороковых годов», и отношение самого Салтыкова к эпохе Грановского далеко не идентичны.

Стр. 535...мы, члены этого кружка.. – то есть кружка Петрашевского (ср. с упоминанием о нем в «Противоречиях», «Брусине», «Тихом пристанище», «За рубежом» и др.).

Стр. 536...чаще справлялись с кладбищем сороковых годов... – Ср. с рассуждениями

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Чернышевского в «Очерках гоголевского периода русской литературы» о критике 40-х годов, о наследии Белинского: «И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах <...> не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми?» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 3, М. 1947, стр. 9).

Стр. 539. «...сердца горестных замет». – Из «Евгения Онегина» Пушкина (Посвящение).

Стр. 542...голоса звонкие, уверенные... – то есть голоса торжествующей реакции.

ПЕРВОЕ ДЕКАБРЯ («Вечерок»)

Впервые – ОЗ, 1880, № 4 (вып. в свет после 11 апр.), стр. 551, под заглавием «Не весьма давно (Осенние воспоминания)». Подпись: Н. Щедрин. Под заглавием «Вечерок» очерк должен был быть как самостоятельный рассказ напечатан в февральской книжке «Отеч. записок», но был вырезан по требованию цензуры. Рукописи, корректуры и вырезанные журнальные листы неизвестны.

«Вечерок» привлек внимание цензурного комитета вместе с четырьмя другими произведениями (рассказ Осиповича-Новодворского «Карьера (Записки молодого человека)», басня А. Л. Боровиковского «Воробей», анонимная статья «Финансовые итоги последних лет» и «Внутр. обзор.» Кривенко). Цензор Лебедев докладывал С.-Петербургскому цензурному комитету (16 февраля):

«В этом очерке автор самыми мрачными красками описывает современное состояние общества, при котором будто бы не могут собраться на дому четыре или пять человек для приятельской беседы из опасения, чтобы их не подслушали <...>. Даже на лакея своего нельзя положиться из боязни, не подослан ли он кем-нибудь <...> молчанию так же точно могут приписать какое-нибудь злое намерение <...> Так что настоящая жизнь похожа скорее на тяжелый кошмар, нежели на жизнь». [153]

О характеристике Салтыковым «ретирадной литературы» в докладе говорилось:

«Так Щедрин называет ту часть литераторов и публицистов, которая отстаивает начала порядка, общественный строй и восстает против современных утопистов <...> Тут же указывается на предстоящий выход двух ежедневных газет, издателями которых будут два ретирадника, разумеется – охранители, намекая этим, без сомнения, на новую газету «Берег» (цензор имеет в виду газету, которая начала выходить 15 марта 1880 г. под редакцией П. Цитовича, с которым Салтыков полемизировал в предыдущих очерках «Круглого года»).

Цензурный комитет принял решение об аресте февральской книжки «Отеч. записок». Салтыков обратился 17 февраля с письмами к начальнику Главного управления по делам печати В. В. Григорьеву, прося «цензурные недоразумения» разрешить «негласным путем», [154] сообщить в редакцию, «что именно подало повод к недоразумениям». Согласие было получено по распоряжению министра внутренних дел Л. С. Макова, и на следующий день, 18 февраля, Салтыков просил цензурный комитет возвратить представленные туда экземпляры журнала для внесения в них необходимых изменений. Из февральской книжки были изъяты четыре статьи, включая «Вечерок», а «Финансовые итоги последних лет» были напечатаны с значительными цензурными купюрами.

Мартовская книжка журнала вышла со следующим объявлением на обложке:

«По болезни М. Салтыкова, предположенные им лично статьи для февральской и мартовской книжки не могли быть напечатаны».

В связи с некоторым ослаблением политических репрессий Салтыков смог поместить «Вечерок» в апрельской книжке под заглавием «Не весьма давно (Осенние воспоминания)», указывая, как на время описываемых событий, так и на невозможность своевременной публикации произведения. Об обстоятельствах публикации и угрозе второго предостережения в связи с ней Салтыков сообщает в письме к Елисееву, написанном, очевидно, в конце апреля – начале мая 1880 года, после визита к Н. С. Абазе, назначенному 4 апреля начальником Главного управления по делам печати:

«Сейчас приехал от Абазы, который принял меня достаточно приветливо <...> И еще,

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru между прочим, сказал: а знаете ли, что я спас ваш журнал от второго предостережения? Оказывается, что в Совете дебатировался этот вопрос по поводу моей статьи. На это я сказал, что, во-первых, статья эта напечатана с ведома Григорьева, равно как в майской книжке появится другая статья «Карьера», тоже с ведома Григорьева; во-вторых, что я иначе писать не умею, и стало быть, мне остается одно из двух: или писать как пишу, или совсем перестать».

Журнальный текст очерка носит следы цензурных изъятий: на стр. 552 и 567 выпущенный текст отмечен строками точек (см. стр. 555 и 559). Кроме того, стр. 567–568 вклеена, очевидно, после цензурной вырезки текста. Указанный в докладе Лебедева отрывок о предстоящем выходе газеты Цитовича «Берег» отсутствует.

В ноябре 1880 года типография Краевского ходатайствовала перед цензурой о разрешении выпустить «Не весьма давно» и рассказ Новодворского «Карьера» отдельным изданием. В заключении Лебедева по этому поводу подтверждается, что в апрельской книжке очерк Салтыкова был напечатан «с некоторыми исключениями». [155]

В Изд. 1880 очерк вошел почти без изменений в тексте по сравнению с журнальной публикацией.

В очерке развиваются мотивы, намеченные в «Дворянских мелодиях» (см. т. 12), рисуется картина общества, в котором «засилие гады взяли». Слова: «Господи! Да неужто ж это не кошмар!» – подводят итог всему циклу, в котором затрагивается и вопрос о положении немногих «партикулярных людей», понимающих ужас происходящего, тех, что не «сумели уподобить себя зверям». Салтыков весьма скептически относится к либеральной интеллигентской оппозиции, «вольнодумствующей» вполголоса. Но он понимает, что в сложившихся обстоятельствах и такая оппозиция, при всей слабости ее, становится своего рода протестом.

Писатель воспользовался и относительной возможностью посчитаться с «ретирадной литературой», с таким ее представителем, как Цитович.

В очерке высказаны взгляды Салтыкова на «женский вопрос». Он считает односторонней постановку «женского вопроса» применительно только к «культурной среде» (борьба за высшее образование, за право занимать определенные должности, за участие в общественно-политической жизни страны и т. п.). Подлинное решение «женского вопроса» Салтыков связывает с демократическими изменениями в судьбах всего народа и общества. Ср. с «Письмами о провинции» (т. 7, письмо шестое), с очерками «По части женского вопроса» (т. 11), «Сон в летнюю ночь» (т. 12).

Многие газеты поместили положительные отзывы об очерке «Вечерок». [156]

Признавая совершенство художественной формы сатиры Салтыкова, Буренин в то же время иронически отозвался о «либеральности» писателя и упрекнул его в повторении своих старых тем. Особенное негодование Буренина вызвало высказывание Салтыкова о журналистах «ретирадных мест». [157]

Стр. 543...вопрос о «подоплеке»... – Здесь: о народном духе, о сущности народа.

Стр. 544...кто больше заслужил, Москва или Петербург? – Подразумеваются постоянные нападки на «петербургскую атмосферу» московских реакционных славянофильских публицистов, а также полемика с ними столичных либеральных газет.

...даже фаланстеров не чуждались... – Речь идет об увлечении утопическими социалистическими теориями фурье в 40-е годы.

Стр. 545. Вещий Баян – певец-прорицатель, упоминаемый в «Слове о полку Игореве».

«шизым орлом ширять под облакы»... – Из «Слова о полку Игореве».

Околоток – подразделение полицейского городского участка.

Стр. 546. А именно в Лиссабоне... – В 1775 году в Лиссабоне произошло сильное землетрясение, во время которого погибло около 60-ти тысяч человек. По рассказам, животные предчувствовали его.

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 547...и завтра, и послезавтра все греческие склонения будут? – Намек на систему классического образования, за которую ратовал Катков; победа сторонников этой системы являлась одним из признаков все усиливавшейся общественной реакции.

Стр. 548...газетные церберы. – Цербер – чудовищный пес, охранявший вход в царство мертвых (ант. миф.). Здесь: реакционные журналисты.

...с подоплекой не шутите <...> это красный фантом! – Намек на настороженное отношение со стороны сторонников официальной идеологии ко всякого рода суждениям о сущности народа, в том числе и славянофильским и благонамеренным.

Стр. 552...подобно ретирадникам, погрязнем в одних игриностях... – Реакционные публицисты рассматривали «женский вопрос» в специфическом плане, набрасывая на него «паскудный покров», сводя его к проповеди разврата, безнравственности. Салтыков, видимо, подразумевает отрицательные высказывания о «женском вопросе» Цитовича, истолковывавшего его как проявление необузданного полового инстинкта (см. «Ответ на «Письма к ученым людям»»).

Стр. 557. Шалыган – шалопай, бездельник.

Стр. 558. Подоплеку угадали! Ах, много еще кровожадности в этой подоплеке таится... – Здесь: подоплека – темные отрицательные стороны народного сознания и быта.

...подоплека завопит: ха-ха, измена! – Подразумевается в первую очередь обывательская «чернь» (дворники, извозчики, мясники Охотного ряда и т. п.), которую власти и реакционная печать пытались изобразить истинной представительницей народных воззрений, якобы враждебных всякой «крамоле» (см., например, «Письмо к издателю» и редакционный отклик на него «С берегов Невы», МВ, 1878, №№ 108, 110, 1879, № 97).

Стр. 559. «Ее», то есть розничную продажу... – Разрешение или запрещение розничной продажи газет было одним из средств воздействия властей на журналистику.

Стр. 559. Никто не мог делать поучения, а в том числе не мог и гад! – Мысль о том, что прежние времена, когда журналистика вообще не могла касаться общественных вопросов, имеет некоторое преимущество перед современностью, когда эти вопросы имеет возможность затрагивать лишь «гад»: реакционные публицисты.

Стр. 559–560. Слава богу, говорит, и у нас публицист нашелся! – Подразумевается Цитович.

Стр. 561...«сквозь невидимые миру слезы»... – Из «Мертвых душ» Гоголя (т. I, гл. 7). У Гоголя: «сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы».

Задеть мою амбицию я не позволю вам... – Из водевиля П. А. Каратыгина «Чиновник по особым поручениям».

«Gaudeamus» – студенческая песня («Будем же веселиться»).

Кант – похвальное песнопение; здесь: студенческая торжественная песня.

«Vivat academia» – начало второй строфы «Gaudeamus»'а.

...Медико-хирургическая... превосходно! – То есть начальство может усмотреть в словах «Gaudeamus»'а намек на Медико-хирургическую академию, место постоянных студенческих волнений. Так, например, «Моск. ведомости» (1879, № 97) упоминали «периодические, в течение целых семнадцати лет возобновлявшиеся волнения в Медико-хирургической академии, с отражением их во всех высших заведениях империи».

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

ПЕРВОЕ МАЯ

Впервые – Изд. 1933–1941, т. XIII, стр. 519–533.

В настоящем издании печатается по рукописи.

Рукопись представляет собой черновой вариант второй редакции очерка «Первое

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мая», от которой Салтыков отказался из цензурных соображений, возвратившись к первоначальной редакции (см. стр. 762).

Стр. 614...первую брошюру Цитовича. – Имеется в виду «Ответ на письма к ученым людям» (см. прим. к стр. 497).

Стр. 615...«мокрая квартира на девять месяцев»... – Цитович, обвиняя «нигилистов» в безнравственности, писал, что, по их мнению, «в недалеком будущем человеческий зародыш искусственно будет помещен в корову; что отец – самец матери, а мать – мокрая квартира на девять месяцев...» (П. Цитович, Ответ..., изд. 3-е, испр., Одесса, 1879, стр. 28).

Стр. 617. И дым отечества нам сладок и приятен. – В рукописи первоначально были строки из стих. Державина «На взятие Измаила»: «О Росс! о род непобедимый!//О твердокаменная грудь!» См. прим. к стр. 457.

Удрученный ношей крестной... – Из стихотворения Тютчева «Эти бедные селенья». У Тютчева: «Всю тебя, земля родная». В рукописи первоначально были строки из стих. Державина «На взятие Варшавы»: «В краю полунощном лежит богатырь.//Тень от чела, с посвиста пыль...» У Державина: «Вихрь полуночный, летит богатырь//Тьма от чела с посвиста пыль...»

ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Впервые – ЛН, кн. 11–12, стр. 341–343.

В настоящем издании печатается по черновой рукописи.

Салтыков начал работать над статьей «Приличествующее объяснение», когда был вынужден прервать цикл «Круглый год» в связи с началом преследования прогрессивной журналистики после покушения на Александра II 2 апреля 1879 года. Статья писалась одновременно с апрельским и майским очерками «Круглого года»: черновая рукопись первой редакции очерка «Первое апреля. – Первое мая» написана на листе, в начале которого помещен зачеркнутый первый абзац «Приличествующего объяснения» (см. стр. 758), а содержание окончательной редакции «Первого мая» частично совпадает с «Приличествующим объяснением».

Текст публикуемого отрывка написан не ранее 5 июля 1879 года, когда в суде слушалось упоминаемое в статье дело Карла Ландсберга.[158]

Стр. 631...отношения Шевырева и Никиты Крылова к Грановскому и другим... – Имеется в виду травля реакционными профессорами Московского университета Грановского и его соратников.

...словами Нибура... – Салтыков неоднократно цитирует эти слова из труда В.-Г. Нибура «Чтения о древней истории в Боннском университете» (см. т. 9, стр. 34, 167, т. 10, стр. 34 и прим.).

<<КОГДА СТРАНА ИЛИ ОБЩЕСТВО...>>

Впервые – ЛН, кн. 11–12, стр. 320–326.

В настоящем издании печатается по рукописи.

Приводим некоторые рукописные варианты:

Стр. 636, строка 15. Вместо: «Исключения из этого правила бывают <...> становится равносильным выражению «непомнящий родства» – было:

«Баловень фортуны», о котором говорят, что он «выскочил» или «пролез», может появиться только в таком обществе, где существует особое сословие людей, известное под именем непомнящих родства. Только в применении к этой касте можно допустить выражения, которые обыкновенно говорят о грибах и клопах. И хотя я не говорю, чтобы мы действовали неправильно, прибегая к этим выражениям, но все-таки мне сдается, что ежели бы мы обдумывали свои речи, то иногда посовестились бы.

Стр. 639, строка 10 сн. Вместо: «эта процедура до такой степени неизбежна <...> так как идол очень скоро выдыхается» – было:

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и то и другое равно неизбежно, и то и другое равно у всех на знати, но по какой-то странной предусмотрительности судеб первое всегда помнится, второе всегда забывается. Благодаря этому происходит нечто вроде обряда: сперва лесть, потом вероломство. Непомнящий родства всегда небогат содержанием и потому скоро выдыхается.

Содержание отрывка и палеографические данные позволяют отнести его ко времени написания статьи «Приличествующее объяснение» и очерков «Первое апреля. – Первое мая».

Отрывок по своей проблематике примыкает к фельетонам «Круглого года». Как и в этих фельетонах, в нем высказано убеждение, что «среда эта насквозь прогнила, и фундамент, и стены», изображены «баловни фортуны», «непомнящие родства», «столпы государственности», для которых отечество – «пирог», Салтыков и здесь выражает уверенность, что следует мыслить, не имея даже в виду, «что из этого должен выйти практический результат». Акцентируется вывод, что «баловней фортуны» и льстецов-вероломцев рождает вся общественно-политическая система царской России.

Стр. 634. Уж столько раз твердили миру... – Из басни Крылова «Ворона и Лисица».

Стр. 637...«страна наша велика и обильна»... – неточная цитата из летописного рассказа о призвании варягов на Русь. В летописи: «земля наша...»

Стр. 640. Я говорю о стыде, все о стыде... – Ср., например, со сценой появления Стыда, завершающей «Современную идиллию», с рассказом о пробуждении стыда среди глуповцев в «Истории одного города» (т. 8, стр. 421).

<<ГОВОРЯ ПО ПРАВДЕ, ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТОРА...>>
Впервые – «Утро юга». 1914, № 97, 27 апреля, стр. 3 (неполная публикация, под произвольным заглавием «О русской литературе», с ошибочной датировкой: начало 1860-х гг.); ЛН, кн. 11–12, стр. 344–350 (полностью).

В нестоящем издании печатается по рукописи.

Содержание отрывка и палеографические данные позволяют предположить, что рукопись создавалась в одно время с предыдущим отрывком – «Когда страна или общество...».

Салтыков продолжает намеченное в отрывке «Когда страна или общество...» исследование типа «баловней фортуны», причин, их порождающих, заставляющих льстить «баловням» и одновременно таить в отношении их вероломство. Главной из таких причин, по мнению писателя, является рабство, не только внешнее, но и внутреннее, не уничтоженное с отменой крепостного права.

Описание нынешнего и прежнего положения литератора перекликается с рассуждениями фельетона «Первое марта».

Стр. 642...«в хижину бедную, богом хранимую»... – Из водевиля Некрасова «Материнское благословение».

...что тебе стоит «Клеветникам России» написать? – В стихотворении Пушкина «Клеветникам России», написанном в связи с событиями польского восстания 1830–1831 гг., некоторые передовые современники усматривали отход поэта от его свободолюбивой поэзии. Об этом писал и В. Г. Белинский в 1847 г. в «Письме к Гоголю».

Стр. 643. Цевница – свирель.

...На Западе совершилось столько неключимостей... – Подразумеваются революционные события 1848 года.

...песня о том, как Ванька Таньку полюбил. – Подразумевается популярный романс Даргомыжского.

...в течение целых восьми лет... – то есть с 1848 по 1855 год, в период цензурного террора.

Стр. 644...убежищем «сладких звуков и молитв»... – неточная цитата из стихотворения

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Пушкина «Поэт и толпа», истолковывавшегося эстетической критикой как апология
«чистого искусства». У Пушкина: «для звуков сладких и молитв».

...ни оду на взятие Хотина на струнах разыграть, ни «Бедную Лизу» написать... – Ода
Ломоносова и повесть Карамзина приводятся как образец старой благонамеренной
литературы, противопоставляемой современному «отрицательному направлению».

Стр. 646...этот человек был в случае... – То есть был в милости у высокопоставленных
лиц.

Примечания

1
дядюшка.

2
Коллежский советник.

3
«Петербург, Знаменская, 11. Неугодову.

Преисполнена гордости, благословляю коллежского советника. Продавай Россию,
продавай скорее, высылай деньги. Сижу на мели. Наталия».

4
«Продавай Россию, продавай скорее» и «высылай деньги».

5
«Преисполнена гордости».

6
Невозможно, дядюшка!

7
понимаете?

8
pittoresque – живописного.

9
«всем благородным сердцам отечество дорого».

10
Побеседуемте, господа, об отечестве! О! отечество... это нечто священное!

11
Для сапера ничего нет святого...

12
черт возьми! кому вы это говорите?

13
бытовая картинка.

14
дорогой мой.

15
словом... понимаете?

16
мы позабавимся.

17
грешков.

18
Гостиницы Демут.

19
недоразумение.

20
дорогой коллега.

21
Променад дез Англе (название бульвара в Ницце).

22
Альфонс Карр, известный французский писатель, живущий в Ницце. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

23
Местный ниццкий фельетонист, которому ниццкие интернациональные дамы предварительно показывают свои костюмы, предназначенные для выезда на бал, дабы не произошло ошибки при описании их в предстоящем газетном фельетоне. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

24
написанное останется.

25
навсегда останется, во веки веков!

26
Сказал – и облегчил душу.

27
Проклятие!

28
Возможно ли?

29
А что прикажете делать!

30
Хорошо?

31

это возвышенно, ничего не скажешь!

32

«Петербург. Знаменская, 11. Неугодову.

Поздравляю, кавалер. О пасха, о святой день! Вышли 4000 франков, завтра платеж; иначе – Клиши. Наталия».

33

там... в степях.

34

болтать с мужчинами.

35

Магазин Лувра.

36

«О бон-марше» (буквально: «Дешевые цены»).

37

маменька.

38

Наташа... это золотое сердце!

39

Дядюшка! у вас золотое сердце!

40

«Париж. Гранд-отель. Наталии Неугодовой. Пасха, два дня банки закрыты. Послезавтра получите нужную сумму. Приезжайте Петербург долговые тюрьмы упразднены. Можете все покупать не платя. Неугодов».

41

песок... то бишь прах моего отца!

42

высылай денег!

43

Любящая тебя Наталия.

44

Ради бога, высылай как можно скорее деньги, которые я просила.

45

Друг моего покойного мужа.

46

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Вот истина... грустная истина, дядюшка!

47
прах моего отца!

48
сыновний долг.

49
весь Петербург.

50
старшим поваром.

51
enchanté de vous voir – рад вас видеть.

52
venez – приходите.

53
en surtout – в сюртуке.

54
мужчины.

55
основное блюдо.

56
новый человек.

57
Отечество – прежде всего!

58
всем благородным сердцам отечество дорого.

59
человек человеку – волк.

60
нахлебник.

61
к человеку.

62
разбойники печати.

63

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Ах, дядюшка! у вас такой стиль...

64
в добрый час!

65
Петр Великий.

66
sommelier – метрдотель.

67
необходимое условие.

68
черт возьми!

69
в возможности.

70
визави.

71
да, Ландсберг – это человек сегодняшнего дня!

72
беф-брезе – тушеное мясо.

73
Gourmet – лакомкой.

74
меню.

75
Наконец-то!

76
смотри в конец.

77
иносказательно.

78
В Провене, тру-ля-ля... собирают розы и жасмин тру-ля-ля... и много кое-чего другого.

79
И я тру, и я тру! и подите вы! Слишком много народу ходит в этот дом!

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

80

Судьба, дядюшка.

81

Тогда принц Наполеон был еще жив и воевал. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

82

До свидания и не поминайте лихом.

83

Братец.

84

для сапера нет ничего святого!

85

тети Вари.

86

У Лавертюжон, Париж, улица... №...

87

как раз в меру.

88

Семен.

89

мужчины.

90

У Ворта... И джентльмен – до кончика ногтей!

91

буквально.

92

старайтесь не дышать... прекрасно! вот так!

93

меланхолическую, умоляющую, повелительную.

94

Буавэн.

95

Корали.

96

благоговейные воспоминания.

97
Оклэр.

98
Мужчины такие злые!

99
Генрих Пятый.

100
в церкви Сент-Шапель.

101
Да здравствует Генрих Четвертый! Да здравствует король, поклонник женщин!

102
в кутузку.

103
Марсельеза... какая величественная песнь!

104
и провизия, и мясо, и прачка, и полотеры... словом, всё, всё, всё!

105
С меня довольно – по сих пор.

106
неравный брак.

107
Счет (то есть перечень проступков).

108
милость небесная!

109
русский семейный сад.

110
Ну, что, доволен, сопляк?

111
Старая кляча, твоя мамаша.

112
за и против.

113
См. «Благонамеренные речи». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

114

Сердечно преданная Наталья.

115

Из уважения к нравственности.

116

Павел Ермолаевич... Филипп здесь!

117

Да здравствует академия.

118

К вящей славе человеческой!

119

Посмотрим!

120

Очаровательно, дядюшка!

121

непременное условие.

122

в возможности.

123

из ничего – ничего.

124

поведением.

125

О, низкий льстец!

126

Евг. Утин, Сатира Щедрина. – ВЕ, 1881, № 1, стр. 308.

127

См., например: МВ, 1879, № 83; «С берегов Невы», № 97, и др.

128

См. Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 8–20, 328–336.

129

Размышления Салтыкова имеют, видимо, и полемический подтекст, направленный против Достоевского. См.: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 391–392.

130

О функции рассказчика в сатире Салтыкова см., например: В. Гиппиус, Творческий

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (в кн.: Салтыков-Щедрин, К пятидесятилетию со дня смерти. Статьи и материалы, Л. 1939, стр. 55-56, 60-61); А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, М. – Л. 1959, стр. 436-453; Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 225-230.

131

О роли «чужих» литературных героев в сатире Салтыкова см., например: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 252-259.

132

Евг. Утин, Сатира Щедрина. – ВЕ, 1881, № 1, стр. 312.

133

См.: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 328-329.

134

См. «Сын отечества», 1879, № 48, 28 февраля.

135

См.: А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, М. – Л. 1959, стр. 440.

136

В. Буренин, Лит. очерки. – НВ, 1879, № 1259, 31 августа.

137

ВЕ, 1883, № 4, стр. 707.

138

Упоминание августовской книжки ошибочно: текст был вырезан цензурой из сентябрьской книжки.

139

Русск. литература. – «Сын отечества», 1879, № 220, 26 сентября.

140

Летучие журн. заметки. – «Дон», 1879, № 117, 21 октября.

141

О «коллективном языке» см.: К. Чуковский, Мастерство Некрасова, М. 1962, стр. 683-684.

142

«Дело», 1876, № 10, стр. 329; подпись: Н. Языков.

143

Там же, 1878, № 1, стр. 18; подпись: П. Никитин.

144

Сцена слияния в Демидроне «семейного» и «государственного» союзов, при всей ее гротескности, имела реальные основания. А. Лейкин вспоминал, что танцклассам и увеселительным заведениям оказывала покровительство полиция, использовавшая их в видах сыска, имевшая агентов среди публичных женщин; сыщики сами открывали нередко такого рода заведения. См. «Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке», СПб. 1907, стр. 136.

145

«Киевлянин», 1879, № 147, 11 декабря.

146

«Новости», 1879, № 283, 3 ноября; подпись: В. Ч.

147

Русск. литература. – «Сын отечества», 1879, № 244, 25 октября; Икар <И. П. Горизонтов>, Журн. обозр. – «Сарат. дневник», 1879, № 55, 14 марта.

148

В. Буренин, Лит. очерки. – НВ, 1879, № 1322, 2 ноября.

149

РВ, 1879, № 10, стр. 535.

150

По собственному побуждению.

151

О полемике вокруг наследия «сороковых годов» и об отношении к нему Салтыкова см.: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 224–227.

152

Н. Михайловский, Литературно-критические статьи, М. 1957, стр. 442.

153

В. Евгеньев-Максимов, Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX в., 1927, стр. 202.

154

В. Е. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, М. 1926, стр. 77.

155

ЛН, кн. 13–14, стр. 144.

156

См.: Г. К. Градовский, Журналистика. – «Молва», 1880, № 109, 19 апреля, подпись: Грель; «Лит. обозр». – «Современность», 1880, № 97, 6 июня; «Русск. литература». – «Сын отечества», 1880, № 94, 25 апреля; фельетон. – «Страна», 1880, № 37, 11 мая, подпись: Фр.

157

В. Буренин, Лит. очерки. – НВ, 1880, № 1492, 25 апреля.

158 Датировано С. А. Макашиным. См. ЛН, кн. 11–12, стр. 340.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

Круглый год. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!